

Вадим Смоленский

«Записки гайдзина»

лирический эпос

www.susi.ru

“Естественная любовь к жизни
наполнила меня чувством радости.”

Джонатан Свифт,
“Путешествия Гулливера”. Часть третья.
“Путешествие в Лапуту, Бальнибарби,
Лаггнетт, Глаббдобриб и
Японию”.

Сатиновая кукла

Над рисовым полем летела белая цапля.

Полет цапли был тяжел и неуклюж. Прозрачный сентябрьский воздух еле держал натруженные крылья. Длинные ноги болтались, как хвост воздушного змея. Массивный клюв тянул книзу, об него стукались назойливые мухи и цикады. Гибкой шеи хватило только на первую букву слова "SOS". Так, наверное, летел бы усталый птеродактиль, чудом спасшийся от зубов быстрогого тиранозавра.

В этой цапле не осталось уже и тени того глупого детского куража, с которым есенинский красногривый жеребенок скакал за чугунным паровозом. Теперь все было слишком безнадежно — и она это понимала. Поезд, который сейчас обгонял ее, не оставлял ей никаких шансов. Те, кто проектировал *синкансэн*, давно уже не соревновались ни с конями, ни с цаплями. Их вообще не интересовала фауна, их интересовали цифры. Двести семьдесят километров в час. Сто пятнадцать поездов в день. Тридцать миллионов пассажиров за финансовый год.

У синкансэна было шестьдесят четыре электромотора, отдельная колея и двадцать пять тысяч вольт питания. У цапли было два белых крыла, одно синее небо и три лягушонка всухомятку. При таком раскладе было смешно и заикаться о какой-то форе. Но она и не заикалась. Она просто летела. С таким видом, словно не замечает несущегося мимо стального монстра. Словно эти электрические чудища не собираются выпить всю воду из полей и передавить всех лягушат. Словно цапли пребудут на этой земле вовеки — и никогда не улетят туда, куда уже улетели все ибисы и почти все журавли.

Она летела сбоку, на почтительном расстоянии — поэтому обгон выглядел растянутым во времени. Вынырнув в переднем крае окна, она успела сделать десять взмахов, с каждым из которых я выворачивал шею вправо и прижимался левым виском к стеклу, — потом сделала одиннадцатый и слилась с оконной рамой.

Мой притиснутый к окну левый глаз продолжал фиксировать проносящиеся мимо объекты: группу крестьянских домишек, высоковольтную линию, храмовые ворота, белый щит с рекламой пилуль «Дзинтан», кладбище на пригорке, автостоянку, рощицу, мостик, снова поля... Стекло медленно запотевало. Когда все объекты расплылись в тумане окончательно, я отнял голову от окна и вернул ее в нормальное положение — носом вперед.

Не успел мой взор упереться в спинку переднего кресла, как натренированный левый глаз зафиксировал сбоку еще один объект, на сей раз неподвижный. Какие-то цветные пятна в проходе. Их неподвижность была подозрительной даже

для бокового зрения. В вагонных проходах останавливаются только тележки с напитками и закуской — но тогда громогласно перечисляется ассортимент. А этот объект молчал. И, судя по всему, пялился на меня.

Я повернул голову налево. В проходе стояла женщина в стиле Кустодиева, будто сошедшая с полотна «Купчиха за чаем». Она смотрела на мой откидной столик. Там, рядом с начатой банкой пива, лежал нераскрытый книжный том, по обложке которого бежали красивые буквы:

*Владимир Шинкарев
«Папуас из Гондураса»*

Женщина перевела взгляд на меня. Ее губы робко шевельнулись.

— Боже, — произнесла она. — Вы русский, да?..

— Русский, — кивнул я. — Как есть русский.

— Это надо же... Вот уж чего не ожидала... Русский... Здесь...

— А что такого?

— Ну, как-то... А можно я к вам присяду?

— Конечно... Пожалуйста...

Усевшись на соседнее место, она обдала меня духами и туманами.

— Вы знаете, японцы все такие курильщики... Невозможно высидеть! Вот, пришла в некурящий вагон. Хорошо, тут у вас место свободное оказалось.

— Ага, — сказал я.

— Повезло нам! — добавила она. — А то ведь могла бы и не заметить!..

— Что, — спросил я, — давно русских не видели?

— Ой, да мы в такой дыре живем! — сказала она скороговоркой и как-то очень доверительно.

— А где?

— Да тут везде! — она хохотнула и колыхнулась в плечах. — А живем далеко. Шашидо сити. Знаете?

— Нет.

— Конечно. Японцы такие беспардонные! Заслали в тьмутаракань...

— Вы работаете?

— Муж. У нас контракт. Он химик.

Почти без запинки она добавила:

— Синтез производных пирролоиндолов.

И небрежно повертела рукой: мол, понятно, о чем речь.

Затем последовал тяжелый вздох:

— Но жизнь тут!.. Я прям не знаю. Ехали, думали: цивилизация. А тут вон чего.

Она перевела дух, вгляделась в меня и спросила:

— Вы из Москвы?

Вопрос был пропитан такой горячей надеждой, что я счел долгом ее оправдать:

— Из Москвы.

А оправдав, сразу пожалел. Сейчас спросит, из какого я района. Что отвечать? Какие там есть районы? Арбат есть, Марьино Роща, Черемушки... Скажу, что из Черемушек.

— И давно здесь?

– Шесть лет.
– О, господи! – воскликнула она с таким сочувствием, как будто я стоял голый на пепелище. – Да как же это? Как вы смогли выдержать?

Не зная, что сказать в ответ, я взял банку с пивом и сделал несколько хороших глотков.

– Мы тут два года только, – продолжала она, – и уже на пределе. Как можно среди них жить?! Они все такие бестолковые!

– Хм, – сказал я, тряхнув банкой. На доньшке плеснулись остатки.

– Ничего с первого раза не понимают. Все надо повторять дважды.

– М-м-м, – промычал я и вылил остатки в рот.

– И еще они очень любопытные.

– Ага. – Опустевшая банка вернулась к своему папуасу.

– Вы согласны?

– Даже не знаю...

– Только выйдешь на улицу, как они сразу на тебя смотрят.

– Неужели?

– А на вас разве не смотрят?

– Бывает.

– Ну вот, видите...

Двери в тамбур разъехались. Вкатилась тележка. Девушка в синей униформе церемонно поклонилась пассажирам.

– Обеденные наборы, закуски, чай, кофе, пиво...

Я выхватил из кармана зеленую бумажку с двумя танцующими журавлями.

– Пиво, будьте любезны!

– Триста иен.

– А побольше нет?

– К сожалению, только такие.

– Тогда две.

– Шестьсот иен. Пожалуйста.

– Спасибо.

Зажав сдачу в кулаке, я откупорил банку и сделал глоток. Моя попутчица смотрела на меня.

– А вы что, знаете японский?

– Ну... В каком-то объеме. Вы попить ничего не хотите? А то она сейчас уйдет. Кофе, чай...

– Да чай-то, поди, зеленый...

– Черный тоже бывает. Спросить?

– Не надо. У них разве чай? Разве они в чае понимают?

– Да уж, – сказал я. – То ли дело в Мытищах!

– Ой! – всплеснула она руками. – Вы из Мытищ?!

– Нет, – мотнул я головой. – Я из этих... Из Черемушек.

– Да-а-а... – мечтательно произнесла она. – Закрою глаза и вижу. Дачу вижу... Клубнику... Вы сейчас из Токио едете?

– Из Токио.

– Свеклу везете?

– Не понял.

- Живете-то где?
- Тут недалеко. Минут через двадцать вылезать.
- И что, у вас там свеклу продают?
- Не замечал...
- Значит, в Токио надо покупать! Там все есть. Гречка, свекла, укроп, черный хлеб... Вы женаты?
- Нет.
- Тогда тем более. Я вам нарисую, как магазин найти. Там даже пряники один раз выбрасывали. У вас есть на чем?

Я отогнул картонную обложку «Папуаса» и протянул ей.

- Что, прямо в книге?
- В этой можно.

Она принялась вычерчивать схему, а я допил вторую банку и повернулся к окну. Начинало темнеть. Летящий мимо пейзаж понемногу украшал себя робкими огоньками. На горизонте еле заметно выступил горный кряж, готовый тут же раствориться в сереющем небе. Зеленые холмы превращались в черные. Держалась только желтизна спелых полей.

– Доезжаете до метро Шинбаши! – раздалось сбоку. – Проходите под мостом. Видите, вот сюда. Потом налево, и идете метров двести. Там будет вывеска. Зверь какой-то – енот не енот, медведь не медведь, не поймешь даже. Обойдете зверя – и в переулочек. И вот там, в третьем или четвертом доме, оно и будет.

- Что будет?
- Магазин! Называется как-то вроде «Сибирь», только по-японски.
- «Сибэриа»?
- Да, кажется. Японцы ведь очень косноязычные, их не поймешь. Но мы сегодня хорошо отоварились. Одной свеклы десять кило, до вокзала еле дотащили. Муж в курящем сидит, караулит.
- Скучно ему там, наверное?
- Да уж само собой. Эти-то расселись вокруг, языками чешут... До чего болтливый народ!

Она тяжело-претяжко вздохнула.

- Может, это панда?... – предположил я.
- Где?
- Не енот и не медведь... Панда, скорее всего.
- Какая панда?
- Гималайская. Японцы ее почему-то любят.
- Бог знает что они тут любят. Один раз с мужем на банкет пошла – до сих пор плююсь, как вспомню. Какие-то стручки... Осьминоги какие-то...
- Морской еж...
- Не помню, может, и еж был...
- Еще натто...
- Что?
- Натто, бобы такие подгнившие.
- Откуда вы все знаете?
- Так ведь шесть лет...
- Ужас. Вам надо памятник ставить. Как вы живы до сих пор?

– Сам не пойму.
 – Они ведь такие... Как бы это сказать... Злонамеренные!
 – В каком смысле?
 – Да в любом. Ну вот, помню, меня полицейский остановил, когда я нечаянно по правой стороне поехала. И давай что-то такое лопотать. Я ему на чистейшем английском говорю...
 – Простите, – перебил я. – На каком английском?
 – На чистейшем. Говорю: «Ай кэн нот ту спик джапанис». А он в ответ специально – вы понимаете, специально! – говорит по-японски!
 – Так может, он по-другому и не умел?
 – Да прям! Видно же – смотрит на меня и радуется, что я не понимаю.
 – А потом?
 – Потом отпустил.
 Световое табло над дверью вспыхнуло красными иероглифами новостей. Они резво бежали справа налево, повествуя о курсе иены на токийской бирже. Я открыл третью банку. Интересно, подумалось мне, – сколько пива выпил Кустодиев, пока сидел с мольбертом перед своей натурщицей? Наверное, целыми самоварами дул.
 – Дорого, конечно, – вздохнула она. – Пятьсот иен кило. Где это видано?
 – Ничего, – сказал я. – Вон, говорят, что иена растет.
 – Кто говорит?
 Я показал на табло.
 – Господи! – вырвалось у нее. – Вы что, и эти закорючки понимаете?
 – Ну... Не все, конечно, – поспешил я ее успокоить. – Кое-какие только...
 – Вас в институте учили?
 – Нет, я сам...
 Она глядела на меня с болью и состраданием.
 – Вы что, до смерти тут собираетесь жить? Такой молодой...
 – Почему обязательно до смерти?
 – А до каких пор?
 – Не знаю... Как получится.
 Она изучающе побегала по мне глазами, как по непонятному зверю.
 – Вы здесь как вообще? По контракту?
 – Да. В университете...
 – Один?
 – В смысле?
 – Наши люди еще есть?
 – Довольно много.
 – Ну, тогда еще ничего. Можно позавидовать.
 Я влил в себя остатки пива. К горлу подступила отрыжка.
 – Нет, я ничего плохого не имею в виду, – сказала она. – Замечательная страна, великая культура... Но ведь здесь невозможно стать своим!
 – Невозможно, – согласился я.
 – Здесь вы всегда будете... Как это... «Га...»
 – Гайдзин.
 – Да. На вас будут показывать пальцем. Над вами вечно будут смеяться. Вы будете белая ворона.

- Конечно.
- Ну вот, видите...

Она шумно выдохнула, вся обмякла и некоторое время сидела молча. Потом покачала головой:

- Хотя да, понятно... Не обратно же...

Длинная сережка в ее правом ухе хотела было поболтаться маятником – но стукнулась о щеку и обреченно повисла.

Вагонные динамики исполнили музыкальную заставку. Мягкий женский голос объявил о скорой остановке.

- Подъезжаем, – сказал я. – Мне выходить.
- Вы тут живете?
- Не совсем. Еще час на автобусе.
- И не расспросила ни о чем... Все про себя, да про себя...
- Ничего, в следующий раз.
- Конечно. Я вам визитку дам. Мужа.

Порывшись в сумочке, она протянула мне картонный прямоугольник. На нем значилось:

Ivan I. Zheludenko,
Shashido Chemical Research Institute,
Heterocycles Synthesis Lab.

- Вот адрес, – ткнула она пальцем в уголок, – вот телефон. Звоните.
- Обязательно, – кивнул я.
- Мы должны держаться вместе.
- Безусловно.
- А у вас визитка есть?

Я выразительно похлопал себя по всем карманам.

- С собой нет. Извините.
- Ну ничего. Напишите телефон, я вам позвоню.

Я потер лоб.

- Вы знаете, на днях переезжаю. Номер сменится.

– Тогда звоните вы нам. Мы еще долго здесь будем. Нам, скорее всего, контракт продлят. Хотя это не сто процентов – японцы такие непредсказуемые! Но мы надеемся.

- Желаю удачи, – сказал я, засовывая папуаса в сумку. – Разрешите...

Поезд уже тормозил.

Ее духи и туманы следовали за мной по перрону, карабкались по лестнице, дышали мне в затылок, когда я проходил выходной турникет, и отстали только на привокзальной площади, когда я побежал к отходящему автобусу. Вскочив на подножку, я обернулся и по-драконьи изрыгнул пивные испарения. Они смешались с выхлопным газом и повисли дымовой завесой.

В автобусе сидели бестолковые, непредсказуемые и злонамеренные люди, погрязшие в беспардонном любопытстве и косноязычной болтливости. Пройдя сквозь их недобрые взгляды, я уселся на самом заднем сидении. Автобус тронулся. Выпитое пиво плескалось в животе морским прибоем, отдавалось в голове и убаюкивало.

В окно кто-то поскребся. Я отодвинул занавеску и увидел цаплю. Она лихо гребла по воздуху жилистыми крыльями и радостно скалила клюв. Куцый хвост вертелся, как пропеллер, а тощие ноги работали брассом.

– Привет! – сказал я цапле. – Ты откуда?

– Из Хабаровска, – ответила цапля.

– Ну, и как там?

– Холодно! – Она поежилась на лету.

– А здесь не холодно?

– Не... Здесь погано!

– Погоди, – сказал я. – Какой еще Хабаровск? Сюда не летают цапли из Хабаровска!

– Раньше не летали, теперь летают. Теперь даже панды летают.

– Какие панды?

– Гималайские. Сам-то откуда?

– Из Черемушек.

– Оно и видно.

– Ты мне голову не морочь, – сказал я. – Цапли летают сюда с Филиппин. И не на зиму, а на лето. Из России сюда летают гуси-лебеди и жуки-носороги.

– А может, я носорог?

– Может... Вон здоровая какая...

– Это потому, что я чай пью.

– С пряниками?

– Ага.

– Куда летишь-то?

– В Гондурас.

– Зачем?

– За укропом. Полетели вместе?

– Не хочу, лети одна...

– Нет, вместе!

Цапля протаранила стекло, схватила меня клювом за шиворот и потащила наружу. Сначала я отбивался, потом застрял в окне. В живот впились острые осколки, я заорал, засучил ногами, задергался. Цапля царапала меня когтями, хлестала крыльями по роже и блеяла:

– Вме-е-е-есте!..

Кто-то хлопнул меня по колену. Я разлепил глаза. Надо мной стоял водитель.

– Приехали, – сказал он. – Конечная остановка.

Салон был пуст. За окном светились фонари автовокзала. Я взял сумку, заплатил за проезд и, пошатываясь, вышел. Отработанное пиво повлекло меня к уединенному строению с синей фигуркой на белом кафеле. Внутри ползали упитанные сверчки. Они важно шевелили усами и внимания на меня не обращали. В раковине спал жук-носорог. Я переложил его повыше, чтобы он не захлебнулся.

Вдоль тротуара выстроились белые Тойоты с зелеными огоньками. Сидящие внутри таксисты читали газеты.

– Нет, – подумал я. – Пойду ногами. Освежу сознание.

Едва я миновал вереницу такси, как рядом затормозил ярко-красный Ситроен. Левое стекло опустилось, и донесся голос:

- Бадыму!
- Опаньки, – сказал я и нагнулся к окну. – Привет!
- Бонсуар. Ты куда, в «Сатындору»?
- Нет, домой...
- Я думал, придешь сегодня.
- Ой! – я хлопнул себя по лбу. – Четвертая пятница, да? Забыл совсем.

Подвезешь?

- Садись.

В салоне пахло Шанелью, и пел Брассанс. Я кинул взгляд на заднее сидение. Там лежал знакомый мне черный футляр, а в футляре – благородное орудие из потускневшей меди, тридцатилетний “Selmer”, когда-то купленный за бешеные деньги на Гиндзе. По легенде, к нему прикасался едва ли не Бен Вебстер. А теперь, на правах хозяина, в него дул служащий страховой компании по имени Масао Кавасаки. Сегодня выпал на редкость удачный день, совсем без переработок – Масао не только успевал к первому отделению, но даже имел время заскочить домой и сменить постылый черный пиджак на тельняшку от Готье.

- Откуда шел? – спросил он меня, закручивая руль, как штурвал фрегата.
- С вокзала. Из Токио вернулся.
- Командировка?
- Типа того.
- Эх! – вздохнул он. – Я бы тоже в Токио катался. Надоедает в полях сидеть.

Но не посылают. По должности не дорос.

- Ничего, – сказал я. – Повысят когда-нибудь.
- Ну да, повысят... И отправят куда-нибудь на Хоккайдо.
- Что, порядок такой?
- Ага. Никуда не денешься...

Он последний раз крутанул штурвалом, и мы въехали на стоянку. Там уже запарковался огромный черный Фольксваген. Рядом стоял дюжий мужчина с кучерявой головой и выгружал из открытого багажника большие круглые коробки.

- О-о-о, Бадыму! – воскликнул он, увидев меня. – Давно не виделись!
- Гутен абенд, Накамура-сан, – сказал я, пожимая его здоровую лапу. – Что новенького в бундеслиге?

- Играют потихоньку. Следишь?
- У меня не ловит.
- А ты тарелку поставь, и будет ловить.
- Хорошо.
- Заходи как-нибудь, я тебя проинструктирую. Пива попьем...
- Баварского?
- Ха-ха-ха... Для тебя найду баварского. Ладно, понес...

Он взвалил на плечи самую большую коробку и двинулся через узкую проезжую часть – туда, где над распахнутыми дверями светились неоновые буквы “Satin Doll”. Из кармана у него торчали барабанные палочки.

Я взялся было за коробку поменьше – но тут же поставил ее на место, поскольку на стоянку въехала голубая Мини. Вышедшая из нее девушка носила косынку, жакет и длинную юбку. В черных волосах спряталась одинокая косичка.

- Привет, Кейко, – сказал я.

- Ні, – ответила Кейко и улыбнулась.
- А где твой траур по леди Диане?
- Решила, что хватит.
- Ну и правильно. Тебе и не шло совсем.
- А это? – она тряхнула косичкой.
- А это идет. Что сегодня играем?
- Тебе будет сюрприз. Потерпи немного.

Надсадно тарахтя и кашляя, к стоянке подъехал старый, раздолбанный Фиат. Из него вылез долговязый парень с очками на носу и трубой под мышкой. Помахал рукой, подошел.

– Здравствуйте, синьор Хамада, – сказал я. – Когда же вы, наконец, купите себе Феррари?

Хамада меланхолично покачал головой:

– Еще не скоро. Когда денег накоплю...

Он поднес трубу к губам, зажмурился – и стремительно взбежал вверх по звукоряду, остановившись на пронзительной, дрожащей ноте. Накамура в дверях одобрительно крикнул и направился к машине за следующим барабаном. Я отошел чуть в сторону, сел на поребрик и стал за ними наблюдать.

Ребята, игравшие в секстете Кена Судзуки, знали толк в буклях и чепчиках старушки Европы. Их соотечественники все еще замороженно глядели на Восток, где по прериям скакали храбрые ковбои на красивых мустангах, – а эти снобствующие эстеты отвернулись от Востока и уставились на Запад с его гулками замками, падающими башнями и терпкими винами. Самоуверенные пижоны из секстета Кена Судзуки потешались над Голливудом, морщились от бейсбола и нюхать не могли гамбургеров. Виски для них существовал только шотландский, а футбол – только английский. Родео не тянуло против корриды, а Статуя Свободы была сосунком рядом с римской волчицей. Казалось, по ту сторону Тихого Океана нет вообще ничего, достойного внимания. Ничего, или почти ничего. Ничего, кроме одного единственного. Того единственного, без чего они не могли.

Ребята из секстета Кена Судзуки не могли разлюбить американский джаз. Не могли и не хотели. Джаз был сильнее всех европейских прелестей, вместе взятых. Уже ради него одного стоило открывать Новый Свет, везти туда черных невольников, воевать потом за их освобождение и с трепетом ждать, что же они споют, когда очухаются.

Эта позавчерашняя музыка, вся давно сыгранная и кем только не похороненная, никак не желала умирать. Великие музыканты ушли, но их синкопы остались – и этими синкопами джаз отчаянно цеплялся за души тех, кто родился позже. Из десятка тысяч душ зацеплялась сотня. Если хотя бы шестеро из этой сотни начинали играть, то их уже хватало на секстет. Покуда они играли, джаз продолжал жить. Сложная музыка, но простая арифметика.

Я сидел на поребрике и смотрел, как они таскают барабаны, как болтают о какой-то ерунде, как смеются, курят, смотрят на часы. Как пальцы у Хамады вхолостую бегают по клапанам. Как у Накамуры уже подрагивают кисти и притопывает нога. Как показалась из-за угла сутулая фигура с гитарным чехлом, и все обрадовались, что пришел Дзюнтаро – безлошадный любитель всего ирландского – и теперь остается только дожидаться Кена.

Кен Судзуки приехал на белом Ниссане. Его космополитизма хватало лишь на музыку — а во всем остальном он был патриот и не разделял пижонских увлечений Востоком и Западом. Его заведение под названием «Судзукия» было небогатым, но зато выдержанным в правильной эстетике. Посетители разувались при входе, всходили на циновки и усаживались на подушки из гречишных отрубей. Из динамиков лились звуки сямисэна и кото, а со стен улыбались маски богов. Сам Кен обычно стоял за прилавком, облаченный в фартук и вооруженный острым ножом для разделки сырой рыбы. Но сегодня, в четвертую пятницу, он оставил за прилавком сына — а сам погрузил в багажник контрабас и отбыл для ежемесячного поклонения другим богам.

Стоянка опустела. В двери кафе заходили люди. Я еще немного подышал воздухом и тоже зашел. Публики было немного, человек пятнадцать. Дзюнтаро сидел с гитарой, дергал струны и крутил ручки усилителя. Накамура прилаживал последний барабан. Остальные четверо пили кофе за столиком в углу.

— Бадыму, добрый вечер! — донеслось из-за стойки. Тараги-сан приветливо потрясал кулаком и топорщил усы. Я потряс кулаком тоже, за неимением усов наморщил нос, подошел и сел на вертящийся стул.

— Пива? — спросил он меня.

— Что угодно, только не пива, — сказал я. — Пиво я сегодня уже пил.

— Виски?

— Лучше бы чаю. Все равно какого.

Он понимающе покивал и взялся за чайник. Кто-то хлопнул меня по спине. Я обернулся.

— Бады-ы-ы-му! Давно не виделись!

— Давно не виделись, Юко-сан. Что нового?

— Сейчас все расскажу! Хорошо, что ты тут.

Юко села на соседний стул, положила сумочку на колени, заказала кофе и повернулась ко мне.

— Была вчера на ночном дежурстве. Приехала скорая, привезла женщину. Нервный стресс. Еле дышит, на ногах не стоит. Уложили под капельницу. Японского не знает, английского не знает, ничего понять не может, что мы ей говорим. Даже врач растерялся. Потом оказалось — русская!

— Ага, — сказал я и придвинул к себе бокал с зеленым чаем.

— К утру немножко отошла, перевели в палату. Потом муж приехал. Он тут недалеко рис выращивает, а жена у него из Хабаровска, недавно привез. Ужас! По-японски не говорит, по-английски не говорит, мужа не понимает, свекровь не понимает, японскую еду не ест, работать в поле не умеет. Я ей сказала, как ты научил: *«мэня дзобутто Юко»* — и она заплакала.

Я молча отхлебнул из бокала.

— А ее зовут *Рюбобу*.

— Как?!

— *Рюбобу*. Она сказала, что можно говорить *«Рюба»*. Это одно и то же?

— Да, уменьшительное...

— Я ей рассказала про тебя. Кажется, она поняла. Сходишь к ней? Она очень хорошенькая. Тебе понравится. Немножко толстовата, но ничего. Обрадуется, что ты пришел, и сразу выздоровеет.

Я поднял глаза к потолку и представил себя идущим по больничному коридору. На плечи небрежно накинут белый халат, в руке гвоздика. Иду уверенной походкой мимо *них* — такой нелюбопытный и некурящий, молчаливый и гладкоязычный, толковый и пардонный, добронамеренный и предсказуемый. Принц на белом коне.

В серых яблоках.

С гнедыми подпалинами.

И сивым отливом под вороной шерстью.

— БА-ДЫ-МУ!!! Ты уснул?!

Я оторвал взгляд от потолка и хотел вернуть его к бокалу — но по дороге он застрял на исполинской Барби, которой Тараги-сан концептуально украсил интерьер. Несчастная кукла висела под потолком на невидимых глазу нитках, растопырив руки и ноги, как контуженная. Ее изысканные кружева, ленты и оборки конвульсивно подрагивали под вентилятором.

Я повернул голову налево.

— Юко, ты знаешь, чем сатин отличается от атласа?

— Что?

— Это кафе называется “Satin Doll”. «Атласная кукла».

— А я думала, это значит «тринадцать долларов»...

— Почему?

— Ну как... «Сатын» — это же тринадцать?

— Тринадцать по-другому пишется. Но я раньше тоже думал неправильно. Думал, это значит «сатин». Такой материал, из которого трусы шьют. Потом глянул в словарь — а это «атлас».

— И что?

— Да нет, ничего. А вообще, “Satin Doll” — это песня Дюка Эллингтона.

— Знакомое имя.

— Мне еще интересно, кто его на эту песню вдохновил. Тараги-сан считает, что вдохновила вот такая.

Юко склонила голову набок и посмотрела на Барби.

— Не думаю, — сказала она. — Та была негритянка.

— Возможно, — согласился я. — Но цвет здесь не важен. Атлас может быть любого цвета. «Атласный» — это на ощупь. И что самое интересное: с текстильной точки зрения, сатин — это тот же самый атлас. Только не из шелка, а из хлопка.

— Ты это все к чему?

— Да так... Получается, что кукла может быть и из сатина. Только разве такая кукла вдохновит Дюка Эллингтона?

— А такая вдохновит? — Юко показала на Барби.

Я вздохнул. Потом полез в задний карман и вынул оттуда белую картонку.

— Вот. Передай это своей больной Любе. Пусть звонит.

— Дзе-ру-дэ-н-ко, — прочитала Юко. — Город Сясидо... Так это же не ты!

— Не я. Но это лучше, чем я.

— Почему?

— А ты представь сатиновые трусы с джинсовой заплаткой. Красиво?

— Не очень.

— Ну вот, видишь...

Юко задумалась, опершись подбородком на ладошку. Потом спросила:

- А этот, которого она вдохновила, – он еще живой?
- Он вечно живой, – ответил я. – Послушай!

Труба Нацуо Хамады мягко и неторопливо выдавила одну за другой восемь робких, приглушенных нот. Восьмая осталась висеть в воздухе неподвижным матовым лучом, который тут же начали обволакивать томные стоны басовых струн, нежные фортепианные трели и важное урчание сакса. Убедившись в поддержке, луч покачался вверх-вниз, поиграл цветами и погас. Это была первая прикидка – после нее те же самые восемь нот двинулись по разведанной дороге уверенно и дружно, как фарфоровые слоники по комоду. Восьмой слоник остановился на краю, расправил ушки, поднял хобот и затрубил торжественно и протяжно – а вокруг него снова засуетились клапаны, клавиши и смычок, взбормотнули что-то шесть струн потоньше, подползла шелестящая латунная тарелка. Слоник протрубил все, что ему полагалось и сиганул с комода. Пока публика глядела ему вслед, Масао Кавасаки набрал в грудь воздуха, охватил губами мундштук – и вместо восьми прежних нот выдал целых двадцать, накидал их зигзагами и петлями, а последнюю притащил туда, где его уже ждали остальные. К тому моменту смычок был отложен, на толстой струне лежал мозолистый палец Кена Судзуки, а кучерявый Накамура изготавился к хорошему удару сразу по двум тарелкам. Для пущей верности Масао слегка приподнялся на цыпочках, взмахнул локтями – и все шестеро синхронно вступили на «Мост в Челси».

В год, когда Билли Стрэйхорн написал для Дюка Эллингтона “Chelsea Bridge”, в Темзу падали немецкие бомбы. То был год, когда Сталинградский тракторный клепал тридцатьчетверки, адмирал Ямамото посылал самолеты на Пёрл-Харбор и по всей планете гремели лишенные синкоп марши. Но с тех пор из Темзы утекло много воды. Бомбы смыло в море, Европа помирилась, на Гавайях сильно выросла японская диаспора, а могила Рихарда Зорге заросла травой. Джаз – он же фьюжн, он же фанк, он же рок-н-ролл – подступил под самые Мытищи. Теперь, чтобы его не услышать, надо было засунуть голову в самовар.

После «Моста в Челси» они сыграли «Апрель в Париже». Затем – «Ночь в Тунисе». Следом – «Девушку из Ипанемы». Дальше – «Мамбо Италиано». Потом Кейко подвинула к роялю микрофон, взяла несколько аккордов, и я услышал:

“Every night you hear a croon of Russian lullaby...”

Обещанный сюрприз удался. Поймав несколько взглядов, брошенных со сценической площадки в мою сторону, я оттопырил большие пальцы и поднял их повыше. Весь секстет заулыбался.

Кейко продолжала петь – но ее вдруг заглушил взрыв хохота на баллюстраде второго яруса, где расположилась компания говорливых американцев. Юко нахмурилась, отодвинула чашку и проворчала мне на ухо:

– Слышишь, Бадому? Опять эти гайдзины понаползли!

В следующее мгновение до нее дошел смысл сказанного. Она уронила голову на стойку и затряслась в смехе и смущении. Я похлопал ее по плечу – мол, ничего страшного... Не отрываясь от стойки и продолжая хохотать, она повернула сильно порозовевшее лицо ко мне:

- Бадому!!! Я забыла, что ты тоже!..
- Тс-с-с-с! – сказал я. – Нам играют колыбельную.

Однако убаюкивать нас никто не собирался. Едва затих последний всплеск повторивших всю тему клавиш, как Накамура с бешеной скоростью замолотил по тарелкам. Кавасаки выступил вперед, его узловатые пальцы легли на клапаны тенора – и «Русская колыбельная» Ирвинга Берлина превратилась в то, что сорок лет назад сотворил из нее Джон Колтрейн.

Хард-боп. Sheets of sound. Тысяча нот в минуту. Четыре аккорда вместо одного. Колыбельная, которой можно перебудить все Черемушки и все Мытищи. Ритм, под который не смаршируешь. Позавчерашняя музыка, всегда глядящая в завтра.

Кавасаки был в ударе. Его глаза зажмурились, ногти побелели, шея раздулась змеиным капюшоном. Он не хотел на Хоккайдо, он хотел в Париж. И все шестеро чего-то хотели – по крайней мере, пока играли. Они хотели неизведанных гармоний и неожиданных синкоп, неопробованных стилей и неподхваченных тем. Хотели втянуть в себя все сыгранное другими и выдать свое. Хотели, чтобы вселенская скука наконец скукожилась. Чтобы лохматые медведи и толстые слоны навсегда убрали свои свинцовые лапы с ушей человечества.

Завтра эти шестеро наденут пиджаки и фартуки, выслушают гимн фирмы, поклонятся богам и встанут по своим ячейкам. Завтра их жестко построит Социум, внешне они станут неотличимы от миллионов других солдат этого войска. Их ждут внеурочные, общественный долг и преодоление жизни. Они готовы к этому, им не привыкать. Но сегодня – четвертая пятница. Сегодня они играют хард-боп. Сегодня они похожи только на самих себя. Они свободны.

Из разверстого медного чрева исторгались умопомрачительные пассажи. Нотам было тесно в прокуренном воздухе кафе, им не хватало слушателей. Под мощным звуковым напором распахнулось окно, ноты хлынули наружу, стали разлетаться по улицам вечернего города и окрестным рисовым полям. Белая цапля, прикорнувшая на меже, была грубо разбужена дикими звуками «Русской колыбельной». Ноты молотили ей по голове и застревали в перьях. С перепугу цапля поднялась в воздух – там по ее клюву прошли барабанные палочки, а под дых ударила горячая волна, прилетевшая из трубы Нацуо Хамады. Цапля чирикнула, перекувырнулась через голову и окончательно проснулась. Воздух был густо наполнен джазом. Отрывистые аккорды рояля били в левое крыло, гитарные струны – в правое. Звон тарелок щекотал ноги, а контрабас рассыпался по спине мягкими тычками. Не в силах больше противиться, цапля сделала мощный взмах, потом еще взмах, потом несколько взмахов – а потом вытянула шею и легла на гребень джазовой волны.

Над рисовыми полями со скоростью звука летела большая белая птица. Сверхскоростные поезда не поспевали за ней – у них не было такого свинга и такого куража. Из домов выбегали разбуженные люди в сатиновых трусах, задирали головы и смотрели в темное небо. Сверху они казались куклами, глупыми болванками без глаз и ушей – но птица не спешила их презирать. Она знала, что у каждого есть шанс сыграть свою музыку. Или вдохновить на музыку. Или хотя бы услышать свою музыку. Нужно только дожидаться этого шанса. И не упустить его.

Впереди показались очертания Птичьей Земли. Старый слепой пианист уже склонился над клавишами для другой колыбельной.

О несбывшихся мечтах

Большую часть сознательной жизни я хотел стать джазменом. И до сих пор еще не расхотел.

Когда джаз называют воплощением свободы, я соглашаюсь. Рождают музыку с нуля, не иметь перед глазами ни нот, ни дирижера, повиноваться импульсам в собственной голове, выписывать любые кренделя по гармонической сетке, а то и вовсе с нее съезжать – что это, если не свобода? Какой еще свободы желать?

Плохо лишь то, что одного желания мало. Нужно уметь. Нужен дар.

«Если слышишь музыку внутри себя, – говорил мне знакомый трубач, – всё нормально, будешь импровизировать. Сыграть то, что уже слышишь, – дело техники, только набить руку. А вот если в голове у тебя ничего не играет, то лучше даже не пробовать –дохлый номер».

Увы, мой номер оказалсядохлым. Что-то у меня в подкорке, безусловно, играло. Даже не что-то – я готов поклясться, что там играл целый оркестр из колтрейнов и паркерров, – но он играл так глубоко, так приглушенно и так неразборчиво, что не возникало и речи о переводе в осмысленные ноты хотя бы пары тактов.

«Тебе надо попеть в хоре, – сочувственно говорили друзья-музыканты. – Хоровое пение улучшает слух, дисциплинирует и облагораживает. Бортнянский и Рахманинов прочистят тебе все каналы.»

Я ничего не имел против Бортнянского или Рахманинова. Но мне мешала гордыня. Слиться с хором? Утопить в нем единственный и неповторимый голос? Петь по нотам, глуша внутренних маллиганов и петерсонов? Да ни за что!

Так мелочность губит мечту. Так порыв к свободе теряет кумулятивную мощь и растекается мелкими ручейками. Так происходило со мной с самого раннего детства. Мое бунтарство изначально было мелким и нелепым.

«Сядь на стул, – говорил мне отец, – а то наступлю на тебя нечаянно». Я пропускал отцовские слова мимо ушей и продолжал сидеть на полу. «Надень тапки, – уговаривала бабушка, – простудишься». Я закидывал тапки в дальний угол и ходил по дому босой. «Ну что за манеры! – сокрушалась мать, – как можно есть суп с такими звуками?» А я упрямо всасывал в себя суповую вермишель с хлюпаньем и свистом.

Ирония судьбы не всегда бывает зла. Мой ангел-хранитель пошутил очень изящно: он взял подросткового озорника за шкурку и забросил в страну, где в порядке вещей ходить по дому босиком, усаживаться на пол и издавать звуки при поедании лапши. В страну, где принято послушно и дисциплинированно топить свой голос в общем хоре, на фоне которого чужак обречен на соло. Пусть нехитрое, пусть сбивчивое, пусть бездарное – но свое.

Джазменом я так и не стал. Мне не хватило на это порогу.

Я стал гайдзином.

Очки

В знании туземных наречий есть как плюсы, так и минусы. Первые общеизвестны. Освоив язык аборигенов, путешественник или колонист способен самостоятельно прыгать туда-сюда через языковой барьер, глубоко проникать в местную культуру и быть среди туземцев своим в доску. Минусы менее очевидны. Они обнажаются только в больших колониях, при наличии достаточного числа соотечественников, пренебрегающих вышеперечисленными плюсами. Их пренебрежение понятно. В самом деле, жизнь коротка, и всему на свете все равно не научишься. Зачем вникать в устройство сливного бачка, если можно вызвать сантехника? В одном случае теряется масса драгоценного времени, а в другом – бутылка водки. Затраты несоизмеримы. Поэтому холодильник колониста, овладевшего местным языком, обычно бывает под завязку забит сорокаградусной. Поводы к получению магарыча разнообразны – обращение к врачу, визит в полицейский участок, прием свалившихся на голову туземных гостей. Ни одно из этих мероприятий не может быть успешно проведено без переводчика, поскольку и гости, и врачи, и даже полицейские, не сговариваясь, усаживаются по ту сторону пресловутого барьера.

Хорошо, если наш колонист равнодушен к алкоголю. В этом, не столь уж и редком случае он имеет возможность обращать минус в плюс, опрокидывая за ужином честно заработанную чарку и упиваясь сознанием своей нужности людям. Хуже, если он к алкоголю равнодушен. Во-первых, уменьшается полезный объем холодильника. Во-вторых, окружающие начинают думать о нем как о пьянице, что не соответствует истине и портит репутацию. Такому колонисту крайне трудно обрести моральную компенсацию своим бескорыстным трудам. Его рвут на куски все кому не лень, его время пожирается бесконечной рутинной – но в тот роковой миг, когда он готов расплеваться со всеми и перестать быть альтруистом, небо посылает ему Курьез, посылает Казус, ставит пьесу в театре абсурда и даже предлагает в ней роль, отказаться от которой невозможно. Пожалуй, ради одного этого уже стоит учить иностранные языки.

В то утро я сидел за своим неизменным терминалом, прихлебывал чай и сочинял ответ на чье-то электронное послание. День стоял солнечный; в оконное стекло то и дело ударялись головами глупые стрекозы, ошалевшие от тепла. Гул тракторов, доносившийся с окрестных рисовых полей, смешивался с криками студентов на футбольном поле. Все это было не очень шумно – сравнимо с жужжанием моего компьютера. Фактически, в кабинете стояла тишина.

Тишину эту нарушил стук в дверь, вслед за которым на пороге появилась кандидат физико-математических наук Зинаида Шишкина.

Я не сразу узнал ее. Что-то отличало ее от той Зинаиды Шишкиной, которая сидела в дальнем крыле и часто встречалась мне в столовой. С той Зинаидой произошла какая-то метаморфоза, и получилась эта. Приглядевшись к лицу, я заключил, что виноваты глаза, гораздо более круглые и выпуклые, чем раньше. Мелькнуло предположение, что с Зинаидой стряслась базедова болезнь и она намеревается взять меня переводчиком к эндокринологу. Но глазами странности не исчерпывались. Походка ее ставила вопросов не меньше. Раньше она ступала царственно, как львица, а теперь передвигалась на манер Чебурашки, не отрывая ног от земли. Растопыренные ладони ходили по воздуху, как два миноискателя. Ухватившись ими за спинку кресла, Шишкина со второй попытки уселась в него, заломила руки и произнесла страдальческим голосом:

– Вадичек!.. У меня несчастье. У меня очки уплыли.

– Что?!

– Очки. В унитаз...

Она сказала это и ждала моей сочувственной реакции.

В природе существуют умения и навыки, на первый взгляд совершенно бесполезные, но вдруг поворачивающиеся неведомым доселе спасительным боком. Кому, казалось бы, в реальной жизни может пригодиться способность беззвучно смеяться? Способность просто держать себя в руках, подавляя смех как таковой – дело другое, есть множество ситуаций, когда такая способность необходима. Ей должны обладать, к примеру, работники похоронных бюро. Им нельзя смеяться ни звучно, ни беззвучно, поскольку любые проявления смеха – даже чисто визуальные, вроде запрокидывания головы или мелкой дрожи брюшного пресса – оскорбляют чувства посетителей. Для того же, чтобы кому-то пригодилось умение смеяться, не издавая звука, требуется особое стечение обстоятельств. Если, скажем, посетитель погребальной конторы незряч и единственный свидетель его визита – собака-поводырь, то тогда господин Безенчук может позволить себе роскошь вволю похохотать. При условии, что умеет делать это беззвучно и лишен нравственных ориентиров.

По всей видимости, я был начисто лишен таких ориентиров. Только привычка смеяться с перекрытой гортанью уберегла репутацию воспитанного человека. Слух несчастной Зинаиды не различил звуковых волн, а наблюдать запрокинутую голову, перекошенное лицо и скрюченные ноги ей не пришлось, поскольку все эти подробности сливались для нее в мутное пятно, которое называлось «Вадичек». Оставалось еще костно-мышечное чувство, которое могло уловить колебания низкой частоты, – но эти колебания без остатка гасились амортизаторами хитроумного анатомического кресла, в котором я находился.

Таким образом, Зинаида не была оскорблена. Но ей казалось, что я молчу, и это ее смущало. Поэтому, выждав некоторое время и не услышав ответа, она произнесла:

– Вадичек! Ты хоть понял, что случилось?

Притворяться молчащим и далее становилось невежливым. Я собрал всю свою волю в кулак и подверг вибрации диафрагмы мгновенной заморозке. Достигнутый эффект удалось удержать ровно настолько, чтобы успеть произнести: «Понял!» – и

снова рухнуть в объятия садистически непреодолимого смеха. А Зинаида по простительному неведению принялась подливать масла в огонь:

– Ты знаешь, Вадичек, я сама не пойму, как это у меня вышло. Я думаю, это потому, что у них сливной рычаг слишком низко расположен. Ты вот говоришь, что японцы никакие не маленькие, что это миф. Какой же миф, если такие низкие рычаги? Им, выходит, наклоняться не надо. Это нам надо наклоняться. Они у меня прыг – и туда, а рычаг-то уже нажала! Кинулась ловить, да все как-то в суматохе, движения не скоординировала, а ты же знаешь, там очень быстро засасывает. Меня саму чуть туда не засосало. Так и уплыли, с концами...

У инстинкта самосохранения много функций. Не дать особи умереть от смеха – одна из самых неизученных. Никто из биологов пока не объяснил, как работает таинственный механизм, вмиг превращающий смешное в несмешное, лишь только в небе замаячат крылья ангелов. А между тем, сколько жизней спасено этим чудесным приспособлением природы! Вот и моя была спасена. Сведенный живот вдруг отпустило. Лицо разгладилось. Я попытался что-то сказать, но вышел один хрип – гортань еще не оправилась от перегрузки. Пришлось откашливаться.

– Да, Вадичек, я тебе самого главного не сказала. Они у меня были сложнолинзные. И еще они у меня были одни.

Наконец, мое горло пришло в порядок.

– Да, подруга, – произнес я. – Плохи твои дела. Сочувствую от всей души.

– Спасибо, Вадичек, – ответила она, глядя в никуда. – Я знала, что ты мне поможешь. Давай подумаем, что нам делать.

– Как что делать? – удивился я. – Идти к окулисту, да новые заказывать. Что тут еще сделаешь?

– Нет, Вадичек, ты не понял. Я хочу их оттуда достать.

Я почувствовал, что мой уставший пресс сейчас снова скрутит судорогой и начнется второй припадок. Чтобы предотвратить его, я принялся вспоминать все самое печальное, что знал в этой жизни. Перед моим мысленным взором последовательно прошли смерть бабушки, безответная школьная любовь, травма головы и развал Советского Союза.

Медитация помогла. Теперь я был перенасыщен мировой скорбью. Мысль о том, что Шишкина будет разыскивать свои очки в канализации, казалась вполне ординарной.

– И как ты собираешься их доставать?

– Еще не знаю. Надо установить, кто этим заведует.

– Спроси у наших бюрократов. Они тебе все расскажут.

– Ой, Вадичек, что ты! Мне неудобно. Все ж таки унитаз... А потом, там этот сидит, как его... Накаяма.

– А что Накаяма?

– Ты что, не в курсе? Все уже в курсе. Он к нам приставлен.

– К кому это «к нам»?

– К кому, к кому... К русским! Ты обрати внимание – как только при нем по-русски заговоришь, он сразу ушки на макушке и слушает. Потом докладывает куда надо.

– Ага. Сейчас побежит морзянку отбивать: «У Шишкиной очки в унитаз уплыли».

- Да ну тебя, Вадичек, я серьезно. Давай съездим в мэрию.
- Зачем в мэрию-то?
- Там точно про всё знают.
- Ну, съезди. Там же по-английски говорят.
- Да я все равно не знаю, как унитаз по-английски. А потом, как я одна поеду?

Я ж не вижу ничего!

Аргумент был весомый. Бросить Зинаиду в таком состоянии было бы негуманно. В конце концов, думал я, все равно придется везти ее к окулисту, сажать на стул перед плакатом с шайбочками для неграмотных и старательно переводить скучные слова: «слева», «справа», «сверху», «снизу» – после чего выбирать оправу, узнавать цену, договариваться о сроках, и все это сегодня, потому что чем раньше, тем лучше. Как ни крути, все равно придется потратить сегодня пару часов на Шишкину – и раз уж она непременно хочет доставить несколько веселых минут работникам мэрии, то и ради бога.

– Ладно, поехали, – сказал я. – Проверим их на вшивость. Устроим маленькое шоу.

На улице наблюдалось роение стрекоз. Они облепили мой автомобиль и норовили его изгадить. Ведомая мной Зинаида заняла переднее сидение, а я завел мотор и при помощи дворников стал сгонять насекомых с лобового стекла. Те из них, что занимались любовью, были очень недовольны. Я представил себя на их месте, и мне стало не по себе.

Поначалу Шишкина вертела головой и щурилась на проплывавшие мимо рекламные щиты. Потом бросила это бесперспективное занятие и предалась думам. Какое-то зерно сомнения в ней все же было посеяно, и вот полезли всходы:

- Слушай, Вадичек, а вдруг они скажут: «Ищите сами свои очки»?
- Не скажут, – успокоил я ее. – Это не по-японски. Самое худое, что нам могут сказать, это «Мы подумаем над вашим предложением» или «Мы вас проинформируем позже» или, как самый крайний вариант, «Вы нам поставили очень сложную задачу». Это все означает «Подите прочь, не морочьте голову». Но грубить точно никто не будет.
- А смеяться тоже не будут?
- Этого гарантировать не могу. Кто их знает, возьмут да засмеются.
- Но ты же не смеялся?
- Сравнила... Я философ.

Карауливший стоянку дядька в синем мундире показал, куда встать. Часы на фронто́не мэрии показывали одиннадцать. До обеда еще было время.

– Надо узнать, кто у них главный по канализации, – предложила Шишкина. – Ему все и расскажем.

– Не годится, – отрезал я. – Подумай сама: человек, может, ни разу иностранцев вблизи не видел, а тут приходят сразу два и говорят: «Мы у вас свои очки утопили, найдите их». Он будет шокирован, растеряется, забегает по этажам, и толку мы с него не поймеем. Такие контакты надо осуществлять опосредованно. У тебя тут знакомые есть?

- Может, и есть... Только как я их узнаю без очков?
- Тогда будем через моих. Главное – грамотно все изложить.

Мы прошли узким коридором, толкнули железную дверь и оказались в подобии бомбоубежища. Потолок этого огромного помещения был весь опутан сложным переплетением труб, шлангов и проводов, с которых свисали отсохшие концы изоленды, клочья паутины и таблички с названиями отделов. Под табличками теснились письменные столы, шкафы с документацией, стеллажи, тумбочки и перегородки. Меж ними сновали одинаковые люди в белых рубашках, рабочие муравьи бюрократического муравейника. Кое-где рубашки перемежались более либеральными нарядами дам. Одна из них сидела прямо напротив входа и сражалась с допотопной пишущей машинкой в две тысячи иероглифов. Согнувшись в три погибели, она подолгу водила пальцем по широченной матрице; отыскав нужный иероглиф, брала его на рычаг и наносила удар по листу, после чего ставила на место и принималась за поиски следующего.

Я попытался сообразить, к кому лучше обратиться, как вдруг печатающая дама решила разогнуть натруженную спину и заметила нас с Шишкиной.

– А-а-а! – обрадовалась она. – Дзинаида-сан!

– Знакомая? – спросил я.

– Ой, не вижу, – растерялась Шишкина.

– Доброе утро, – обратился я к даме. – Мы из университета.

– Помню, помню, – ответила дама. – Доброе утро. Как поживаете?

– Спасибо, – сказал я, – в целом неплохо. Но есть маленькие частности. Я бы даже сказал, есть серьезные проблемы. Которые требуют отдельного, обстоятельного разговора. И нам нужен человек, способный такие проблемы решать. Если вы не возражаете, я вам обрисую нашу проблему в двух словах. У нас очки в унитаз уплыли.

– Подождите минуточку, – не моргнув глазом, сказала дама и исчезла за перегородками.

– Смотри-ка, – повернулся я к Зинаиде. – Она даже имя твоё помнит.

– А я всегда по имени представляюсь. Не люблю, когда они меня по фамилии зовут. У них некрасиво получается.

– Это как – «Сиськина»?

– Ну, типа того.

Дама вынырнула обратно из-за перегородок и повела нас этажом выше. Судя по всему, делу был дан ход. Табличка на кабинете, куда мы вошли, гласила: «Начальник общего отдела».

– Здравствуйте, – начал я с порога. – Мы из университета. Вот эту женщину зовут Зинаида Шишкина. Она математик. Крупный ученый в своей области, уникальный специалист. Случилось так, что ее очки уплыли, а без них научная работа невозможна. Положение крайне серьезное, и мы хотели бы просить вас о помощи.

Общий начальник сначала в смятении замахал руками, словно бы отгоняя стрекозу, но тут же овладел собой, нахмурил брови и нарисовал на лице озабоченность.

– Да, – произнес он. – Я понимаю, случай чрезвычайный. Не сомневайтесь, будут приложены все силы. Мы горды, что стали университетским городом. Для нас большая честь оказаться полезными столь высокоученым господам. Так что, вы говорите, случилось с вашими очками?

– Видите ли, – сказал я, – по некоторым косвенным признакам они должны сейчас находиться в канализационной сети.

– Так... – Начальник глянул на нас искоса и побарабанил пальцами по столу. – В таком случае обратимся в соответствующий отдел.

Отдел водопровода и канализации располагался на третьем этаже. Видимо, чем ниже в физическом мире находилась епархия того или иного начальника, тем выше ему полагалось заседать. Мы ввалились туда целой делегацией, и я еще раз изложил суть дела. Дальнейшее напоминало военный совет. На столе расстелили подробную карту городских канализаций, и лучшие стратеги отдела принялись вычислять наиболее вероятную траекторию шишкинских очков. Канализационный начальник сидел подбоченясь, как Кутузов в Филях, и следил за полетом мысли своих орлов. Зинаида кусала губы от волнения.

– Вадичек, – шепнула она, – скажи им, что они у меня сложнолинзные.

– Зачем? – удивился я. – Ни к чему это. Неровен час, Накаяма узнает и доложит куда надо. И потом, ты хоть объясни, что это такое.

– Ты разве не знаешь? Это значит бифокальные.

– Позвольте вопрос, – обратился к нам канализационный начальник. – Какого размера были ваши очки?

– Как это какого размера? – не понял я. – Вон, сами поглядите. Какого размера лицо, такого и очки.

– Действительно, – согласился он и что-то черкнул в своей бумажке. – Еще такой вопрос: в каком состоянии они уплыли? Я имею в виду: в сложенном или в развернутом?

– Пали они в развернутом состоянии, – ответила Зинаида, когда я перевел. – Но от удара могли и сложиться. Я точно не помню.

– Если сложились, то плохо, – сказал начальник. – У развернутых очков больше шансов за чтонибудь зацепиться. Вот мы тут определили, где их следует искать. Здесь решетка, потом здесь, еще одна здесь и последняя здесь. Начнем вот отсюда, с улицы Накабэку. Сейчас снаряжим бригаду, пусть проверят.

Последовало еще несколько вопросов о толщине стекол, цвете оправы, материале и изготовителе. Казалось, они вознамерились выловить все очки, когда-либо утопленные населением города в своих унитазах, и уже из этой кучи выбирать искомые.

– Особые приметы есть? – прозвучал последний вопрос.

– Сложнолинзные! – выдохнула Шишкина.

– Очень хорошие, – перевел я.

Начальник кивнул, дополнил спецификацию особой приметой и передал бумажку своим стратегам. Они поклонились и вышли – наверное, снаряжать водолазов. Нам предложено было подождать прямо в кабинете. Мы не возражали.

– Ты гляди, подруга – сказал я, – похоже, дело-то выгорает! Неужели и вправду выловят твои бифекальные?

– Вадичек, ты все никак не привыкнешь, что в Японии живешь. Это ведь страна высоких технологий! Тут все возможно.

Канализационный начальник подморгнул даме из бомбоубежища. Она вышла и через пару минут вернулась с подносом. Перед нами появились две чашки

зеленого чая и блюдца с дрожащими кубиками какой-то желтоватой субстанции. Зинаида наклонилась к ним вплотную и изо всех сил прищурилась.

– Что это, Вадичек?

– Названия не помню, – ответил я. – Только помню, что к зубам сильно прилипает. Так что лучше глотай, не жуя. Для приличия можешь во рту немного поболтать.

– Я лучше вообще не буду.

– Как это не буду? Ты меня не позорь. В приличном месте находимся.

Начальник водопроводов и канализаций прислушивался к диковинным звукам чужестранной речи и, похоже, обессилел в догадках:

– Простите пожалуйста. Нельзя ли узнать, откуда вы к нам приехали?

– Отчего же нельзя? Мы приехали из России.

– Э-э-э-э... – удивился он.

И тут же спросил:

– В России холодно, да?

– Смотря где, – ответил я. – Страна большая. Если на севере, то холодно. А если на юге, то тепло.

– О-о-о-о-о... – только и сказал он.

Потом еще раз:

– Э-э-э-э-э...

И наконец:

– М-м-м-м...

После этого он надолго замолчал, сидел тихо, глядя то на меня, то на Шишкину, то на карту своих владений. Зинаида гоняла во рту желтый кубик, производя псевдожевательные движения. Проглотила, поморщилась, запила чаем.

– Слушай, Вадичек, я вот что подумала. Если бы к ним японец пришел за очками, их стали бы искать?

– Ну, начнем с того, что японец не пришел бы к ним за очками.

– Почему?

– А ты в Москве пошла бы за очками в мэрию?

– Ты меня за дуру держишь.

– Ну вот. А здесь нас за кого держат, как ты думаешь?

– За дураков?

– За иностранцев! Что в известном смысле то же самое. Иностранцам, как и дуракам, закон не писан. И не только здесь, кстати. В любом социуме, где живут более-менее спокойно и достаточно замкнуто, чужакам делают скидку. Ты совок вспомни – как тогда с иностранцами носились.

– Это политика была.

– Не только. У людей в мозгах это тоже сидело. Вот послушай. Когда я в институте учился, мы в сессию после каждого экзамена в «Пушкарь» ходили пиво пить. Хороший такой был пивняк, но долго приходилось ждать, пока принесут. Так мы каждый раз с собой негра брали. У нас в группе был парень из Уганды, и вот, как пиво долго не несут, мы ему говорим – мол, сходи, Петерс, поторопи их там. Действовало безотказно. Иностранец! И здесь то же самое. Мне один американец говорил, что ему нравится жить в Японии, потому что он ощущает позитивную дискриминацию.

– И насколько нам ее хватит, этой дискриминации?

– Пока не примелькаемся. Думаю, еще долго. Ты ж понимаешь, лет пять назад в этой деревне вообще ни одного иностранца не было. Конечно, если нас сюда налетит, как саранчи и мы вылезем из приготовленной для нас ниши, то тогда начнется негативная дискриминация. Особенно если будем канализацию засорять бифекальными очками и ходить по инстанциям с дурацкими просьбами. Да еще в рабочее время.

Зазвонил телефон. Начальник отдела взял трубку и через несколько секунд расплылся в самодовольной улыбке.

– Нашли, – сообщил он нам. – Моют.

– Что вы, что вы, – запротестовал я. – Мы и сами помыли бы!

– Что такое? – встревожилась Зинаида.

– Нашлись твои сложнолинзные.

Она подпрыгнула на стуле и радостно взвизгнула. Даже ослик Иа-Иа, когда ему вернули потерянный хвост, вел себя сдержаннее.

– Зацепились за первую же решетку, – отметил начальник. – Видимо, все-таки развернутыеплыли. А помыть-то помоем, как же это вы сами будете? Хорошо, когда решетки стоят, правда?

– Хорошо, – кивнул я. – Еще хорошо, что она очки утопила, а не контактные линзы. Линзы, пожалуй, за решетку не зацепились бы.

– Да уж, – согласился он. – С контактными линзами было бы труднее.

– А у вас как вообще, – поинтересовался я, – много чего цепляется за такие решетки? Вы ведь их чистите, наверное?

– Конечно чистим, – сказал он. – В основном что попадается? Расчески, игрушки, цепочки всякие. Иногда браслеты. Два раза кошельки вылавливали и один раз вставную челюсть. Очки тоже встречаются, но редко.

– Хозяева не заявляют?

– Не припомню такого. Сегодня первый случай.

– А почему они не заявляют? Вот, скажем, вставная челюсть – дорогая же вещь!

– Ну, может стесняются. Или думают: зачем мне такая челюсть, которая во рту не держится? Лучше новую сделать, чтоб держалась. А может, просто в голову не приходит, что можно ее оттуда достать. Специально-то такой услуги не предусмотрено... Скажите пожалуйста, а где вы учили японский язык?

– Специально нигде не учил, просто живу здесь.

– Очень хорошо говорите.

– Я польщен.

– Ха-ха-ха! Какие слова знает – «я польщен»! Ну надо же! Наверное, голова хорошая, да?

– Нет, что вы, голова никудышная. Голова вот у нее хорошая, она ученая женщина, математик.

Ученая женщина торжествующе улыбалась. «Вот! А вы не верили!» – было написано на ее лице, хранившем отсвет высоких технологий, постиндустриальных ценностей и экономических чудес. Скептики были посрамлены и могли сушить весла.

Из коридора послышалось покашливание и несмелый стук. Дверь открылась. На пороге нарисовались два дюжих гегемона в зеленой униформе и заливчатых банданах. Резиновые сапоги отливали фиолетовым.

– Простите за беспокойство, – сказали они хором и склонились в полупоклоне. Затем один подошел к начальнику, снова склонился и обеими руками протянул ему тряпичный сверток. Начальник принял его одной правой, потом подключил левую и по такой же двуручной схеме подал Зинаиде. Величие момента заставило ее встать. Она приняла драгоценный сверток в руки, с волнением развернула и недоверчиво поднесла содержимое к ноздрям.

– Не извольте беспокоиться, – сказал гегемон. – Продезинфицировано.

– Слышь, Шишкина, кончай нюхать, – сказал я. – Невежливо. Это просто хлоркой несет. Или аммиаком.

– Ваши? – спросил начальник.

– Мои, – подтвердила Зинаида. – И стекла целы.

Она водрузила находку на ее законное место и глазами младенца, впервые увидевшего мир, оглядела комнату и всех, кто в ней находился.

– Сенкью, – произнесла она с чувством. – Сенкью вери-вери мач!

На всякий случай я перевел.

Гегемоны сложились в пояснице и задом попятились к выходу. В дверях они выпрямились, и проскандировали:

– Огромное вам спасибо!

После чего поклонились так, что чуть не стукнулись лбами о коленки, – и, продолжая пятиться, исчезли за дверью.

– Видела? – спросил я Шишкину. – Нам сейчас предстоит это повторить.

Следующие полдюжины фраз вместили все известные мне в японском языке формулы благодарности. Глава канализационной службы радостно смеялся, крутил головой, говорил: «да нет, что вы! да нет, не стоит!», и под конец до того растрогался, что кинулся пожимать нам руки. По завершении рукопожатий я дал Зинаиде знак, и мы засеменили задом наперед по направлению к дверям. Наш прощальный поклон был настолько глубок, что у нее с носа опять слетели очки – на этот раз она сумела поймать их в воздухе и, вконец сконфуженная, выпрыгнула в коридор, причем не задом, а в нарушение всех правил передом. Мне пришлось заканчивать ритуал в одиночку, и последним, что я видел, была блестящая лысина нашего нового друга, в поклоне упершегося лбом в схематическое изображение канализационного люка на улице Накабьяку.

Зинаида ждала на лестнице.

– Приделай к ним цепочку, – посоветовал я. – С цепочкой дальше шеи не упадут.

– Это все из-за их поклонов дурацких, – насупилась она. – В гостях кланяйся, в присутственном месте кланяйся. В сортире – и в том кланяйся!

– Что поделать, – вздохнул я. – Часть национальной культуры. Кстати, кланяешься ты неверно. Руки по швам только мужики держат. Ты должна руки сложить лодочкой, как будто тебе штрафной бьют, а ты в стенке стоишь. Казалось бы, нелогично, да? По идее должно быть наоборот, но именно в этой парадоксальности...

– Вадичек, – перебила она меня, – а что было бы, если бы мы не поклонились?

– Ровным счетом ничего. Мы же иностранцы, с нас какой спрос? Совершенно никакого. Мы могли там вообще нагадить посреди кабинета, никто слова не сказал бы. Они, кстати, и сами-то кланяются нечасто, разве что по службе.

– А зачем мы тогда кланялись?

– Да так... Для ради шоу.

Она фыркнула и стала спускаться по лестнице своей всегдашней царственной походкой. Она не была актрисой в душе. Импровизации в театре абсурда и кураж как способ существования ее не интересовали. Ее интересовали практические результаты. Максимум, что ее интересовало – это математические формулы. Говорят, что и в формулах есть своя красота. Если она могла эту красоту разглядеть, то за нее не стоило волноваться.

Дядька в синем мундире отвесил нам напутственный поклон, и фронтон мэрии остался позади. Вскоре позади осталась и историческая улица Накабьяку. На нас надвигалась вывеска с огромным, три на три метра, иероглифом «сакэ». Судя по всему, Зинаиде он был знаком.

– Вадичек, – сказала она, – давай заедем в винный. Я тебе водку куплю.

– Не надо мне никакой водки, – отмахнулся я. – И так уже девать некуда.

– Как, – растерялась она. – Ведь ты же переводил...

– Это я из любви к искусству.

Она проводила вывеску беспомощным взглядом и уставилась вперед. Эскадрильи стрекоз пикировали на лобовое стекло и, не долетев до него считанных сантиметров, веером разлетались в стороны. Знал ли когда-нибудь этот край подобное нашествие насекомых? Едва ли. Они тоже были участниками спектакля, грандиозной массовой, и сквозь их стаи уже прорисовывались контуры того, что здесь называли «интернациональным университетом» – центральной декорации, с размаху воткнутой прямо в рисовые поля дерзкой рукой Главного Режиссера.

О бинарных разбиениях

Любое множество может быть разбито на подмножества. Так написано в школьном учебнике математики. И это действительно так.

Множество из двух элементов можно разбить только пополам. А еще можно вовсе не разбивать. Для трех элементов таких схем существует пять: не разбивать, разбить на три равные части, и трижды на две неравные. Количество возможных разбиений называется числом Белла, его можно посчитать по специально выведенной рекуррентной формуле. Для четырех элементов оно равно 15, для десяти – 115975, а для ста (знающие комбинаторику не дадут соврать) представляет собой 116-значное число.

Столь стремительный рост делает практически невозможным точное вычисление числа Белла для больших множеств. Его можно только оценить асимптотически. Вот, например, каким оно будет для шести миллиардов:

$$10^{45.500.000.000}$$

Единица, а после нее – сорок пять с половиной миллиардов нулей. Примерно столько вариантов разбиения дает нам множество из 6.000.000.000 элементов.

Так говорит теория. Понятно, что практические нужды не требуют такого разнообразия. Любая конкретная задача обходится куда меньшим числом вариантов.

Возьмем наглядное и поучительное множество, возьмем фауну. Биологи поделили фауну на типы. Она теперь состоит из пластинчатых, кишечнополостных, щетинкочелюстных, членистоногих, иглокожих – и далее, вплоть до хордовых. Стройно, научно, практично. Разве что не очень подробно. Но это не беда – внутри типов предусмотрены классы, отряды, семейства, роды и виды. Если не копать еще глубже, то фауну можно считать состоящей из зайца-русака, зайца-беляка, рака-отшельника, мухи-дрозофилы, китовой акулы, бычьего цепня и лошади Пржевальского.

Такое разбиение удобно биологам. Но представителям фауны оно неудобно. Бычьему цепню нет дела до разницы между зайцем-беляком и зайцем-русаком. Он делит фауну на быков, небыков и цепней. Такому тройственному разбиению его научила эволюция. А еще популярнее бинарные разбиения. Черепахи и нечерепахи. Махаоны и немахаоны. Амёбы и неамёбы. Слоны и неслоны.

Так понятнее. Так лучше. Если ты слон, то отличить слона от неслона тебе гораздо проще, чем отличить комара от мухи. И если перед тобой неслон, то какая разница, зебра он или пантера? Хоботом ему по рогам, и вся любовь. Биологи потом разберутся.

С шестью миллиардами дело обстоит сходным образом. Можно, конечно, делить их на расы, этносы, субэтносы и прослойки. Можно измерять черепа, штудировать древние рукописи и сравнивать глагольные формы. Можно находить общее и необщее, выявлять скрытые связи, рисовать мозаичную картину мира и

радоваться ее многоцветности. Всё это делается. Но бинарные разбиения никуда не уходят. Они слишком удобны.

Если ты не аид, то ты *гой*.

Если не ром, то *гаджо*.

Если не мусульманин, то *гяур*.

Если не японец, то *гайдзин*.

В основе всего базовая оппозиция «свой-чужой». Но от разбиения к разбиению – какие переливы, какие смены коннотаций, какие перепады по количеству и по качеству! Ясно, например, что гяуров наберется на миллиард меньше, чем гаджо. И даже ясно, почему. Быть гяуром в наш век опаснее. Хотя, возможно, быть гаджо для кого-то обиднее. Масса нюансов, бездна смысла, простор для анализа. И только сами разбиения по-прежнему жестки и ненарушимы. Перестать быть гяуром еще как-то можно – но вот из гаджо ты хрена с два пролезешь в ромалэ. И из гайдзинов тоже – хрена с два куда пролезешь. Про гоев и говорить нечего.

Если взять все эти разбиения и наложить друг на друга, произвести это такое многослойное маскирование – какая жуткая картина предстанет нашему взору! В какое дикое количество «чужих» подмножеств попадет каждый из нас!

Ведь любому ясно: нельзя быть японско-цыганским аидом и совершать при этом намаз. Потому, например, пишущий эти строки является одновременно гоем, гяуром, гаджо и гайдзином. Это по меньшей мере – на самом деле список будет гораздо обширнее. Я не папуас, не пигмей, не малагасиец, не гаваец и не чеченец – а ведь всё это тоже как-то называется! Если же выйти за рамки антропологии с этнографией, если взглянуть шире – сколько еще нагромодится несимметричных бинарных разбиений!

Богема и быдло. Асы и чайники. Деды и салаги. Хакеры и ламеры. Морские волки и сухопутные крабы. Партийные и беспартийные. Воры в законе и фраера. Нормальные пацаны и лохи. Цивилизованные люди и варвары. Свои и чужие... Свои и чужие... Свои и чужие...

На каждом из нас негде ставить клейма. Мы все в стигмах с головы до ног. Мы живем на планете отверженных. Как же мы живы до сих пор?

А вот так и живы. Нельзя сказать, чтоб замечательно.

Гои мечут камни в гяуров. Гяуры ездят по гоям на гусеницах. Варвары теснят цивилизованных чайников. Быдло издевается над фраерами. Свои мочат чужих. Чужие мочат своих. Свои и чужие мочат друг друга и сами себя. Осуществляется история.

Высоколобые мудрецы все не могут понять: отчего она осуществляется так странно? Почему даже слоны и черепахи живут дружнее? Почему моллюски и кишечнополостные не жрут друг друга в таких количествах? В чем тут дело?

Роятся догадки, множатся версии, рождаются теории. То ли умер бог, то ли утерян рай... То ли нам мстит природа, то ли мы просто взрослеем медленно... То ли это пассионарные толчки, то ли дело к апокалипсису... Вопросов больше, чем ответов. А между тем, главный корень человеческих бед – это злоупотребление аппаратом теории множеств.

И слабое знание комбинаторики.

Золотая клетка

Многие люди во сне храпят.

Физиологи говорят, что в храпе повинны мягкие ткани глотки. Когда их тонус снижен, жди неприятностей. Корень языка западает, миндалины болтаются, нёбная занавеска вибрирует, и челюсть норовит уплыть. Чем жирнее глотка, тем больше храпа.

Лично мне храп никогда не был свойственен. Ткани моей персональной глотки всегда находились в хорошей спортивной форме, всегда были поджары и сухощавы. Корень языка никуда западать не думал. Челюсть не отлучалась ни на шаг. Если кому-то случалось ночью оказаться поблизости, то утром никаких жалоб не поступало.

Захрапев первый раз в жизни, я очень удивился. Самым интересным было то, что в тот момент я бодрствовал и спать даже не собирался. Дыхание было ровным, в меру глубоким — но в горле ощущалось некоторое стеснение. Это стеснение постепенно нарастало, затрудняло вдох и выдох — и, наконец, взорвалось неприличным хрюкающим звуком.

Пораженный, я на несколько секунд приостановил работу легких. Затем медленно выпустил воздух через нос, изо всех сил расслабился — и попробовал снова вздохнуть. И снова всхрюкнул.

Плохо дело, — подумал я. — Заплываю жиром... Начинается с шеи, потом перекинется на живот — а куда дальше?..

Я физически ощутил, как нижние ткани глотки разбухли и прижали верхние, перекрыв гортань. В голове забегали страшные мысли, и мне захотелось открыть глаза. Но и это оказалось непростой задачей. Щеки у меня тоже начинали жиреть, становились тяжелы и давили на нижние веки. Я наморщил лоб, отодвинул брови, вытаращился — и сквозь приоткрывшиеся щелочки смог разглядеть нижнюю половину входной двери. В тот же момент раздались удары кулаком по металлу, дверь распахнулась, и в проеме я увидел два коричневых ботинка и две черные штанины. Остальное загораживали наплывшие на глаза щеки.

— Раструби твою в затылок! — заорал федькин голос. — Опять на уши встал, йог недорезанный!

Ботинки решительно направились в мою сторону и остановились в полуметре от лица. Казалось, их обладатель хочет схватить меня за ноги и опрокинуть на пол. Однако этого не происходило.

— Почему носочки не тянешь? — строго спросил Федька. — Почему ноги врозь? Что за квантор всеобщности?

Я хотел сказать что-нибудь в ответ — и неожиданно всхрапнул.

Федька удивился. Он опустился на четвереньки и приблизил ухо к источнику храпа. Я не стал его разочаровывать и всхрапнул еще раз.

– Да-а-а... – сказал Федька. – Полное разложение. Начиналось с малого, с матраса на татами. А теперь вверх ногами будет спать. Дообезьянничался.

Он поднялся, придвинул кресло на колесиках, уселся в него и продолжал:

– Я тебе притчу расскажу. У моего шефа племянник был, тоже на ушах любил стоять. И один раз хотел ногой свет выключить. Над ним как раз этот шнурок висел, от люстры. Хватать за него ногой – а ногу-то и свело. Так и повис на люстре, как макака – и висел четыре дня, пока мать из отпуска не вернулась. Мораль ясна?

Я утвердительно помычал.

– Не наше все это, – веско сказал Федька, – не наше! У нас и климат другой, и менталитет. Что нам эти индусы, раструби их в затылок... Ты бы лучше в каратэ записался. Каратэ нам духовно ближе.

Я пошевелил сомкнутыми на затылке пальцами – они затекли.

– Чай пить будем? – спросил Федька. – Переворачивайся уже!

Я медленно сгруппировался и опустился на колени, не отрывая от пола отяжелевшей головы. Кровь развернулась и потекла обратно в ноги.

– Другое дело, – сказал Федька. – Пойду чайник поставлю.

Он отошел к раковине и загремел посудой. Ударяясь о стенки чайника, зашумела вода. Я неспешно поднял голову, принял положение «сидя» и завязал ноги в лотос. Федька включил чайник в сеть, повернулся ко мне – и покачал головой.

– Полное разложение, – повторил он сокрушенно. – Охмурили бонзы нашего Козлевича...

* * *

Кандидат физико-математических наук Федор Матвеевич Репейников заходил ко мне в кабинет достаточно регулярно. Иногда он заходил по делу – например, показать очередное испещренное закорючками письмо и установить с моей помощью, чего эти злосчастные аборигены опять от него хотят. Или я должен был позвонить в особо дешевое туристическое агенство с не понимающей английского языка девицей и заказать у нее авиабилет на Сингапур. Или мне надлежало написать благодарственный ответ на новогоднюю открытку от какого-нибудь господина Мураямы – непонятно откуда взявшегося, но с Федором Матвеевичем как бы знакомого. Поводы были неисчислимы.

Но чаще Федька приходил безо всякого повода. Его влекла ко мне неутоленная потребность делиться выстраданным знанием. Ему не давали покоя терпкие плоды напряженной духовной работы. Его распирали миссионерский импульс. Он приходил, наливал в стаканы чай, садился напротив – и начинал развенчивать миф о жидомасонском заговоре.

Он делал это с такой горячностью и страстью, как будто я был одним из апологетов и столпов этого мифа. Как будто я был клеветником, а он – оклеветанным. На борьбу с химерой пускалась вся мощь изощренного федькиного ума. Возводились сложнейшие логические конструкции, привлекалось наследие классиков, переосмысливалась мировая история – делалось решительно все для того, чтобы рассеялся мрак и воссияла истина.

Истина же состояла в том, что заговоры существуют по отдельности. Есть самостоятельный масонский заговор – и совершенно независимо от него есть заговор жидовский. Никакого такого комбинированного жидомасонского заговора в природе нет и быть не может. Более того, нелепый миф о таком заговоре был специально разработан израильской разведкой «Моссад» и распушен среди доверчивых масс с единственной целью – дискредитировать и опорочить героических борцов с отдельно взятыми заговорами.

Разъяснение тонких терминологических различий заняло у Федьки около полугода. Когда он счел меня достаточно подготовленным, то посвятил в более глубокие теории. По ним выходило, что заговоры все-таки связаны – но эта связь осуществляется не напрямую, а *иерархически*. Оба названных заговора – как масонский, так и жидовский – являются составными частями одного большого заговора, своеобразного *мета-заговора*, имя которому – «Заговор Мирового Капитала». Он очень сложен и велик, поэтому изучать его следует, разбив на компоненты.

Картина усложнялась с каждым федькиным визитом. Появились заговоры пришлых народов против коренных и коренных против пришлых. Возник заговор буддистов; обсуждался возможный заговор мормонов. Был упомянут заговор бюрократии против научных работников. Не обошлось без заговора нерусской профессуры против русской. Деревенская бабка-знахарка, чьим единственным хлебом и смыслом жизни были заговоры и привороты, не знала столько заговоров, сколько знал их Федька. На моих глазах все эти многочисленные заговоры дружно складывались в логичную, стройную и пугающую композицию действительно большого и очевидного мета-заговора, который следовало бы назвать так: «Заговор Всех Людей против Федьки Репейникова».

Меня восхищало федькино поведение перед лицом этой темной, неумолимой силы. Я бы так не смог. Если бы заговор всех людей был направлен против меня, я непременно впал бы в тоску и панику. Федька же держался молодцом. Тотальная злонамеренная конспирация лишь разжигала его исследовательскую отвагу. Толпы оборотней сужали вокруг него свое роковое кольцо – а он даже не думал об опасности, он продолжал без устали разить заговорщиков всепобеждающим скальпелем научного анализа, срывать с них маски и фиговые листочки, классифицировать и пригвождать.

* * *

– А ведь я по делу! – вспомнил Федька и вытащил из кармана мятый конверт.
– Это мне пришло или не мне?

– Послушай, Федор! – сказал я. – Еще понятно, когда иероглифы. Бог с ними. Но как твоя фамилия пишется, ты мог бы и выучить. Вот это – «рэ», вот это, с кружочком – «пэ», вместе получается «рэпэ», и уже понятно, что фамилия твоя.

– Когда мне будет очень надо, – сказал Федька, – я все выучу. Когда стимул появится. Раз не учу, значит стимула нет. Лучше скажи, от кого это пришло.

– «Мураяма», – прочитал я иероглифы на обратной стороне.

– Вот черт! – Федька заерзал. – Опять Мураяма! Чего пишет?

– Читать надо...

– Так читай! Я пока чай налью.

Он загремел стаканами и ложками, а я вскрыл конверт и углубился в чтение. Господин Мураяма поздравлял профессора Репейникова с благоденствием. Он делился радостью по поводу скорого наступления весны, извинялся за то, что своим негодным письмом отрывает профессора от важных дел, и сетовал на занятость, которая не позволила ему написать больше.

- Ну, что там? – деловито осведомился Федька, возвращаясь с чаем.
- Он тебя поздравляет.
- С чем?
- С благоденствием.
- А еще что?
- Больше ничего.

Федька на секунду замер, потом поставил стаканы на стол и потребовал буквального перевода. Я старательно перетолмачил все письмо, обсасывая каждую фразу до косточки, чтобы никакой тайный смысл не утек.

– Вот же, блин! – крикнул Федька, когда текст закончился без малейшей зацепки. – Раструби его в затылок, этого Мураяму... Откуда он взялся вообще? Чего хочет?

- Может, он масон? – предположил я.
- Нет, – отверг Федька. – Масоны другие.
- А может, мормон?

Федька немного подумал.

– Нет, – опять не согласился он. – Мормон и писал бы про свое мормонство. А тут какое-то «благоденствие»...

- Значит, не мормон. Просто козел по жизни.

Выражение «козел по жизни» было взято мной на вооружение в студенческие годы, после общения с одним демобилизованным конвоиром. Эта лапидарная формула, несмотря на уголовный генезис, примечательна во многих отношениях. Она трогательно незатейлива, в меру брутальна, достаточно выразительна и гениально неконкретна. Любого деятеля в любых обстоятельствах бывает уместно обозвать козлом по жизни – естественно, за глаза. Безапелляционность приговора, вкупе с расплывчатостью понятия «козел», отбивает у собеседника всякую охоту пускаться в споры. Эта формула незаменима в случаях, когда предмет разговора вызывает ленивое неодобрение, граничащее с полной индифферентностью.

– Козел-то он, допустим, козел, – задумчиво произнес Федька, – но откуда взялся?

– Да господи! – сказал я. – Попутчик в самолете. Случайный знакомый в баре. Соседняя палатка в кемпинге. Куча вариантов. Визитку ты ему свою дал, вот он и пишет теперь, старается.

- Но для чего?

– Как «для чего»? Мы же не знаем, кто он такой. Может, он всю жизнь работал каким-нибудь говночистом. А теперь состоит в переписке с иностранным профессором. Это же почетно!

- Ну, допустим, – сказал Федька. – А если не говночистом?
- Даже если и не говночистом. Все равно почетно.

Федька молча взял стакан, отхлебнул чаю и задумался, глядя в одну точку.

– Вообще-то, – заявил он после раздумья, – японцы мне нравятся. Знаешь, чем?

– Чем? – спросил я.

– Они *безобидные*.

– А что, бывают еще какие-то *обидные*?

– Бывают, – кивнул Федька и недобро прищурился.

– Это какие например?

– А ты будто не в курсе! – и Федька многозначительно пошевелил бровями.

Сразу вслед за этим входная дверь с вежливым стуком отворилась. Нас ослепил блеск лаковых туфель, сияние накрахмаленной сорочки и блики на стеклах очков. Кабинет затопило запахом дорогого одеколona. Федька поднялся, картинно раскинул в стороны руки и воскликнул:

– Рауль Абрамыч! Это вы ли?! Глазам не верю!

– Здравствуй, Федя, – с достоинством, но не без некоторой опаски произнес Рауль Абрамыч. После чего сделал два шага в мою сторону и вынул из внутреннего кармана пиджака голубоватый конверт.

– Вадичек, я по делу. Скажи пожалуйста, это мне пришло или не мне?

* * *

Доктор технических наук Рауль Абрамович Лишайников тоже бывал не прочь заглянуть ко мне в кабинет и обсудить за чашкой чая судьбы земной цивилизации. Однако его взгляд на развитие человечества не походил ни на какой другой. По его мнению, все происходило иначе, чем это пытались представить Карл Маркс или Фрэнсис Фукуяма. На деле культура гомосапиенсов развивалась равномерно, прямолинейно и очень хорошо, пока не добралась до своей высшей точки и высшего достижения – музыки Иогана Штрауса. Сразу после этого ей стало развиваться некуда и незачем. Поэтому непосредственно вслед за музыкой Иогана Штрауса был изобретен пулемет. С изобретением пулемета началась нисходящая ветвь человеческой истории. Все пошло криво, плохо и наперекосяк. Густым валом повалили революции, войны, плебейские манеры, неприличные слова, загрязнение среды и сумбур вместо музыки – все то, что было немыслимо в эпоху Иогана Штрауса. Орды зашоренных сапиенсов мчались к краю пропасти, и апокалипсис маячил уже где-то совсем близко.

Судьба цивилизации была горька и досадна. Но еще более досадной была судьба самого Рауля Абрамовича, которого угораздило родиться всего на каких-то сто десять лет позже Иогана Штрауса. И всего в какой-то тысяче километров от австрийской столицы – в предместьях Бердичева. Впору было возроптать и искушаться от обиды все локти.

Окажись Фортуна не так зла, жизнь Рауля Абрамовича была бы упоительной, как сказка Венского Леса. Он был бы с Иоганом Штраусом на короткой ноге. Он пил бы с ним шартрез и клико. Аплодировал бы Ференцу Листу, который, в принципе, тоже был неплохой композитор. Хлопал бы по плечу Ренуара и Мане. Беседовал бы о литературе с молодым Цвейгом. А в свободное от приемов и раутов время Рауль Абрамович гулял бы по берегам прекрасного голубого Дуная и пел бы тирольские песни.

Вместо всего этого инженер Лишайников сидел в закрытом КБ и проектировал цифровые микросхемы. Потом эти микросхемы ставились на реактивные истребители-бомбардировщики. Каждый истребитель-бомбардировщик нес на себе две пушки. Снизу дополнительно цеплялись управляемые ракеты, зажигательные баки и свободнопадающие бомбы. Пушки делали тысячу выстрелов в минуту.

Вместо шартреза Рауль Абрамович пил спирт для промывания контактов. Вместо Ренуара хлопал по плечу секретаря парткома. Этому же секретарю, а вовсе не Листу, аплодировал на торжественных собраниях. А прекрасный голубой Дунай довелось увидеть всего раз, да и то в Болгарии, совсем с другого конца.

В своих снах Рауль Абрамович регулярно добивался аудиенции у австрийского эрц-герцога Фердинанда и испрашивал перевода в Зальцбург. Фердинанд отводил глаза и мямлил что-то насчет военной тайны. В другой раз Рауль Абрамович угнал истребитель, но до Вены не долетел – его подбили над Карпатами. Еще в одном сне он подал челобитную самому Хрущеву и ждал резолюции – как вдруг самый настоящий, всамделишный Никита Сергеевич Хрущев ни с того ни с сего решил посетить важный оборонный объект.

За день до визита на территорию КБ явились люди в штатском. Они окинули критическим взором висевшие на стенах графики и один велели убрать – кривая на нем шла не вверх, а вниз.

– Помилуйте! – воскликнул Рауль Абрамович. – Это падение себестоимости!

– Уберите! – повторили штатские люди. – Он не любит!

Вместе с неправильным графиком убрали вертушку на проходной, чтобы тело вождя не застряло. Вождь явился, благополучно миновал турникет и очень одобрил восходящие кривые.

– Никита Сергеич! – обратился к нему главный инженер. – Вот на этом кристалле кремния мы разместили тысячу транзисторов!

Никита Сергеич поспешил палец, ухватил кристалл, поднес к глазам и долго шурился. Потом сказал:

– Коммунизма зримые черты!

Вскоре Никиту Сергеевича свергли, а черты коммунизма стали делаться все менее и менее зримыми. Когда дело дошло до ста тысяч транзисторов на кристалл, они растаяли окончательно. Вместе с ними растаяла грозная железная занавеска. Десятилетиями бившиеся об нее ученые мозги вдруг обрели свободу и потекли.

Мозги Рауля Абрамовича подумали, подумали – и потекли тоже. Но почему-то не на Запад, где когда-то жил Иоган Штраус, а против всякой логики на Восток, где Иоган Штраус отродясь не бывал. Частично это объяснялось тем, что на Востоке знали толк в полупроводниках.

После трех лет напряженной исследовательской и педагогической работы лабораторию профессора Лишайникова посетил наследник японского престола. В день визита университет запрудили люди в штатском. Они переговаривались по рации и с подозрением вглядывались в голубей, клевавших желтые кирпичи на дорожках кампуса. Личность профессора не вызвала у них большого интереса. Кабинет они осмотрели очень бегло и под стол залезать не стали. Они даже не обратили внимания на газетную вырезку из «Аргументов и фактов», висевшую посреди стены. Заметка называлась «Японцы – потомки евреев». Профессор ее часто перечитывал и со стены никогда не снимал.

Наследник прибыл в полдень. Он шел в сопровождении свиты по желтой дорожке. Вдоль веревочных ограждений выстроились потомки евреев из местных жителей и студентов – они с энтузиазмом махали флажками и ладошками. С лица наследника не сходила улыбка Будды. С этой улыбкой он заходил в лаборатории и внимал ученым речам.

Лаборатория профессора Лишайникова стояла в программе последней.

– Ваше Высочество! – отчеканил профессор по-английски. – Технология, которую мы сейчас разрабатываем, позволит разместить на одном кристалле кремния до десяти миллионов транзисторов!

Принц поднял лицо к потолку и выразительно зажмурился, как бы пытаясь вообразить картину этого сумасшедшего количества. Свита зажмурилась вместе с принцем, и только люди в штатском оставались начеку, зыряка туда-сюда узкими глазами. Профессор почтительно молчал.

– Это великолепно! – сказал наконец принц. – Это потрясающе. Примите мои поздравления. Мы очень ценим вклад иностранных ученых. Мы хотим стать более открытым обществом. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за сотрудничество. Желаю вам успехов!

И с этими словами **принц поклонился**.

Склоненное чело божественного потомка потрясло Рауля Абрамовича до самых сокровенных глубин. Тщательно лелеемая картина мира – такая красивая и законченная – хряснула и стала оседать. Чтобы она не рухнула совсем, пришлось ставить подпорки. Конечно, профессор был уже солидным человеком и не мог себе позволить такого радикального акта, как перенос пупа земли из Вены в Токио. Он ограничился косметической правкой своих мрачных прогнозов. Конец света по-прежнему стоял на повестке дня – но уже не с такой непреложностью. Человечество могла спасти *японская модель*.

* * *

По конверту тянулись лапидарные крючки слоговой азбуки.

– Да, это вам, – сказал я. – Видите, написано: «Ри-ся-й-ни-ко-фу».

– А от кого?

– От Мураямы! – встрял Федька. – Рауль Абрамыч, чайку?

– С удовольствием. Так от кого?

– Это из полиции, – сказал я. – Вот иероглифы.

По лицу профессора разлилось недоумение. Федька заметил это и плотоядно ухмыльнулся.

– Отвоевались! – глумливо сказал он. – Скидавайте сапоги – и к овражку! Ихнее благородие приказали всех в распыл.

– Подожди, Федя! – профессор был взволнован. – Чего они хотят?

Я вскрыл конверт. Господин Лишайников приглашался в отделение полиции для обмена старых водительских прав на новые.

– Так ведь это еще когда будет! – воскликнул он, когда я перевел. – У меня права действительны до мая!

– Извещают заранее, – сказал я. – Чтобы вы помнили. Чтобы планировали.

Федька у раковины наполнял чаем третий стакан. Рауль Абрамович медленно взял у меня конверт и положил обратно в пиджак.

– Да! – сказал он и потрянул посеребренной головой. – Да! Вот за что я люблю эту страну! Во всем система! Во всем порядок! Все для людей!

– Для баранов тут все, а не для людей, – проворчал Федька, ставя перед профессором стакан чая. – Для безобидных, покорных баранов. Сахарок берите.

– А у нас лучше, что ли? – Рауль Абрамович метнул в стакан два куса рафинада и строго блеснул очками. – Бандиты всякие, неплатежи, олигархи, и каждый на каждого плюет – это лучше, да?

– Лучше! – Федька хлопнул ладонью по столу. – Потому что это динамика. Это жизнь! А тут никакой жизни нет. Тут болото.

– Ты не понимаешь, Федя, – загорячился Рауль Абрамович. – Тут Восток! Они тут видят прекрасное. А у нас никто ничего не видит. Все ослепли от ненависти. У нас только вот это – убить, украсть, и все. А тут эстетика.

– Да какая там эстетика... Это миф! Вы поддались гипнозу.

– Ничего не миф. Ты послушай. Я в субботу ходил грибы собирать. Иду и вижу: сидит мужик. На корточках сидит и меня зовет. Я подхожу, а он мне цветочек показывает. Цветочек растет среди камней – и он меня пригласил им полюбоваться.

– Да он, наверное, посрать присел, ваш мужик, а тут вы со своими грибами...

– Вот-вот. Человек любит цветком, слагает трехстишие, а у тебя в голове одно – «посрать». Я про это и говорю. Мне даже стыдно тогда стало, что он ходит в лес на цветочки любоваться – а я там грибы срываю, чтобы жрать их потом. Или вот сакура то же самое – им даже плодов с нее не надо.

– Правильно! Я давно говорю: сакура – это пустоцвет. Как и все остальное. Все вокруг: ах, Восток! ах, культура! А это никакая не культура, а порожняк.

– Что же тогда не порожняк? Вот эти ваши буги-вуги – не порожняк, да?

– Это тоже порожняк. Культура – это «Слово о полку Игореве». Культура – это протопоп Аввакум. И буги-вуги вы мне не шейте. Все эти буги-вуги, всякий там Голливуд разный, джаз, мормоны, хасиды, комиксы – это все ваше, а не наше!

Рауль Абрамович тяжело вздохнул.

– Федя, ну вот ты меня усадил, чаю налил – и все для чего? Чтобы ругаться? Вадичек, ну посмотри на него!

– А что, нормально! – сказал я. – Классическая амбивалентность. Тут вам и либидо, и мортидо. Все вперемешку.

– Чего-чего? – насторожился Федька. – Какое такое мортидо?

– Фрейд читать надо! – наставительно сказал Рауль Абрамович. – Фрейд был современник Иогана Штрауса. Он жил в Вене и все понимал. Либидо – это инстинкт любви. А мортидо – инстинкт смерти. Они сопутствуют друг другу.

Федька надул щеки и забарабанил ногтями по стакану.

– Ясно, – сказал он наконец. – Берешь бабу и сверху на нее ставишь пулемет. А сам пристраиваешься сзади и сочетаешь бабу с пулеметом в едином ритме. Так, что ли?

– О боже! – Рауль Абрамович приложил кончики пальцев к вискам. – Опять пулемет! Зачем пулемет?!

– Не нравится!.. – осклабился Федька. – Человек всю жизнь кует пулеметы, а потом вздрагивает от одного слова! Что сказал бы Фрейд?

– Фрейд увидел бы здесь комплекс вины, – сказал Рауль Абрамович. – И был бы прав. Нельзя так долго работать на войну. Это вредно для совести.

– Ой-ой-ой! – Федька покрутил растопыренными пальцами. – Да кто другой гордился бы, что он ковал ядерный щит! Что он был причастен!

– Тут нечем гордиться, Федя. На самом деле, это страшно.

– Да вам не того страшно. Вам страшно, что вы вернетесь – а там коммунаки.

– И это тоже страшно.

– Ха! – Федька вдруг оживился. – А давайте пофантазируем. Давайте представим: вот вы вернулись – а там опять коммунаки. Знаете, что тогда будет?

– Знаю, знаю, – хмуро отозвался Рауль Абрамович. – Что-то там такое «в затылок».

– Э, нет! – сказал Федька. – В затылок – это потом. Сначала вам коленки посверлят. Дрелью.

Рауль Абрамович снял очки и стал протирать их носовым платком.

– Да вы не бойтесь! – успокоил его Федька. – Коммуняки к власти не придут. К власти придем мы.

– Кто это «мы»?

– Жесткие интеллектуалы!

– И что тогда?

– Тогда будет все, как надо. Потому что мы полностью задействуем потенциал православия. Оно будет старообрядческим. Эсхатологическим.

– Это как?

– А так! Раскольники когда-то сжигали себя в скитах. Но то было давно, до технического прогресса. Сегодня все делается проще. Объявим на весь мир, что Россия в одностороннем порядке взрывает весь свой ядерный потенциал.

– Зачем?

– А затем! Мы ведь православные, спасемся! А больше никто не спасется, и черт с ними. Так прямо и скажем. Представьте картину: по стране идут молебны, в массовом порядке отпускаются грехи, все поголовно молятся. Осталась, допустим, неделя. А там – паника! Готовы все с себя снять, лишь бы мы передумали. И вот уже на всех парах несутся к нам эшелоны с окорочками, летят боинги с ананасами, плывут танкера с оливковым маслом! Валютный Фонд аннулирует все наши долги, из Баварии протягивается пивной трубопровод, а фабрики Пьера Кардена строчат для нас телогрейки!

Федька раздухарился. Он забыл про чай, вскочил с кресла и делал быстрые проходки взад-вперед по кабинету, размахивая руками. Рауль Абрамович глядел на него, как лягушка на журавля.

– Вот, – сказал Федька, остановившись. – А излишки потом продаем обратно и выводим страну из кризиса.

– Да уж, – вздохнул Рауль Абрамович. – Интеллектуальнее некуда...

– Я утрировал! – Федька сел обратно и отхлебнул из стакана. – Я намеренно сгустил! Речь о том, что выход есть, просто там засели не те люди.

– Тебя бы туда.

– Да уж ясно, что не вас.

– Федя! – сказал Рауль Абрамович. – Ты делаешь мне *алох ин коп*.

– Чего делаю?

– Дырку в голове. Это на идиш. Так моя мама говорила, когда я ее расстраивал.

– Идиш вы забудьте. Больше не пригодится. Там теперь язык другой.

– Где «там»?

– Там, куда вы поедете в конце концов. Где вас ждут.

– С чего ты взял, что я туда поеду?

– А куда еще? Обратно вы боитесь, а здесь деградируете.

– По-моему, это ты деградируешь.

– И я тоже. Мы тут все деградируем.

– Не обобщай.

– Да как «не обобщай»? Вон, посмотрите на Вадика. У него уже словарный запас на исходе. Он все слова забыл, кроме «козла по жизни». Разве не деградация? Я, когда в Москве жил, делал в день по пятьдесят телефонных звонков. А здесь – от силы четыре. Это жизнь, по-вашему?

– Так ты делом займись – вот и будет тебе жизнь.

– Да каким делом? На ушах стоять, что ли?

– Не надо на ушах. Это Вадик пусть стоит на ушах, он йогнутый. Но ты же ученый, Федя! Ты же физик! Найди себе научную проблему! Займись, наконец, какой-нибудь, ну я не знаю, сверхпроводимостью. Или, там, общей теорией поля. А ты вместо этого болтаешься тут, как не скажу что. В чей кабинет ни пойдешь, заранее знаешь – там обязательно сидит Федька и несет ахинею.

– Но-но, полегче!..

– Ты должен раскрывать тайны бытия! Ты физик!

– Когда я раскрою некоторые тайны бытия, то вам мало не покажется. Это не в ваших интересах, чтобы я раскрывал тайны бытия.

– Скажи еще, что я у тебя в геенне гореть буду.

– Нет, Рауль Абрамыч, **вы** в нашей геенне гореть не будете!

– По разным раскидают, да?

– Именно.

– Доволен теперь? Утвердился за мой счет?

– Не напрашивайтесь в другой раз. Это вам не пулеметы строгать.

– О-о-о-о-о! – застонал Рауль Абрамович и взялся обеими руками за голову.

– Хватит! – Федька стукнул по столу пустым стаканом и поднялся. – Пойду раскрывать тайны бытия. А вы тут деградируйте дальше.

У дверей он обернулся и добавил:

– Только не жалуйтесь потом.

Когда его шаги по коридору затихли, профессор Лишайников раскачивался в кресле взад-вперед, стиснув руки в замок и глядя перед собой в одну точку.

– Рауль Абрамыч, вы чай-то пейте, – сказал я ему. – Совсем остынет...

Он горестно покивал. Медленно поднял на меня взгляд.

– Вадичек! Ну скажи на милость: за что России *вот это*? За что России Федька Репейников?

– Читайте Бердяева, – сказал я. – Там все написано.

– Я читал. Но почему это только в России? Почему в Японии нет?

– Это ваше большое заблуждение, что в Японии нет.

– А где оно? Где в Японии такие Федьки? Я не вижу.

– Их тут навалом. Могу показать, если хотите.

– Нет, не надо! – профессор замахал руками. – Не надо! Ты пойми, Вадичек: японцы построили мне золотую клетку. Раньше у меня была клетка железная, а теперь у меня клетка золотая. И я не желаю слышать про них ничего плохого! Пусть живут, как им нравится.

– Конечно, – согласился я. – Наше дело сторона.

Рауль Абрамович опять мелко покивал, поболтал ложкой в стакане, помолчал. Потом досадливо крикнул и взволнованно заговорил:

– Но он все-таки прав, зараза! Мы все тут деградируем, с этим не поспоришь. С кем тут общаться? Совершенно не с кем. Золотая клетка... Вот я и общаюсь с Федькой. Водку с ним пью... Стал бы я в Ленинграде пить с Федькой водку?.. Тебе вот хорошо, ты язык выучил, можешь с японцами пить...

– Так возьмите и тоже выучите!

– Я уже старенький. У меня стимула нет. Но я не о том. Ты посмотри: вот Федька. Он хам, демагог, сволочь, фашист, все такое... Он едва ли не антисемит! Но при всем том он же блестяще образован! Он знает такие вещи, о которых я и не слышал. И еще он, паразит, просто умный! Его послушать бывает интересно. Ты согласен, Вадичек? Согласен, что Федя блестяще образован?

– Козел он по жизни, ваш Федя, – сказал я.

Рауль Абрамович вздохнул.

– У тебя все просто... У тебя все козлы... А я вот не пойму, как это может соединяться. Такой головастый мужик – и на тебе...

– Так ведь мортидо, Рауль Абрамыч... Сами же говорили.

– Да, мортидо... А кроме того, – профессор многозначительно поднял вверх палец, – кроме того, он не любит музыки. Совсем не слушает Иогана Штрауса!

– Так это и есть «козел по жизни».

– Ну вот. Слава богу, разобрались. Я теперь пойду. С вами как свяжешься, так и не заметишь, что рабочий день прошел. Тебя до дому подвезти?

– Я на машине.

– Ну, спасибо за чай.

Взявшись за ручку двери, он вдруг остановился, мелодично просвистел пару фраз из «Цыганского барона», ободряюще подмигнул – и только после этого вышел.

Не успел я поставить стаканы в раковину, как снова вломился Федька. На нем была отороченная мехом куртка и лыжная шапка с помпоном.

– Кончай фигней страдать! – скомандовал он. – Поехали домой.

– Я еще поработаю, – сказал я.

– А безлошадным пешком идти, да?

– Подсядь к кому-нибудь другому. Ты вчера как добирался?

– Вчера меня Абрамыч подвез. Теперь – сам понимаешь... Поехали, у меня дома кино посмотрим. «Полицейская академия два».

– Нет, Федор. Мне тут кой-чего надо закончить.

Он погрозил мне пальцем.

– Если я по дороге упаду в сугроб и замерзну, ты будешь виноват.

Выходя в коридор, он вдруг просунул обратно голову и добавил:

– И Абрамыч тоже будет виноват!

Я запер за ним дверь и выключил свет. Вокруг был сумрак и тишина. Лишь тихонько жужжал компьютер. Я опустился на пол.

Встал на лопатки.

Потом сделал кобру.

После кобры — крокодила.

Затем левую и правую извивку.

Посидел в лотосе. В тронной позе. На пятках.

Встал на голову. Постоял. Прислушался. Храпа не было.

Успокоенный, я лег в позу трупа и попытался максимально расслабиться. Но задача оказалась непростой. Очень мешали навязчивые глюки.

Вокруг меня летали ощеренные пулеметами боинги. В них сидели бородатые старообрядцы в телогрейках от Кардена. С криками «*алох ин коп!*» они бомбили меня ананасами и окорочками. Выливали мне на голову цистерны оливкового масла и баварского пива. Исповедовали меня и причащали. Я не успевал от них уворачиваться.

Потом зазвонил телефон. Я разогнал глюки и вскочил на ноги. Меня шатало. В голове не смолкали авиамоторы.

— Вадичек! — донесся из трубки федькин голос. — Ответь мне на один вопрос, только честно. Когда Рауль Абрамович сказал тебе, что я блестяще образован, что ты сказал ему в ответ?

Трубка замолчала и ждала. Увиливать было бессмысленно.

— Федор! — начал я. — Скажу тебе честно. Я ответил ему в том духе, что ты козел по жизни. Я даже скажу, почему я так ответил. Я ответил так потому, что малодушно хотел утвердиться за твой счет и насытить свое *мортидо*. Тебя устроит такая формулировка?

Федька выразительно помолчал секунд пять. Потом сказал:

— Мы еще вернемся к этому вопросу.

И положил трубку.

Я ткнул в рычаг и набрал номер профессора Лишайникова.

— Хэллоу! — сказал профессор.

— Рауль Абрамович! — сказал я. — Вы зачем меня заложили?

— Ха! — сказал Рауль Абрамович. — Я тебе расскажу. Я еду домой и смотрю: идет Федя. Я остановился и говорю: вот, Федя, мы с тобой все спорим, ругаемся — но я признаю, что ты блестяще образован, и я даже сказал об этом Вадиду. Федя говорит: а Вадик что сказал? Наверное, сказал, что Федя — козел по жизни? Я говорю: ха-ха! — да, так и сказал.

— Вы его хоть подвезли?

— Конечно. Вот он сидит напротив меня, коньяк пьет. Передает тебе привет. Давай, тоже приезжай, у нас еще много.

— Извините, — сказал я. — Сегодня нет такой возможности. В другой раз.

— Жаль, — донеслось из трубки. — А то был бы третьим...

Он вздохнул и замолчал. На заднем плане послышались отрывистые звуки «Польки-пиццикато».

Будто кто-то водил стеклянной палочкой по золотым прутьям.

О геометрических фигурах

Никогда не забуду потрясения, раз испытанного мною в Токио, когда я зашел в музыкальный магазин за губной гармошкой ми-мажор.

Вас не интересует губная гармошка ми-мажор?

Нет? А канифоль для смычка?

Ну, ничего. Сходите туда просто так. Это в Акихабаре. Найти легко: у входа на козырьке сидит облупленная статуя в ковбойской шляпе, бьет по струнам и болтает механической ногой. Поднимитесь на четвертый этаж и остановитесь перед стендом «Народные щипковые инструменты».

Окиньте его взглядом. Тут вам вся щипковая география — от Огненной Земли и до Таймыра. Даже удивительно, до чего совпадают потребности всякого земного племени — вырезать из дерева что-нибудь пофигурнее, натянуть тугие жилы, а потом за них дергать, издавая звук.

Тут вам и лютня с мандолиной, похожие на две половинки страусинового яйца. Тут вам и банджо, словно сделанное из барабана. Тут и толстый, чеснокоподобный ситар с оттопыренной задницей. И окинавский сансин, обтянутый кожей змеи. И гавайское укулеле, и бандура, и цитра — и вообще все, на что только смогла сподобиться фантазия народов мира.

Всех обскакали, конечно же, испанцы. Они знали, откуда срисовывать очертания инструмента. У испанской гитары появилась талия — и своей талией она завоевала мир. Оглянитесь вокруг и увидите: весь торговый зал увешан гитарами.

Но речь не о гитаре. Вернемся к нашему стенду. Взглянем еще раз.

Гладкие бока. Изящные линии. Непрерывные производные.

И вот посреди всего этого царства лекала и циркуля, среди господства дифференциальных уравнений и числа «пи», среди всей этой выпуклости и вогнутости, округлости и овальности, кривизны и плавности — висит ОНА. Висит в самом центре, невозмутимо и самоуверенно растопырив свои кленовые углы.

Как топор мясника.

Как пифагоровы штаны после стирки.

Как злая издевка, как дерзкий вызов мировой гармонии.

Да, скифы мы! Выкусите!

Не торопитесь уходить. Сядьте на пол. Примите позу лотоса. Дышите носом. Не сутультесь и не отводите взгляда.

Что видите?

При чем здесь «дырку»? Дырка — это само собой, дырка у всех. Лучше расфокусируйте взгляд. Уберите лишние мысли. Знаете «тест Роршаха»? Вот я и спрашиваю: что вам тут видно?

Пирамида Хеопса?

Холодно.

Скифский курган? Шатер Чингисхана?

Уже теплее. Хороший ряд, можно продолжить. Боевой строй крестоносцев и головной убор Бонапарта. Жабо князя Потемкина и торс Ивана Поддубного. Помело Бабы-Яги и борода Распутина. Что еще?

Шалаш в Разливе!

Да.

Клёши революционных матросов!

Да.

Ледоруб!

Да.

Финансовая пирамида! Эм-эм-эм, нет проблем! С черной дырой посередине, куда все и утекло!

Правильно.

В этих трех углах и трех струнах заключено все. Святая Троица и Третий Рим. Три источника и три составные части. Птица тройка и тройка ОГПУ. А самое главное – рюмка! Перевернутая вверх дном, выпитая до капли – чтобы и впредь никакая капля не источила нашего камня и не скруглила наших углов.

Если вас одолели проклятые вопросы, не хватайтесь за Бердяева и Гумилева. Отложите их в сторону. Все, что вам нужно, – это добыть визу, прилететь в Токио, взять такси до Акихабары, подняться на четвертый этаж и сесть в лотос. Долго медитировать не придется – чаемая вами истина бросится на вас, как медведь:

У НАРОДА, ИЗГОТАВЛИВАЮЩЕГО ТРЕУГОЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ.

Не может. По определению.

В последнее время либерализм сильно потеснил такие инструменты. Теперь на них мало кто музицирует. Они более пригодны для эзотерических целей – уже не как инструменты, а как *мандалы*. Если долго на них смотреть, можно постичь довольно многое. Например, можно постичь, куда движется человечество. Вся новейшая история, будучи спроецирована на музыкально-геометрические координаты, сожмется до исчерпывающе короткой формулы:

«От балалайки – через гитару – к банджо».

Здесь все, как на ладони. Энтропия прогресса и глобализации первым делом сгрызает углы, затем нивелирует талию, закрывает черную дыру и оставляет нам идеально круглый барабан. Медитируя на такую мандалу, вы неизбежно впадете в невроз и слабоумие.

Что же делать? Держаться ли нам за камаринскую, под звуки которой птица тройка оседлает помело, расклешит жабо и двинет к новым пирамидам и шалашам? Или же перейти на кантри, наслушавшись которого Фрэнсис Фукуяма уже успел объявить о конце истории? Что предпочесть?

Досадно здесь то, что нашего мнения все равно никто не спросит.

Но если бы спросили меня, я выбрал бы фламенко.

В одной гондоле

Современная медицина учит: излишки адреналина надо сбрасывать в кровь. Иными словами, пугаться совсем не вредно, а напротив того, полезно. Пугайтесь на здоровье, в меру своей фантазии. Смотрите ужастики. Летайте дельтапланами. Прыгайте в пропасти, уцепившись ногой за веревку. Ходите с рогатиной на медведя.

Но и не убейтесь, знайте меру. Здесь, кстати, легче тому, кто еще не избалован. Возьмите младенца: много ли ему надо? Собака гавкнула – он уже весь в адреналине. Пресытившимся труднее. Чего стоят дрессировщики, которые вынуждены каждый вечер совать свои головы тиграм в пасти, лишь бы сбросить пресловутые излишки! Нет, лучше не перебарщивать. Мне, например, для гормональной встряски вполне хватает такого простого средства, как горные лыжи.

...Я девятый раз резко затормозил у самого подъемника и с удовлетворением отметил поступление в кровь девятого миллиграмма. Катись я чуть медленнее, столько не выделилось бы. На пологих склонах есть лишь один способ развить скорость: расставить ноги пошире и ехать по прямой. Пусть пижоны бравируют техникой, пусть виляют сомкнутыми ножками – они заработают внимание дам, но животного страха они не заработают. А вот если нестись камнем из пращи Давида, если снег залепляет очки и лыжи грозит разнести от вибрации, если в ушах свистит и окружающие едва успевают от вас шарахаться – вот тогда ваши надпочечники отдадут все, что в них накопилось за неделю растительного существования.

Для ровного счета не хватало одного миллиграмма. Я взглянул на билет: до конца моих трех часов оставалось две минуты. К подъемнику тянулась очередь. Минут на десять. Не успеть.

На некоторых курортах поступают очень мудро: для одиночек делают отдельную очередь и подпускают из нее туда, где образуются бреши. Здесь же заняться этим поленились. В результате четырехместные гондолы уходили заполненными на три четверти, а то и наполовину – компании отдыхающих не желали дробиться. Из-за их эгоизма и лени администрации мне предстояло остаться без десятого миллиграмма.

В конце концов, – подумал я, отстегивая лыжи, – никому не будет хуже, если я сам озабочусь своей посадкой. Я никого не задержу и никого не оскорблю. В конце концов, я честно и смиренно отстоял сегодня девять очередей – отстоял бы и эту, да не позволяет время. Вон подошли трое, почему-то без очереди, наверное, работают тут. Два амбала и девушка. Никто к ним не подсаживается, чего бы мне

не подсесть? По пути подарю им ращпредложение по поводу дополнительной очереди, они мне только благодарны будут.

Я пролез под заградительной цепью и оказался перед гондолой. Те трое уже усаживались, и мне тоже надо было спешить. Дядька-контролер смотрел на меня, открыв рот и пытаясь вспомнить предписания инструкции по поводу иностранных нарушителей. Я крикнул ему: «Все равно свободно, четвертым буду!» – подбежал к уходящей гондоле, одним махом засунул лыжи в пенал и нырнул боком в закрывающиеся двери.

Меня встретил удар локтем по ребрам. Я едва не вывалился обратно, но успел зацепиться за что-то пальцами и втиснуться внутрь. Двери сдвинулись, и наружу остались торчать только концы палок, которые я не успел втянуть. Сам удар был не особо силен, но от неожиданности у меня перехватило дыхание. Живя на Японских островах, от грубости отвыкаешь быстро.

– Извините, – сказал я. – Просто у вас было свободное место...

Они не отвечали. Тут я заметил, что подъемник остановился. Один из амбалов внимательно изучил меня глазами, достал рацию и что-то в нее пробурчал. Гондола тронулась. Амбалы подвинулись и дали мне сесть. Один сидел напротив меня, другой рядом.

Я посмотрел на одного, потом на другого. Физиономии различались мало, а одинаковые костюмы делали их и вовсе похожими на близнецов. Оба бровастые, оба губастые, у обоих на скулах поигрывали волевые желваки. И оба глядели на меня в упор, как будто хотели прожечь во мне дыру своими взглядами.

Нет, – подумал я, – это не сотрудники курорта. Те были бы повежливее. Да и никаких опознавательных знаков на них не видно. Почему ж они без очереди? И эти взгляды...

Я перевел взгляд на девушку, сидевшую по диагонали. Она тоже смотрела на меня. Но с каким выражением она смотрела, было непонятно. Глаза закрывали темные очки, а нос и рот прятались под маской. Вполне разумно при сегодняшней погоде. Но ведь интересно, что она думает по моему поводу. С этими не разговоришься, а с ней?..

– Заяц! – крикнул я, ткнув пальцем в окно и тут же получив новый удар по ребрам. Но дело было сделано: она заинтересовалась, подалась на мою сторону и прильнула к стеклу.

– Где?

– Ну, не сам... Следы...

– А-а-а... – Она казалась разочарованной.

– Но я тут раньше видел и самого. А в прошлом году – лося!

– А медведя?

– Медведя не видел. Но они тут есть. Вы, похоже, не отсюда?

– Нет, я из Токио. А вы?

– А я отсюда.

– Нет, я имею в виду: из какой страны?

– Из России.

Амбалы не шевелились. Что она скажет в ответ? – думал я. Если дура, то скажет: «В России холодно, да?». А если не скажет, то не дура. Это как лакмусовая бумажка.

- В России не была, – ответила она.
- А где были?
- Много где...
- Например?
- (Если скажет: «В Калифорнии» – значит, дура.)
- В Альпах.
- (Не дура.)
- На лыжах там катались?
- Ну да...
- Выходит, вы профессионал?
- Нет, что вы, это хобби!
- А профессия?

Амбалы напряглись и перевели взгляд с меня на нее. Она замялась. Через пару секунд я снова оказался в перекрестном прицеле.

И вдруг я вспомнил. Такие взгляды я видел в фильме «Мимбо-но онна». Ну конечно! Первая лента, выставившая японских мафиози в неприглядном свете. После нее у режиссера Дзюдзо Итами были неприятности. Его подкараулили на улице и исполосовали все лицо ножами. Но не убили. Убийства не в их стиле. Режиссер сделал это с собой сам, несколько позже и по другому поводу.

Так-так, понятно... Я еду в одной гондоле с якудзами. Они, оказывается, еще и лыжники. Хотя нет, какие лыжники? Они просто на работе – охраняют дочку своего босса. Или любовницу. Впрочем нет – дочку. Дочка катается, они охраняют. Все понятно.

Только зачем же меня локтем в ребро? Я что – на эту дочку покусился? У меня билет, в билете написано: до четырех тридцати. Имею право. Они имеют право лезть без очереди в силу того, что их боятся, а я имею такое право в силу билета. И нечего меня локтем.

Кстати, интересно: что они за лыжники? Допустим, дочка катается классно, в Альпах научилась. А охрана? Если плохо катаются, то как охраняют? Врежутся друг в друга, а она усвистит вперед. Вот смеху-то будет!

Очень это интересно. Надо бы посмотреть. Может даже, что-нибудь этакое подстроить для проверки. С одной стороны, конечно, якудзы. Но с другой стороны, это же сколько сразу будет адреналина! Убить не убьют, проверено. В крайнем случае, рожу ножами разукрасят. Вот с отечественной братвой шутить не стоит. А с этими, пожалуй, можно.

Да и потом: по ребру-то они мне заехали! И не извинились. Что же теперь – так и оставить? Ну уж нет.

Гондола остановилась. Двери разъехались в стороны, приглашая выйти. Я вылез, вытащил лыжи из пенала и, не оборачиваясь, пошел к склону. Снег все еще сыпал, к тому же усилился ветер, начинало смеркаться. Самая что ни на есть адреналиновая погода.

Перед спуском я оглянулся. Все трое стояли кучкой. Один якудза что-то вещал в рацию. Второй бдительно озирался по сторонам. Охраняемая наводила порядок в экипировке. Я оттолкнулся палками и заскользил в долину. Метров через сто остановился и стал ждать, вглядываясь в снежную пелену.

Спустя пару минут они показались. Один амбал катил впереди, расчищая путь, как ледокол. У него в кильватере, блистая отточенной техникой, шла опекаемая девица. Второй амбал замыкал караван. Видно было, как он зыркает глазами во все стороны, дабы уберечься от неожиданностей. На долю секунды его взгляд задержался на мне. В следующую долю он просвистел мимо.

Вариантов моих действий было несколько. Воображению рисовалось то подобие футбольного подката, то борцовское взятие на бедро. Правда, я не был уверен, что мне хватит горнолыжной техники для выполнения этих сложных сценариев. Я ведь только и умел, что ездить быстро и страшно. Но времени на раздумья уже не было, оставалось действовать по обстановке.

Я набрал скорость, и скоро вся троица снова выступила из снегопада. Они все так же шли гуськом, чуть левее меня, и я неуклонно приближался к ним по диагонали, ускоряясь все более и более. Задний якудза прилежно крутил головой, но меня пока не видел. Когда я приблизился к нему вплотную, склон резко пошел вниз. Меня вынесло вперед и наперерез, по его лыжам, с одновременным взлетом – так взлетает куропатка из-под ног охотника. Эффект превзошел все ожидания. Благополучно приземлившись и успешно затормозив чуть ниже, я оглянулся, чтобы увидеть миг позора японской мафии. Бедняга распластался на спине и, не в силах перевернуться, ехал в таком виде по склону, хватая руками воздух. Его одинокая лыжа осталась скучать наверху. Зрелище грело душу, но задерживаться было нельзя. Я рванул вниз.

Казалось очень естественным обратить внимание отряда на потерю бойца. Я так и поступил, но не со всем отрядом, а только с его арьергардом. Догнав их и вклинившись между, я развернулся поперек, затормозил, сделал страшное лицо и такими отчаянными жестами изобразил долю упавшего амбала, что дочка крестного папы не могла не остановиться.

- У тебя там друг упал! – крикнул я.
- И что, покалечился?
- Да нет, просто. Лыжа отстегнулась...

Она покосилась на меня, как на ненормального. Тем временем передний якудза, не ведающий о событиях у себя за спиной, скрылся в завесе снежных хлопьев. Я мог собой гордиться.

Чуть ниже трасса раздваивалась. Установить, в который рукав утек авангард отряда, не представлялось возможным. Она остановилась и задумалась.

- Что, не знаешь, куда двигать?
- Да, забыла...
- Направо к подъемнику, налево к гостинице. Тебе куда?
- Наверное к гостинице...
- Тогда налево. Поехали.

Она чуть поколебалась, оглянулась назад – упавший все не появлялся. Резкий порыв ветра заставил ее поежиться. Она оттолкнулась палками и двинулась вниз, выписывая слитыми воедино ногами безупречную синусоиду.

Ну хорошо, – подумал я, глядя на нее сверху. Допустим, охрана ее потеряла. Что мне предпринять теперь? И надо ли вообще что-то предпринимать? С одной стороны, раз уж начал куражиться, так продолжай. С другой стороны, мафия. С мафией не шутят. А с третьей стороны, адреналин – это хорошо. Ладно.

Я раскантовался, расставил лыжи пошире и принял спусковую стойку. Сосенки и сакурки замелькали все быстрее и быстрее. Лыжам стало щекотно от бугорков и кочек. Живот сам собой поджался и завибрировал. Десятый миллиграмм медленно, но верно выдавливался в кровь.

Я нагнал ее уже в самом низу — мы практически синхронно затормозили под окнами гостиницы. Утоптанная площадка перед отелем была заполнена толпой празднующихся лыжников в расхристанных ботинках. Охраны не наблюдалось.

— Ну что, — спросил я, — будешь ждать своих друзей?

— Да, — ответила она. — Подожду.

— Так может, зайдем в буфет, кофе выпьем? Чего на ветру торчать?

Подножие склона продувалось не хуже вершины. Она снова поежилась, секунду подумала и отстегнула лыжи.

— Ты что, здесь и остановилась, в этом отеле?

— Да.

— Ничего, что я на «ты»?

— Ничего.

Какая неразговорчивая, — думал я, заходя с ней в здание. Не иначе, как от холода. Надо кофеем отпоить. Разговорится.

Мы уселись за стойку буфета. Она стащила с носа маску, но осталась в огромных горнолыжных очках. Глаз не увидеть за стеклами.

— Так и будешь в очках сидеть? — спросил я ее.

— Так и буду.

— Понятное дело. Безопасность. Конспирация. Ты в самом деле такая крупная птица?

— Получается.

— Да ладно тебе. Это у тебя, наверное, папа крупный.

— Папа само собой. Но я тоже чуть-чуть.

— Также чуть-чуть... Я смотрю, вы там в Токио какие-то больно важные. А на самом деле, мы тут ничем не хуже.

— Я верю.

— Ты к нам надолго?

— Завтра уезжаю.

— Жалко. Я бы тебе кое-что показал. Хотя можно и сегодня. Ты рок-н-ролл любишь?

— Я люблю классическую музыку.

— Ну, это я тоже люблю. Оперу люблю петь.

— Петь?

— Ну да. Особенно когда на лыжах катаюсь. Скажем, еду вверх на открытом подъемнике и исполняю куплеты Мефистофеля. Или что-нибудь из «Хованщины». Внизу лыжники пугаются, задирают головы и падают в сугроб.

Она строго посмотрела на меня сквозь очки.

— Хотя это занятие я уже прекратил.

— Почему же?

— Ехал как-то на подъемнике, а мужик внизу спиливал пень, чтобы об него народ не побился. Затянул я что-то русское народное, а он с перепугу казенную пилу поломал. После этого совесть заела.

Она неопределенно хмыкнула. Подали кофе. Отхлебнув глоток, я спросил:

– Ну, так как насчет рок-н-ролла? Сегодня классные ребята играют, у вас в Токио таких не водится. Поехали, пока тебя твои друзья не отловили. Надоели ведь уже наверное?

– Почему надоели?

– Не гармонируешь ты с ними. Такая утонченная – слушаешь классическую музыку, катаешься в Альпах... И вдруг рядом вот такие.

– Какие «такие»?

Я огляделся по сторонам и провел указательным пальцем по скуле. Жест, заменяющий страшное слово «якудза».

И тут она расхохоталась. Звонко и заливисто. «Отогрелась наконец, – подумал я. – Сейчас разговорится.» Но не успела она отсмеяться, как раздались крики и топот. В буфет вломилось полтора десятка накачанных молодых людей в штатском. Половина из них размахивала рациями, вторая половина держала руки за пазухами. Один из давешних амбалов тоже был с ними, и все они бежали к нам. По их лицам я предположил, что в самом лучшем случае мне сейчас заломают руки и уложат мордой на стойку. Однако до этого дело не дошло. Моей охранной грамотой стала ее ладонь, которую она выставила им прямо в кровожадные пасти. Они остановились, тяжело дыша, а она напутственно похлопала меня другой ладонью по спине. Оставив недопитый кофе, я встал и сделал шаг по направлению к дверям. Чудовища расступились, и я прошел по живому коридору, ловя на себе их испепеляющие взоры. К моменту выхода на улицу мои надпочечники выжали все, что имели. Но, против ожиданий, на улице никто не кинулся ко мне с охотничьим ножом, чтобы чертить узоры на моей физиономии. Я без приключений дошел до машины, погрузил лыжную амуницию, смел со стекол снег, сел за руль и тронулся. Двое из охраны стояли с рациями на крыльце, отслеживая мои действия.

Что-то тут не так, – думал я. – Якудзы, которых я видел в кино, носили щегольские усики и малиновые пиджаки. А эти какие-то безусые, и пиджаки у них вовсе не малиновые. И не орут на блатной фене дурными голосами. Может, все дело в кинематографическом имидже? В стереотипах массового сознания? Но ведь мизинцы-то они рубят? Рубят, сам видел такие мизинцы. И татуировки видел, в бане. А эти как были – с мизинцами, или без? Не разглядел...

Дорога шла под гору. На лобовое стекло летели белые мухи. Я включил радио.

– Как мы уже сообщали, – раздался бодрый дикторский голос, – сегодня нас почтила своим присутствием Ее Императорское Высочество принцесса Мори. В программе визита – участие в праздновании столетия города, посещение краеведческого музея и отдых на горнолыжном курорте Какамура. Завтра утром Ее Высочество проследует в Ямагату.

Я съехал на обочину, заглушил мотор и некоторое время сидел, не шевелясь. Потом включил свет в салоне и осмотрел свой левый бок. Никаких следов. Ребра целы. Ни шишечки, ни синячка.

Жаль.

Почтовый ящик (1)

From i-sem@hotmail.md
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject Yaponija

Здравствуйте, уважаемый Вадим Смоленский. Это письмо из Молдавии. Меня зовут Ваня. Но я русский. А паспорт у меня молдавский. Но могу сделать и русский. Украинский тоже могу. Какой надо такой и сделаю. Почему я вам пишу? Я люблю Японию. Я учу Японский язык. Мне очень нравится ваша страничка в Интернете (<http://www.susi.ru>) поэтому я решился послать вам эмэйл. Дело всё в том что я решил твердо переехать на постоянное место жительства в Японию. Напишите мне пожалуйста какая сейчас жизнь в Японии, какие цены на основные продукты (хлеб, молоко, сметана, яйца, овощи, мясо), легко ли найти работу? В прошлом году я закончил сельхозтехникум, умею еще работать на компьютере а кроме того починить телевизор. Да и вообще голова на месте, мог бы принести пользу. У нас тут все едут в Германию и в Европу, там уже забито так что и не сунутся. А в Японию никто не едет. Напишите мне как получить визу в Японию, куда обращаться и какие документы заполнять? Заранее спасибо.

Семечкин Иван, г. Кишинев.

From tsuchida_t@u-tokyo.ac.jp
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject hello

Здравствуйте, уважаемый господин Вадим Смоленский! Позвольте мне, глубокоуважаемый многоучёный господин, представиться Вам. Я профессор на кафедрой сравнительной культурологией Токийского Университета Таро Цутида. Могут показаться Вам удивительным, но у нас в Тодай тоже русофилы есть. Частно я величайший русофил (особенно люблю тех с еврейского происхождения). Очень радовался за известие о новом международном университета и найдив в Интернет Ваши страницы радовался вторично. Как Вы оцениваете приятность региона? Не посещал частно но слышал хороший источник и саке есть. Надеюсь, Вы и другие сотрудники наслаждаете природу и научную работу.

Тема моего исследования представляет семиотический анализ тоталитарного дискурса. В этой связи позвольте задавать Вам вопрос. В статье Льва Канторовича "О преодолении постконцептуальной парадигмы" не могу понимать одно место:

"При тотальной сублимации логоса всякий дискурс конституируется апофатически, в силу чего любая попытка обретения трансценденции неизбежно упирается в топос. Единственным спасением видится метаклассификация архетипов, когда каждому суггестивному слою атрибутировано свое гиперозначаемое. Миф-симулякр в такой квазиерархии обретает окончательную самотождественность, которую прекрасно демонстрируют, например, многочисленные апокрифы про Василия Ивановича."

Кто Василий Иванович? Мне покажется, он известный человек. Но никакой энциклопедический словарь не содержит такую фамилию. Поэтому не могу понимать смысла Канторовича. Если Вы знаете кто Василий Иванович, учите меня пожалуйста. Надеюсь, когда-нибудь мы с Вами встретимся и разговариваем.

Спасибо Вам за Ваше терпение,
Цутида Таро

From potapov@botik.ru
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject doma

Здорово, братишка!

Долетел нормально. В Шереметьеве меня встретил Сидоров и отвез в Переславль. По дороге произошло знаменательное событие. Остановились, чтобы покурить, я вышел из машины и тут же вступил ногой в говно. Сразу стало хорошо на душе, и вспомнились слова Рауля Абрамовича: "Неважно, по чьей земле ходить, а важно, на что наступать". Думаю, он не вполне прав. Вопрос значительно тоньше.

Если будешь заглядывать в нашу баню, передавай хозяйке привет.

Потапов.

Копай-копай!

– Мородой черобек!

Я оглянулся. Реплика принадлежала благообразному дедушке в соломенной шляпе, мимо скамейки с которым я деловито прошагал. Увидев, что я остановился, он вскочил и засеменил ко мне.

– Дзудорафствуйте, – старательно выговорил он и протянул руку.

– Здравствуйте, – ответил я. Рука оказалась неожиданно крепкой.

– А вы... Чито делай? Русский?

– Русский, – кивнул я.

– Я... газета читай, – сказал он и развернул «Ёмиури симбун». – Вот. Униберситет. Русский профессор. Да?

– Да, тут русских много, – начал было я по-японски, но он замахал на меня руками.

– Нет! По-русски давай!

– Вы учите русский язык? – как можно вежливее спросил я.

– Нет сейчас, – сказал он. – Давно. Военнопленный.

Он вытащил из нагрудного кармана белую картонку и протянул мне. Я прочитал:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Г-н Кадзухо Сота награжден памятным знаком Роскомархива
«За созидательный труд на российской земле»

Председатель Роскомархива
Р.Г.Пихоя.

За удостоверением последовал сам памятный знак, выполненный в виде медали. На одной его стороне было начертано: «Бывшим японским военнопленным», а на другой: «По случаю выдачи справок о труде».

– Ничего не понял, – пожаловался дедушка, делая ударение на «я». – Русский язык трудно.

Я объяснил ему суть документа в общих чертах. Он не довольствовался этим и пожелал узнать значение каждого слова.

– Чито такой со-дзи-да-тэ...

– «Созидательный»? Ну, это когда ничего нет – а потом: раз, и есть. Потому что работал.

– А где «работал»?

– Вот здесь. «Труд» – это значит «работа».

– А-а-а... На-ро-сси-и-су...

– На российской. Значит, на русской. Ну, Россия!

– Понял. Дзе-му-ре... Чито такой?

– Земле. Ну, земля! – Я пнул носком ноги асфальт.

– Земля! – повторил он, и глаза его загорелись. – Земля! – вырвалось у него снова. – Земля! – произнес он в третий раз и задрал голову вверх, будто вспоминая что-то. Затем радостно хихикнул и сказал:

– Колай-колай!

* * *

Кадзухо Сота никогда не носил погон. Разгром Квантунской Армии застал его семнадцатилетним телеграфистом, сидящим в захудалом отделении связи среди маньчжурских сопок. Гражданский статус несколько не смутил сталинских соколов, и Кадзухо пришлось созидательно копать российскую землю наравне с вчерашними солдатами. Ему несколько не повезло с фамилией: лагерные вертухаи переименовали «Сота» в «Сытый», и любили шутить по поводу того, что сытого кормить не надо.

– А потом... такой маренький... как по-русски? По-японски это *номи-сирами*.

– Блохи и вши.

– Бурюхи и фуси?

– Да.

– Бурюхи и фуси очень много.

Дедушка лихо крутанул руль и мы выехали на скоростную дорогу. Оставалось полчаса езды до его дома, куда он зазвал меня погостить на вечерок. Бывший военнопленный уверенно давил на газ и травил лагерные байки. Когда ему не хватало русских слов, он заменял их матюгами – а к японской лексике прибегал крайне неохотно.

– А потом... как это... Самогонка! Рюбишь?

– Не очень.

– Йоппу товою матти! А я рюбрю! – Он постучал себя в грудь. – Я сибиряк!..

* * *

Сибиряк Сота свернул с автострады в каком-то мелком городке, поплутал по узким улочкам и припарковал машину на небольшой стоянке. Я вообразил, что мы уже добрались до его дома – но не тут-то было.

– Вырезай, – скомандовал он. – Пойдем японские макароны есть.

Подивившись грамматической отточенности этой фразы, я послушно вылез и последовал за своим новым знакомым в двери маленькой лапшевни. В общем-то, и следовало ожидать, что угощать он меня будет не дома – заранее известить жену о

приеме гостя не было времени. Мы уселись за массивный стол и принялись изучать меню.

– Самогонка нету! – сокрушенно вздохнул дедушка и зашелся хохотом. Собственные шутки приходились ему по вкусу.

Отсмеявшись, он заказал две миски рамена. Подоспели они довольно скоро. Спутанные в клубок макароны нежились в темном соевом бульоне, а сверху на них благородно возлежали ломтики свинины.

– Это как по-русски? – поинтересовался дедушка Сота.

– «Свинина».

– Нет! – протестующе воскликнул он, потом опять задрал голову и несколько секунд вспоминал. После чего наставительно поднял палец и сказал:

– Это *чушка*!

Я не возражал против чушки и принялся за еду. Дедушка одобрительно покивал моему владению палочками и весьма членораздельно произнес:

– *Порекомендуйте мне недорогую гостиницу.*

– Что?! – опешил я.

– Нет-нет! – замахал руками дедушка, достал из кармана разговорник, нашел нужное выражение и поправился:

– *Приятного аппетита.*

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Сота-сан уже несколько раз ездил в места своего пленения, где осталась могила его брата. Всякий раз он понемногу совершенствует свой русский по японским учебным пособиям. Поэтому теперь его русский состоит из двух слоев: в одном слое «капуста-картошка», «подъём» и «работай, сука», а в другом – «позвольте вас побеспокоить», «окажите такую любезность» и «приходите к нам еще». Слова из первого слоя он помнит очень хорошо, а из второго – часто путает.

– Ничего не понимай, – пожаловался он мне. – Хочу снова военнопленный.

И еще раз от души посмеялся собственной шутке.

* * *

Дом оказался совсем рядом – далеко не бедный, с садом и гаражом. На шум двигателя выбежала классическая японская бабулька. Она усердно кланялась и лопотала приветствия. «Жена», – пояснил дедушка Сота и матюгнулся.

Утихомирив двух цепных псов, которым я активно не нравился, хозяин запустил меня внутрь. В доме витал японский дух – деревянные столбы, портреты предков, синтоистский алтарь и керосиновая печка. На втором этаже располагался кабинет. Его атмосфера была несколько иной – ее создавали ряды разнокалиберных матрешек, лосиные рога под потолком и балалайка без струн. На книжной полке располагалось несколько фотоснимков: Сота-сан в гостях у русского семейства, Сота-сан у подножия памятника Ленину и он же на фоне неказистого деревянного строения.

– Гостиница, – разъяснил он мне. – Комсоморьск.

– Хорошая? – поинтересовался я.

– Не-е-ет! – замахал он руками. – Пурохой. Грязный!

– Что, блохи и вши?

- Ха-ха-ха!... Бурехи и фуси... Нет. Очки!
- Какие очки?
- Туарет. Такой дыра. Как военнопленный, тоже одинаково.
- Понятно. А еда хорошая?
- Пурохой. Нефукусно. И поезд пурохой, и автобус тоже.
- Так что, получается, там все плохо?
- Да, фусе пурохо. Торько один хорошо.
- Это что же?
- Черобек.

* * *

Хозяин усадил меня перед телевизором и стал потчевать видеофильмом. На экране нарисовалась узкоколейная дрезина, резво бегущая по диким степям Забайкалья. На двух лавках вдоль бортов сидели бывшие лагерники, неподвижные как дзэнские монахи. Сота-сан тоже был среди них и тоже медитировал. Куда дрезина едет, было непонятно – все звуковое сопровождение состояло из стука колес. Минут через десять этой тарковщины я и сам начал впадать в транс. Но тут картинка сменилась. Появилась лесная поляна со взводом русских солдатиков. Вооруженные лопатами и ломками, они долбили неподатливую землю.

- Могила! – сказал дедушка. – Копай-копай!

Дела у солдатиков постепенно продвигались. Самые шустрые уже добрались до полуистлевших костей. Они доставали их и бережно складывали на куски брезента. Из костей получалась пирамидка, сверху на нее клался череп. Вид пустых глазниц очень развеселил дедушку. Он тыкал в экран пальцем, хлопал себя по коленкам и давился от смеха. Я не выдержал:

- Сота-сан, ведь это чужие головы. А если бы ваша?
- Да, – виновато сказал он. – Конечно.

И опять залился счастливым детским смехом.

Экстумация закончилась. Извлеченные останки разложили на специальном столе, облили бензином и подожгли. Делегация японских ветеранов построилась в шеренгу и медитировала на пламя. Оно полыхало высоко и долго. То, что осталось от костей, ссыпали в урны.

- В Японию, – сказал дедушка. – Домой.

Любительская часть завершилась и пошла телевизионная запись. Какой-то забайкальский начальник рассуждал о взаимопонимании между народами. Потом показали берег Байкала. Над берегом летали чайки. Вверх по чайкам поползли титры: «продюсер программы – Ф.Ползунов».

- Вы уже на пенсии, Сота-сан? – спросил я. – Или еще работаете?
- Работа? – переспросил он. – Да, работа. Еще нет старый.
- А какая у вас работа?
- Трудно. Как по-русски, не знаю.
- Зачем обязательно по-русски?
- Если по-японски, ты ничего не понимаешь.
- Ну, вы попробуйте, может пойму?
- Нет.

– Это что, тайна?

Сота-сан встал, чтобы выключить телевизор. Потом сел напротив меня. Пожевал губами. Подумал.

– *Пепел*, – вдруг сказал он по-японски. – *Я торгую пеплом.*

* * *

В голове каждого из нас растёт гносеологическое дерево. Одни возделывают его с любовью, поливают, удобряют – и становятся энциклопедистами. Таких ничем не удивить и ничем не испугать. Другие же бросают свое дерево на произвол стихий, позволяют ему расти вкривь и вкось – чтобы потом пасть жертвами смысловой неразберихи и нелепых ассоциаций.

Вот например: известно, что на острове Ява живет в десять раз больше народу, чем на соседнем острове Борнео. Энциклопедист знает, почему. На Борнео нет ни одного вулкана, а на Яве их множество – поэтому почвы там обильно унавожены вулканическим пеплом. И японские крестьяне тоже любят селиться на склонах вулканов, невзирая на опасность извержения. Уже никто не помнит, кому первому пришлось в голову добывать пепел из-под земли и делать из него удобрение – но идея оказалась прибыльной.

А если этого не знать, то можно подумать бог знает что.

* * *

Сота-сан вез меня обратно. Апрельское солнце готовилось коснуться круглой вершушки горы Насудакэ – старого, давно потухшего вулкана. Поля с огородами облепляли вулкан и забегали на склоны, упираясь в оголившиеся проплешины лыжных спусков. Вдали виднелся лесочек, окружающий императорскую дачу.

Неожиданно мы свернули на ухабистую грунтовую дорогу, протряслись по ней пару минут и встали. Мне опять было велено вылезать. Прямо перед нами громоздился экскаватор, из кабины которого торчали изящно скрещенные ноги в белоснежных носочках. Экскаваторщик почивал, отдыхая от праведных трудов. Сота-сан неспешно подошел к нему, потряс за ногу и скомандовал:

– Подъём!

Носочки втянулись в кабину, и через секунду показалась заспанная голова. Ее владелец уже готов был вытянуться во фрунт и извиниться за нерадивость – но начальник ласково похлопал его по плечу и добродушно сказал:

– Копай-копай!

Никаких вопросов не возникло. Он все понял! Экскаватор тут же затарахтел, задрал ковш – и двинулся туда, где его ждали залежи драгоценного пепла. По пути он спугнул двух лебедей из озера неподалеку. Лебеди поднялись с криками и взяли курс на северо-запад.

В сторону Сибири.

О нисходящих этнонимах

Метафоры, как известно, могут быть как восходящими, так и нисходящими. Восходящая метафора – это уподобление объекта могучему льву, трепетной лани, дневным и ночным светилам, Илье Муромцу, Наполеону Бонапарту и Диего Марадоне. Нисходящая же метафора отсылает нас к червям, шакалам, нечистотам, искариотам и чикатилам. Разница очевидна.

Но и не только метафоры. Имена, фамилии, географические названия, профессиональные жаргонизмы – все это может быть как восходящим, так и нисходящим. Исключительно восходящими могут быть разве что торговые марки. Зато школьные прозвища, наоборот, почти всегда бывают нисходящими.

В этом свете особенно интересны этнонимы – названия, которые люди дают этническим общностям. Подавляющее их большинство никуда не восходит и никуда не нисходит. «Француз», «киргиз», «норвежец», «кхмер» – это все сугубо нейтральные этнонимы, несущие денотативную функцию. Они просто *обозначают*. Бывает, впрочем, что нейтральный этноним вдруг начинает употребляться метафорически, становясь восходящим или, чаще, нисходящим. Таковы, к примеру, «спартанец», «пигмей» и «чукча». Но более распространено конструирование новых этнонимов, изначально нацеленных на уничижение. Здесь есть о чем поговорить.

Поучительна сама динамика появления этнонимов. Покуда этнос молод, господствуют простые разбиения, поэтому и этнонимов мало. Слева немцы, справа татары, посередине православные – и хватит. Потом начинается дробление и ветвление, возникают «жиды», «ляхи», «чухонцы», от православных откалываются «хохлы» и «бульбаши» – а уж с приходом индустриальной эпохи добрая половина нейтральных этнонимов обзаводится нисходящими двойниками.

И сколь разнообразна морфология этих образований! Незатейливые «чурки», «чучмеки» и «хачики» соседствуют с изящными кальками вроде «макаронника», «колбасника» и «лягушатника», а также с прямыми заимствованиями типа «ниггера» или «гринго». Популярны антропологические адъективы: «косоглазый», «бледнолицый», «черножопый», «пархатый». Есть даже уничижительный суффикс «ос»: исторически он оформлял слово «негритос», а позднее вычленился из этой лексемы, породив «америкоса». Похожий суффикс «ёз» пока довольствуется «китаёзом» – но лиха беда начало.

С другой стороны, такое разнообразие мы находим не во всяком языке. Если этнос в силу геополитических причин был долго изолирован от мира, то система этнонимов остается неразвитой – что мы сегодня и видим на Японских островах. Все нейтральные этнонимы в японском языке строятся при помощи суффикса «дзин»: «америкадзин», «росиадзин», «индодзин». Исключение сделано только для айнов («айну», без суффикса). Есть еще цветовые этнонимы: «хакудзин» («белый человек») и «кокудзин» («черный человек»). Желтому человеку в цветовом этнониме отказано, его называют «адзиадин» («азиатский человек»). Все мыслимые дзины, за вычетом японцев («нихондзин»), объединены общим термином «гайдзин» («чужой человек», «человек извне»).

Интересно, что практическое толкование слова «гайдзин» не всегда бывает столь однозначно. Китайцы, корейцы и представители Юго-Восточной Азии входят в это множество с большими оговорками. Да и негра далеко не всякий назовет гайдзином. Иными словами, в неотягощенном теориями бытовым сознании «гайдзин» неодолимо тяготеет к «хакудзину», а иногда полностью с ним сливается. Здесь прослеживается живая аналогия с русским словом «иностранец». Теоретически иностранец может быть хоть папуасом, хоть белорусом – но в расхожем народном представлении это всегда холеный, надменный и чудаковатый Мистер-Твистер.

Далее: часто вызывает споры трактовка слова «гайдзин» как нейтрального этнонима. В развитой системе вежливых наворотов, которыми так славен японский язык, существуют более изысканные конструкции: «гайкокудзин» («человек из другой страны»), «гайкоку-но хито» (то же самое, но почтительнее) и «гайкоку-но ката» (совсем уже подобострастно, «иностранный господин»). На фоне этих перлов «гайдзин» блекнет и может показаться нисходящим этнонимом, обидной дразнилкой. Но это не так. От японского простонародья запросто можно услышать сочетание «гайдзин-сан» – в самом доброжелательном смысле. В то время как конструкции типа «мистер ниггер» или «товарищ чурка», наоборот, звучали бы подчеркнуто издевательски. Поэтому «гайдзин» – это именно нейтральный этноним, а «гайкокудзин» и иже с ним суть *квазивосходящие* этнонимы, обусловленные языковой спецификой.

А что же нисходящие этнонимы? Есть ли таковые в японском языке? Да, есть, но очень мало. Больше других здесь повезло корейцам, чья история пересекалась с японской отнюдь не на паритетных началах. Дремучий обыватель и правый националист никогда не упустят случая назвать корейца пообиднее: «чонко», «бакачон» или как-нибудь еще хлеще. А вот для китайцев подобные этнонимы не прижились: сказался многовековой комплекс перед культурным первородством великого соседа. Существует слово «роскэ», которым иногда награждают россиян, но непонятно: то ли здесь уничижительный суффикс «скэ», то ли искаженное самоназвание «русский». Нисходящая природа этого этнонима неочевидна. Словари и справочники поведают вам также о суффиксе «ко», делающем из американца «амэко», а из итальянца «итако» – но это все маргинальные вывихи, слэнговая периферия, бесконечно далекая от актуального языка.

В актуальном же японском языке нисходящие этнонимы для белых людей поражают своей простотой и неядреностью. Все они строятся присовокуплением к слову «гайдзин» уточняющих лексем. Широкое употребление имеют три этнонима: «хэнна гайдзин» («странный гайдзин»), «фурё-гайдзин» («нехороший гайдзин») и «бака-гайдзин» («гайдзин-дурак»). Даже удивительно, как таким бледным конструкциям удалось вытеснить из языка красочные средневековые названия для южных варваров: «длинноносые», «беловласые», «краснорожие»... Эстеты могут сокрушаться – но что свершилось, то свершилось.

И свершилось бы в любом случае. Не тогда, так нынче. Политическая корректность, рожденная нашим гуманным веком, последовательно выступает против любых нисходящих этнонимов. В цитаделях демократии они объявлены пережитками прошлого и безжалостно искореняются. Нет больше негров – есть *афроамериканцы*. Нет никаких дагов, хачиков, азеров, кабардосов и чучмеков –

есть *лица кавказской национальности*. А совестливая японская интеллигенция и вовсе призывает списать в архив позорное слово «гайдзин».

Хорошо ли это?

С позиций абстрактного гуманизма – да, безусловно хорошо. Нисходящие этнонимы звучат обидно, провоцируют конфликты и препятствуют прогрессу. Без них человечество станет цивилизованнее. Но тонкий ценитель не может не вздохнуть, когда рожденное в народной гуще слово – пусть плохое, пусть обидное, но живое! – принудительно заменяется на мертвый, невыразительный конструкт. В этом видна неумолимая поступь технократической энтропии. Она не ведает прекрасного, она выедаёт из мировых языков хлесткость и ядреность, она сужает наш эмоциональный спектр. Ей нужно что-то противопоставить. Что именно?

Просматриваются два варианта.

Вариант первый: менять этнонимы не на нейтральные, а на восходящие. Вместо «нехороший гайдзин» говорить «хороший гайдзин». Это сохранило бы ширину спектра, сдвинув его в более приемлемую область. Но беда в том, что восходящих этнонимов существует крайне мало. Их практически нет. У народов мира никогда не возникало насущной потребности восхвалять соседей. Даже историко-метонимические «ковбой», «самурай», «янычар» или «джигит» сегодня безнадежно разъедены иронией. Они восходят совершенно не туда. Вариант технически неосуществим.

Вариант второй: наступив на горло национальным чувствам, принудительно назначить нисходящие этнонимы играть роль восходящих. Сделать это всем человечеством во имя борьбы с энтропией и во славу многополярности. Идея не столь утопична, как может показаться. Есть замечательные примеры. Взять слово «янки» – призванное быть оскорбительным, оно становится горделивым в устах американца. Весь мир кричит свое бесконечное «янки гоу хоум», а в ответ имеет «янки ноу-хау». Как тут не восхититься и как не заразиться таким здоровым отношением к любым и всяческим дразнилкам?

Поэтому автор этих страстных и неуклюжих строк – клятый москаль, грязный кацап, глупый роскэ, белый трэш, необрезанный гой, неверный шурави, пьяная русская свинья и что там еще осталось – высоко над головой поднимает древко с трепещущим полотнищем, на котором каллиграфически выведены два гордых иероглифа:

Г А Й

Д З И Н

Благо это и в самом деле совсем не обидно.

Год Кабана

Слова у нас – до важного самого – так и норовят выпрыгнуть из головы. Даже русские слова норовят, а про японские я вообще молчу. Чтобы их не забывать, надо либо родиться гением, либо овладеть какой-нибудь хитрой мнемотехникой, либо долбить их с утра до ночи.

Но не только. Еще прочное запоминание может быть заслугой педагога. Вот, к примеру, слово «иносиси» я впервые услышал еще до наступления Года Кабана. Но преподали мне это слово *так*, что я сразу запомнил его на всю жизнь. И не один я – а все, кому довелось при том присутствовать.

* * *

В тот день мы покупали елку. Вернее, покупала Шишкина, а я ей помогал. После Рождества елки были особо дешевыми. Точнее, их не было вообще, их уже убрали в дальние кладовки – но по требованию двух ненормальных гайдзинов, проспавших праздник, вытащили снова. Подобное чудачество было здесь в диковину, поэтому пластмассовое дерево обошлось Шишкиной в четверть цены. Довольно поблескивая очками, она улыбалась подходившему автобусу и мысленно уже заедала шампанское салатом оливье.

- Вадичек, у тебя есть «Ирония судьбы»?
- У меня нет. Спроси у Федьки, у него вроде есть.
- Ты сейчас на работу?
- Нет, у меня сегодня японский. Суббота. Кстати, зря не ходишь.
- Да чего туда ходить? Стимула нету. Ну ладно, давай, завтра заглядывай. Мы тебе водки нальем.

Она подмигнула и шагнула со своим деревом в автобус. На ступеньках вдруг развернулась.

- Ой, Вадичек, мне в аптеку надо. Как по-японски «аскорбиновая кислота»?
- Аскорбин-сан.
- Я серьезно.
- Я тоже серьезно.
- Да ну тебя!

Автобусные двери зашипели и закрылись.

* * *

Класс медленно наполнялся. За передними партами расположилось звено дисциплинированных китайских товарищей. У прохода, поближе к керосинке,

грелись теплолюбивые филиппинские девы, нервно позевывая после ночной смены. На камчатке бесстрастно восседал индус Рамендра, а чуть ближе ворковала чета парагвайцев. Соотечественников не было.

Урок начался с сюрприза. Наша любимая учительница заболела, и вместо нее прислали замену. Новая сэнсэйша была молода, миниатюрна, и, по всей видимости, неопытна. В окружении разномастных гайдзинов она заметно смущалась и глядела большей частью в потолок. Темой урока был побудительно-страдательный залог, и она отлично его иллюстрировала – весь ее вид выражал благие побуждения пополам с тяжкими страданиями.

Скрипнув, приоткрылась дверь, и в щель просунулась носатая голова в мотоциклетном шлеме. Владельца шлема и головы звали Бенджамин. Летом Бенджамин всюду ходил в трусах, а зимой – в плащ-палатке. Сейчас была зима, и он напоминал полевого разведчика союзнических войск перед встречей на Эльбе. Скользя на соседнее со мной место, Бенджамин стащил с головы шлем и поставил на пол. Потом открыл рюкзак и принялся извлекать из него сухой паек – два расплющенных гамбургера, пакет чипсов и литровую бутылку кока-колы. Водрузив все это на парту, он знаком предложил мне разделить с ним его походную трапезу. Я вежливо отказался. Он пожал плечами, зачерпнул пятерней побольше чипсов и засыпал в рот.

Аудиторию сотрясли раскаты мельничного хруста. Учительница вздрогнула и замолчала. Я ткнул Бенджамина локтем в бок. Он застыл с набитым ртом и пригнулся, пытаясь укрыться за своей литровой бутылкой от осудительных взглядов китайских товарищей. Но учительница продолжала молчать, и Бенджамину пришлось частично отступить. Бутылку он переместил на пол, чипсы убрал вообще, а гамбургеры замаскировал шлемом. Урок возобновился.

– Мери крисмас, – шепнул мне Бенджамин. – Как отпраздновал?

Я оттопырил большой палец. Он посмотрел на меня и хмыкнул:

– А говорили, что вы празднуете позже.

Я кивнул.

– Ты русский ортодокс?

Я мотнул головой.

– Атеист, выходит?

Я подумал и кивнул.

– Ну и правильно. Вот возьми меня – я вообще еврей. Мне в субботу работать нельзя. Ты понял? В субботу нельзя работать. Ну ладно, отдохнуть я еще согласен – но ведь и книжки нельзя читать! Да пошли они в задницу с такими правилами, я лучше тоже атеист буду.

Он осторожно вытащил из-под шлема гамбургер, воровато огляделся и засунул его в рот. Чавканье, которое за этим последовало, было тихим и неоскорбительным.

– Пусть теперь каждый придумает предложение с глаголом в побудительно-страдательном залоге, – сказала учительница. – Начнем с вас.

Она робко ткнула пальчиком в самого крайнего китайца. Китаец напрягся и через пару секунд выдал:

– Меня заставили работать.

– Очень хорошо, – сказала учительница. – Теперь вы.

– Меня заставили читать газету, – сказал другой китаец.
– Меня заставили вымыть ноги, – подхватил третий.
– Меня заставили заплатить налоги, – добавил четвертый.
– Меня заставили... м-м-м, – филиппиночка замялась.
– Работать без контракта! – выручила ее подруга.
Очередь дошла до Бенджамина.
– Меня заставили не есть, – мрачно буркнул он.
– Х-м-м, – задумалась учительница. – Вы знаете, отрицательной формы этот залог не имеет...

– Ну хорошо. Меня заставили сидеть голодным.
– Извините пожалуйста, – она даже поклонилась. – Кушайте на здоровье.
– Спасибо, – Бенджамин засунул в рот второй гамбургер.
– Теперь вы, – обратилась она ко мне.
– Меня заставляют пить водку, – сказал я.
– Как это? – удивилась она.
– А вот так. Потому что русский. Наливают – должен пить. Никуда не деться.
– Это что, каждый день? – Она выглядела озадаченной.
– Нет, не каждый. Например, по праздникам. Вот завтра Новый Год – значит опять заставят пить водку. Традиция такая.
– Это очень интересно, – сказала она. – А вы не могли бы рассказать подробнее о русских новогодних традициях? Они ведь, наверное, непохожи на японские?
– Кое в чем уже похожи, – сказал я. – Вот, скажем, эти ваши звери. Обезьяны там, драконы... В России уже лет двадцать на ваших зверей мода.
– Правда?! – поразились она. И тут же спохватилась: – Только это не японские звери. Они к нам из Китая пришли.
Китайские товарищи солидарно закивали.
– Кстати! – воскликнула вдруг она, и ее лицо озарилось вдохновением. – А вы знаете легенду про этих зверей? Почему мышка среди них считается первой?
Никто не знал. Даже китайцы.
– Легенда такая, – радостно начала учительница. – Давным-давно китайские боги решили выбрать двенадцать зверей, по числу месяцев – и тоже сделать из них богов. Они позвали мышку и поручили ей сообщить об этом всем остальным зверям.
– Мышку заставили сообщить, – щегольнул я побудительно-страдательным залогом.
– Совершенно верно. И вот мышка всех разыскала и всем сообщила. Бык хотел стать первым и поэтому вышел в путь заранее, за три дня. Он пришел к дому богов раньше всех и ждал. Но когда открылась дверь и боги вышли на порог, то у быка со спины прыгнула мышка, которая на нем тайно ехала – и оказалась впереди. А бык стал вторым. Третим был тигр, который быстро бегал, но вышел позднее быка. Четвертым – заяц. И так далее. А последним пришел иносиси.
– Кто пришел последним? – переспросил я.
– Иносиси, – повторила учительница.
Такого слова никто не знал.
– Inoshishi... – задумчиво произнес Бенджамин. – А кто это такой?
– Это зверь, – сказала учительница. – Он живет в лесу.

Она взяла фломастер и попыталась изобразить загадочного зверя на доске. Вышло подобие мамонта, только хобот был короче.

– Кабан! – догадался Бенджамин.

– А по-моему мамонт, – сказал я.

– Какой еще мамонт? Когда это мы встречали год мамонта? Давай спросим. – Он обратился к учительнице. – А как этот зверь говорит? Он, наверное, говорит «ойньк-ойньк»?

– Или, может, «хрю-хрю»? – предположил я.

Тут весь класс захрюкал на разные лады. Учительница задумалась.

– Иносиси говорит «бухи-бухи», – сказала она наконец. – Потому что он похож на свинью.

– Я ж говорю, кабан! – обрадовался Бенджамин. – А никакой не мамонт.

– Иносиси пришел последним, – продолжила было учительница, но вдруг осеклась, побледнела и по-рыбы глотнула ртом воздух. Со стороны это выглядело так, как если бы Штирлиц нечаянно сболтнул Мюллеру несуразицу, прямоком ведущую к провалу. Ее губы обескровились, очки вспотели, а взгляд остекленел.

Длинный нос Бенджамина учуял жареное. Со свойственным ему отсутствием такта он тут же задал провокационный вопрос, который уже крутился в голове каждого из нас:

– А почему это, интересно, он пришел последним?

Учительницу качнуло, она схватилась за спинку кресла и готова была безжизненно сползти на пол. После полуминутной борьбы ей удалось одолеть дурноту, собрать силы и сказать:

– Он проспал.

Собственно говоря, такой ответ уже мог считаться исчерпывающим. Но природная честность нашей учительницы не позволила ей поставить здесь точку, умолчав о самом главном. Она обвела класс беспомощным взглядом, набрала в грудь побольше воздуха, напряглась и сказала:

– Иносиси...

Вышел фальстарт. На большее запала не хватило. Пришлось начинать сначала.

– Иносиси...

Опять фальстарт. Несчастливая учительница издала нервный смешок и закусила губу. Мы все были крайне заинтригованы и ждали продолжения. Даже вечно невозмутимый Рамендра вытянул свою худую шею и боялся пропустить словечко.

– Иносиси не просто проспал, – получилось у нее наконец. – Вы понимаете, когда большие иносиси хотят, чтобы у них появились маленькие иносиси, то они... они тогда... ой....

Ее снова заклинило. Пальчики судорожно сжали воротник блузки, а химические кудряшки одеревенели. Она окончательно впала в ступор.

Бенджамин привстал, недоуменно оглядел всех присутствующих, потер ладонью переносицу и уперся кулаками в парту. После чего громко и отчетливо спросил:

– Вы хотите сказать, что кабан занимался сексом?

Учительница дернулась, как от удара током, вспыхнула розовым и потупилась.

– Именно так, – пролепетала она, глядя в пол. – Поэтому он и опоздал.

Масштабы ее смущения были таковы, словно этот проступок совершила она сама, а не мифический ветхозаветный кабан. Словно мы были строгим педсоветом, вызвавшим проштрафившуюся ученицу на ковер. В воздухе повисла тяжелая, побудительно-страдательная неловкость. Никто не знал, как из нее выйти.

– А что было дальше? – спросила наконец одна из филиппинок.

– Дальше? – переспросила учительница потухшим голосом. – Дальше пришла кошка. Она опоздала, потому что мышка ее обманула, назвала неправильный день. И кошке ничего не досталось. С тех пор все кошки ловят мышек.

– Очень красивая легенда, – сказал парагваец Хосе. – Я буду рассказывать ее на ночь своей дочери. Спасибо вам.

Зазвонил звонок.

* * *

Одиноким велосипед Бенджамин заносило снегом. Сидение, руль и педали были покрыты маленькими сугробиками. “Shit!” – проворчал Бенджамин, поднял своего стального коня в воздух и энергично потряс. Сугробики попадали вниз и смешались с декабрьской слякотью.

– Что-то я их плохо понимаю, – сказал Бенджамин. – Вот послушай. Летом меня тут водили смотреть какой-то храм, названия не помню. И там как раз был праздник. Представь себе картину: толпа полуголых мужиков на вытянутых руках несет огромный деревянный фаллос. А на нем сидят молодые девки, которые хотят выйти замуж. Полтора десятка девок, не меньше.

– И что?

– А то, что получается ерунда! Как на фаллосе верхом ездить, так это мы пожалуйста. А как сказку рассказать – так сразу на нас стыдливость нападает. Не клеится одно с другим.

– Восток... – сказал я. – Дело тонкое!

– Ага, конечно... Это только на Западе кабаны трахаются. А на Востоке они что-то такое делают, чего и вслух не выразишь. Потом еще окажется, что слова здесь вообще неуместны, потому что это *дзэн*, или как там оно называется?

– Это, скорее всего, отголоски конфуцианства, – сказал я. – А фаллический культ – компонент синтоизма. Тут действительно много разного уживается, у них всегда так было. Синкретическая культура.

Он поморщился.

– Ох уж эта мне их культура... Голову сломаешь. Нет, мы с тобой решили – будем атеисты. Правильно?

– Конечно. Будем по субботам книжки читать.

– Ну, с Новым Годом!

– Пока.

Бенджамин налег на педали и рванул вперед, рассекая шлемом воздух. Его таз ходил туда-сюда маятником, плащ-палатка развевалась, как хитон Геракла, колеса пробуксовывали и плевались снежной жижей. Он доехал до перекрестка, пижонски накренился и исчез за поворотом.

Осторожно перебирая туфельками по слякоти, мимо меня прошла давешняя учительница. Я вытянул руки по швам и церемонно поклонился.

О приветственных ритуалах

Он идет прямым на меня.

Ему до меня уже близко.

Он уже скалится.

Ему это легко. Это всосано с молоком матери. Отработано поколениями. Начиная с самых дальних пращуров – тех переселенцев, которые первыми столкнулись с племенами подчеркнуто бесстрастных дикарей и стали усиленно лыбиться, чтобы отличаться от аборигенов по всем параметрам.

Не думаю, чтобы индейское подавление всякой мимики произвело на меня лучшее впечатление. Обе крайности мне несимпатичны. Но сейчас не до того.

Он приближается.

До его зубов еще метров десять, но каждый уже виден в деталях. Все тридцать два. Они белые. Они все одинаковой длины. Сегодня утром он их долго чистил.

Нужно просоответствовать.

Увы, нужные мускулы у меня совершенно не натренированы. Я знаю, что они крепятся где-то за ушами и пучками расходятся по щекам. Они поперечно-полосатые, и ими можно управлять.

Получается не сразу. Меж тем дистанция стремительно тает. Вспоминаю спасительную формулу:

«...Чи-и-и-и-из...»

Напрягаю воображение. Вот он. Круглый. На блюде. Желтый. Вонючий.

«...Чи-и-и-и-из...»

Никак... Еще раз:

«...Чи-и-и-и-из...»

«...Сы-ы-ы-ы-ыр...»

«...Бры-ы-ы-ынза...»

Есть контакт! Зацепило, повело... Фиксирую! По бокам у меня теперь такие гармошки, они упираются в уши. Челюсти сомкнуты, это хорошо. Глаза снизу сильно подперло и сузило. Видится с трудом. Но видеть необходимо. Нельзя потерять контроль. Важно успеть первым. Речевой аппарат к бою... Пли!

– **ХАЙ ХАУАЮ !!!!!!!**

Первый! Успел! Я его спросил, не он меня! Это он пускай теперь напрягается, пусть докладывает мне, как идут его дела. Хотя какое там... Дураку понятно, что он ничего докладывать не будет – для него ведь это так, междометие... Что ему до моей славянской ментальности, до моего русского занудства, до моей органической неспособности воспринять это иначе как буквально, иначе как вопрос? Он ведь даже не догадывается, что я всего лишь ловкий симулянт, расчетливый имитатор, что я мимикрировал под его повадки!

И ведь неплохо мимикрировал, а? Как плотно я нагрузил эту короткую фразу, каким емким смыслом наполнил ее до краев! Сколько вложено в это одномоментное «хауаю» – даже самое тугое ухо расслышит, что дела, здоровье, успехи и другие жизненные обстоятельства моего мимолежного визави не колышат меня ни в малейшей степени. Что мне накласть на его дела и успехи не просто с

высокой колокольни, а еще выше — с Останкинской телебашни и с горы Казбек. Дар перевоплощения, вот что это такое! Я равен артисту, который подражал походке Чаплина лучше самого Чаплина. Я более он, чем он сам!

И тут с левого бока издевательским эхом раздается:

— *Hi, how are you...*

Прежде чем разминуться, я еще успеваю краем глаза разглядеть выражение, с каким это сказано. Это сказано мимоходом, сквозь оскал, без поворота головы, без интонации, без чувства. Без тени озабоченности смыслом произносимого. И до меня доходит, что я ликовал рано. Он выше. Он более продвинут. Ему на меня накласть не с телебашни. Какое там! Ему накласть на меня со Статуи Свободы. С Эмпайр Стэйт Билдинга. С дерева секвойя. С каменных макушек всех четырех президентов в Северной Дакоте. Вот какова степень его безразличия ко мне! А всего обиднее то, что продемонстрировал он это походя, легко, автоматически, без актерского вживания — он и думал-то, наверное, о чем-нибудь своем. Например, о том, что в японских банках очень низкие проценты. Или о том, что в животе пусто и надо съесть гамбургер. Или вообще о каком-нибудь там бейсболе...

Он идет дальше, а я останавливаюсь, ссутуливаюсь и шевелю губами.

«Привет, как дела?»

«Привет, как дела.»

Маразм.

...Нет, я все понимаю. Нельзя слово в слово. Нельзя под одну гребенку. Нельзя в чужой монастырь. Я все понимаю — я даже научился подражать! Я неустанно тренируюсь и повышаю мастерство. Но почему они так тяжелы для меня, эти тренировки?..

Я поднимаю голову и вижу следующего. Он тоже идет на меня. Но он другой. На его лице тоже улыбка — но это не улыбка ковбоя.

Это улыбка Будды.

Его зубов не видно. Может, он их даже и не чистил сегодня. Не видно и глаз. Вместо них — умильно зажмуренные щелочки.

И при виде этой картины мои поперечно-полосатые мимические мышцы безо всякой на то команды рисуют такую же буддоподобную улыбку. Не меняя выражений на лицах, мы с ним плывем навстречу друг другу.

— Доброе утро, — говорит он мне.

И кланяется. Одной головой и еле-еле — но это не кивок, это именно поклон.

— Доброе утро, — отвечаю я.

И обозначаю поклон тоже.

— Мы с вами давно не виделись, правда?

— В самом деле. Не виделись очень давно.

— Бодры ли вы?

— Да, я бодр, спасибо (*поклон*). А вы? Бодры или не бодры?

— Спасибо (*поклон*), я бодр тоже.

Если кому-то покажется, что его и вправду сильно интересует моя бодрость, то это будет заблуждением. Скорее всего, моя персона занимает его не больше, чем занимала того, первого. Но почувствовать этого я не должен.

И на прощание он отвечает мне поклон несколько более глубокий.

И ответный мой поклон глубок в той же самой мере.

Всякий истинный ритуал ценен своей нелепостью. Чем ритуал нелепее, тем он ценнее. Тем дальше он от неумолимой энтропической воронки, на выходе из которой – химера. Улыбка как императив. Естественнейшая человеческая реакция, возведенная в ритуал. А точнее – низведенная до ритуала.

Путешественники и этнографы повествуют о цивилизациях, где здороваются и прощаются совсем уж вычурными способами. Какой-нибудь Ливингстон запросто расскажет вам о племени, где при встрече принято посыпать друг друга песком или хлопать томагавком по макушке. Можно представить себе и такой обычай: встречающиеся с полминуты небожно мутузят друг дружку кулаками, потом усаживаются в позу лотоса и дуэтом исполняют песню «Хасбулат удалой». Что до меня, то я с удовольствием пожил бы недельку-другую среди такого племени. Увы, таких племен все меньше.

«Улыбайтесь!» – заповедовал людям Дейл Карнеги. Теперь люди скалятся и лыбятся. И знать не хотят русской пословицы о боге и дураке.

«Улыбайтесь!» – сказал барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского перед тем, как отправиться не то в жерло пушки, не то на небеса. Этот вариант улыбки приживается хуже – потому что барон толком не объяснил, зачем нужно улыбаться. Мистер же Карнеги объяснил очень доходчиво: улыбаться нужно для того, чтобы «расположить к себе людей и добиться успеха».

А вот, скажем, Конфуций и вовсе не заповедовал никаких улыбок. Следует признать, что при всем своем занудстве Конфуций был мудрее мистера Карнеги в отдельных вопросах. Но жил он слишком давно, решал другие задачи, – и сегодня конфуцианство с фатальной неизбежностью сменяется карнегианством.

С каждым годом здесь становится все меньше поклонов и все больше оскалов.

Поэтому нам нужно беречь хотя бы рукопожатие.

На наш век хватит

Я заметил его слишком поздно – входная дверь уже закрылась, и отступать стало некуда. Две огромные американские лапищи обхватили меня сразу всего, принялись мять, тискать, щипать и встряхивать. Приветственный ритуал сопровождался неразборчивым ревом, из которого постепенно стали вычленяться отдельные слова:

– Рррррр... Рррашн!.. Да!.. Нэт!.. Балалайка!.. Перестройка!.. Водку пришел пить, да?!.. А раньше где был? Куда пропал? А?! Мама-сан, вот этому стакан водки, он русский.

Я просунул голову в щель между объятиями и помотал ею, насколько смог. Хозяйка, уже взявшаяся было за бутылку, заметила это и поставила ее обратно. Наконец, хватка ослабла. Для видимости паритета я ткнул его в солнечное сплетение – легонько, чтобы не вызвать новую волну.

– Привет, Тони. Расслабляешься? Я тебя здесь раньше не видел.

– А что ты вообще видел? Садись. Мама-сан, пива!

– Да я, собственно, не собирался... Мне тут человека одного надо найти...

– Не надо тебе никакого человека. Считай, что ты его уже нашел. Я торчу тут один, а ты и не присядешь?

Я плюхнулся на кожаный диван и осмотрелся. В углу напротив нашего веселилась небольшая компания уже подвыпивших японцев в строгих костюмах. Тугие узлы их неизменных галстуков были заметно ослаблены. Однако революционная идея совсем снять галстук и повесить его на спинку кресла здесь не приживалась. Так лоси вынуждены круглый год носить рога, необходимые лишь в брачный сезон.

На Тони галстука не было. По его мощной шее взбегал ворот шерстяного свитера, скрывая все подбородки, кроме самого главного, и подпирая румяные щеки, между которыми угнездился классической формы нос. Две щеки и нос – эта композиция настолько доминировала в архитектурном ансамбле его лица, что сказать про другие составляющие этого ансамбля было решительно нечего. Разве что рот еще носил известную нагрузку, да и то чисто функциональную – Тони им разговаривал и пил пиво.

– В меня, правда, не лезет уже, но с тобой выпью, – сообщил он мне. – А то ты к нам совсем заходить перестал. Я уж думал, случилось чего.

У подоспевшей с пивом хозяйки я поинтересовался, не заглядывала ли сюда Дженни. Та покачала головой.

- Какая еще Дженни? – Тони нахмурил щеки. – Это в очках которая?
- В очках – это Келли. А Дженни ты, наверное, не знаешь, она недавно приехала.
- Келли, Дженни... Черт знает что. И охота тебе дружбу водить с этими проститутками?
- Брось ты. Хорошие девчонки.
- Чего в них хорошего-то? Задницы жирные, рожи одна другой страшнее, а наглые – никаких сил нет. Ты давай-ка лучше на японок переходи.
- Да я же их не того... Я просто. Мне ее по делу надо видеть.
- Э-э-э... Все у тебя дела какие-то. Ты когда наконец начнешь жизнью наслаждаться?
- Вот сейчас прямо и начну. – Я поднял кружку. – Кампай!
- Кампай. Как это у вас там? *Нздравье?*

Мы сшиблись емкостями и приникли каждый к своей. Он пил, работая щеками, как помпами. Они вздымались и опадали подобно крыльям кондора, напивались пивом и расцветали, а римский нос помогал им ритмичным сопением. Я зачарованно следил, как пенная золотая жидкость увлекается в водоворот и исчезает без следа и воспоминания. Кондор мог лететь долго, но произошел подсос воздуха, и помпы остановились.

- Мама-сан, еще! Да, про что мы тут говорили-то?
- Про наслаждение жизнью.
- Точно. Так вот я тебе говорю: переходи на японок. Здесь есть некоторые очень даже ничего. Могу познакомить.
- Да ты меня уже знакомил с какой-то швеей-мотористкой.
- А, Микико... Ну и как?
- Ноги кривые.
- Ну конечно, лучше когда задница как у этой твоей – Дженни, или как ее там?

- Да у какой у моей? А потом – ты ведь ее даже не видел!
- И не желаю видеть. Я на этих проститутках уже насмотрелся. Все права свои качают, достали вконец. Так бы в глаз и залепил... А что? Они равенства хотят, вот и будет им равенство. Пусть во всем равенство будет. А то устроились – как бабки лопатой грести у меня из под носа, так сразу равенство, а как по роже получить, так никакого равенства – она слабая женщина, а ты шовинист. И выходит, что она может тебе по роже съездить, а ты ей нет. Seriously тебе говорю: если какая-нибудь твоя Дженни или Келли мне по роже съездит, то я от ее рожи вообще ничего не оставляю.

Его кулак выехал вперед, посылая в нокаут невидимую феминистку. Удар, однако, был неточен, и вместо злокозненной феминистки в нокаут отправилась моя ни в чем не повинная кружка пива. Брызги взметнулись фонтаном и едва не долетели до черных пиджаков. Японцы разом умолкли, но через мгновение убедились в своей неподмоченности и возобновили галдеж. Закаленная в испытаниях хозяйка молча вооружилась тряпкой и взялась за ликвидацию последствий. Тони пробурчал слова извинения, потом долго смотрел на ее работу, и похоже, в его щеках зрела какая-то мысль. Когда она созрела, он повернулся ко мне.

– Слушай, а у вас в России бабы тоже успели испортиться? Тоже одни проститутки остались?

– Почему ты так решил?

– Да потому... Взять хотя бы тебя. Ты же был женат?

– Ну был...

– А потом взял и развелся. Это разве нормально? Будь у тебя жена японка – стал бы ты разводиться? Вот тебе мой совет: второй раз женись обязательно на японке. Здесь единственное место, где нормальные бабы остались. Тоже, правда, портятся, но на наш век еще хватит. Можно жить, как японские феодалы жили. Вот я живу, как классический самурай. Я могу свою Фумико вообще по имени не называть. Скажешь ей: «Газету!» – несет газету. Скажешь: «Виски!» – наливает виски. Скажешь: «Эй!» – раздевается, ложится. И главное – душа спокойна. Она ведь все время дома сидит. Ну, выйдет там в магазин, на икебану свою сходит, иногда к подружке. А так все время дома. Ей же ничего не надо – лишь бы в доме порядок и мужу хорошо. Это жена, я понимаю!

– Ну, допустим, тебе повезло, – осторожно вставил я. – Твоя Фумико просто сокровище. А вообще я видел статистику. По числу внебрачных связей Япония на первом месте в мире.

– Чушь, это они цену себе набивают. Да если даже и так, то это мужики стараются. У них мужики приключения любят. А женщины – те нет.

– Погоди. С кем же у мужиков приключения, если женщины это дело не любят?

– Да всегда есть с кем. Всякие там мамы-сан, да мало ли еще... Но уж никак не с замужними. Хотя я тебе по большому секрету скажу: с замужними тоже в принципе можно. Только надо активность проявить. Ты вот неактивен, у тебя шансов нет.

– Тони, но ведь с замужними – это в конце концов неэтично...

Его розовые щеки отъехали к ушам.

– Ты совсем младенец, – заявил он. – Ты невинен, как ягненок. Я просто обязан дать тебе хотя бы начальное образование.

Он отхлебнул пива, секунду поразмыслил и приступил:

– Как ты полагаешь, что в этом мире для нас нужнее всего?

– Ну, не знаю... Не берусь сформулировать.

– А я берусь. Для мужчины в этом мире нужнее всего сочная пусси. Подчеркиваю, для любого мужчины, если только он не идиот. Сочная пусси, желательно каждый день новая. Сейчас у меня уже силы не те, а вот по молодости я выдерживал свой график очень четко. Новый день – новая девка.

– Тони, да ты маньяк какой-то...

Его щеки заходили ходуном. Он смеялся. Он был не злой.

– Я ж говорю: по молодости. Особенно когда я в Бразилии преподавал. Вот это было время! Сейчас, как босанову услышу, так прямо плакать хочется. Каждый день новая девка была. Теперь-то женатый... Хотя ты не думай, я Фумико люблю. Она у меня номер один. Но не буду отрицать, есть и номер два, и три, и так далее. А вот ты чудной какой-то. Вроде такой молодой, а жизни совсем не радуешься.

– Понимаешь, Тони, как бы тебе это объяснить... У меня несколько другая система приоритетов.

– Знаем мы твои приоритеты! Дженни, Келли... Проститутки вшивые. Но ты еще не самый большой чудак, какого я встречал. Самого непревзойденного козла я видел в Таиланде. Представляешь: он приперся в бар со своей женой!

– Не понял.

– Чего ты не понял? Ты знаешь, что такое Таиланд? Это холостяцкий рай! Там можно в день иметь не одну новую пусси, а хоть десять. И дешево! Ты заходишь в бар, а они там уже вертятся на карусели. Все с номерами, тебе только пальцем ткнуть. И вот представь: они вертятся, а этот козел заходит и ведет с собой свою сорокалетнюю слониху. Это все равно как прийти во французский ресторан, вынуть из кармана сосиску в тесте и сожрать ее у всех на виду. Для меня так это было просто оскорбительно!

– Ну, ты как-то очень тоталитарно мыслишь. Может, он ее любит?

– Кого?! Эту толстозадую? Не смейся меня. Он просто у нее под каблуком. Каждый день слушает речи про равенство и поддакивает. Представляю, как у него тогда слюнки текли. Ты бы видел этих на карусели... Скуластенькие! Грудастенькие! А главное – приветливые! Они тебе слова поперек не скажут, все сделают, что велишь. Не то что всякие твои Дженни да Келли... Проститутки!

– погоди, я опять не понял. Проститутки – это которые?

Он откинулся и довольно пошевелил щеками.

– Вот видишь! У тебя проблемы с английским. Почему бы тебе не брать у меня частные уроки? Я как-никак профессионал. По дружбе дорого не возьму. Идет?

– Да нет, спасибо, я как-нибудь сам...

Его щеки вдруг позеленели. Он подозревал самое ужасное и невыносимое. Обида полезла наружу:

– Так вот зачем тебе нужна эта чертова Дженни. Это ты у нее хочешь уроки брать, да? Ну, удружил...

– Да нет, что ты, Тони, нет... Она вообще не преподает, она программист на Мотороле. Мне у нее надо забрать свою дискету.

– Ха! Программист! Да уж конечно, таким только и дорога, что в программисты. Глаз-то на них все равно никто не положит. Ну, разве что только какой-нибудь японец полоумный, для которого они, как для нас с тобой филиппинки.

К щекам постепенно возвращался природный цвет. Тони вновь чувствовал ко мне расположение. Он дружески меня облапил и, склонившись к уху, проникновенно произнес:

– Вообще-то ты хороший парень. Если тебе малы японские презервативы, могу поделиться с тобой американскими.

– Спасибо, Тони, – ответил я. – Оставь их себе. Японские мне в самый раз.

От удивления он так сильно втянул в себя щеки, что все скопившееся в них пиво хлынуло ему в желудок. Я с опасением подумал, что сейчас он станет совсем пьяным.

– Я был о тебе лучшего мнения, – сказал он. – Впрочем, это твои дела. В самый раз, так в самый раз. Одно знаю точно – ты должен быть активнее.

– «Должен» – плохое слово...

– Ну хорошо. Тебе следует быть активнее. Жизнь такая штука – по собственной охоте под тебя никто не ляжет. Этим надо серьезно заниматься.

Мы допили пиво, расплатились и вышли на улицу. Перед нами лежало рисовое поле, и в нем стрекотали лягушки. Над полем висел месяц.

Покачиваясь, Тони подошел к краю поля и обдал лягушек горячей струей. Они замолчали.

– Плохо то, что городишко невелик, – произнес он задумчиво. – Все у всех на виду. Особо не развернешься. Я на твоём месте ездил бы в Токио на выходные. Хотя, с другой стороны, накладно... Почему бы тебе не подрабатывать в русской мафии? Я слышал, они тут уже вовсю шуруют.

– Ты до дому-то доберешься?

– Постараюсь. Тут такси недалеко. А ты пешком?

Я кивнул. Он хлопнул меня по плечу.

– Еще раз тебе говорю: будь поактивнее. Жизнь одна, и ты рискуешь умереть, так ей и не насладившись. Если будут проблемы, можешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны.

– Спасибо. Передавай привет Фумико.

– Передам. А ведь завидно тебе, признайся. Вот я сейчас приду, а она даже не спросит, где я был. Помяни мое слово – жениться можно только на японке. Хватит их еще на наш век.

– Хорошо, я так и сделаю. Ну, счастливо.

Как только его грузная фигура скрылась из виду, лягушки вновь принялись стрекотать. Было за полночь. Мама-сан считала выручку, черные клерки расставались наконец с галстуками, и бедняга лось поудобнее укладывал рогатую голову на мшистую кочку.

За дверью моей квартиры меня встретил красный свет, который разливался по прихожей, как по ванной фотолюбителя. Он исходил из лампочки на телефонном аппарате и означал наличие записи на автоответчике. Я щелкнул по кнопке, пленка отмоталась чуть назад, и зазвучал знакомый полусшепот:

– Говорит Фумико, привет. Тони опять пришел совсем пьяный и сразу уснул. Он сказал, что видел тебя и что ты пошел домой один. До утра он точно не проснется, так что я сейчас заскочу к тебе на часок-другой. Жди.

Сообщение было оставлено пять минут назад. Еще через пять она будет здесь. Будет звонок в дверь и хрупкая фигурка на пороге. Будут тонкие холодные руки и прерывистое дыхание. Будут острые лопатки и мятный вкус на губах. Будут тени на скулах и колдовские раскосые глаза, неотрывно следящие за мной сквозь бахрому челки. Этот чертенок, эта оторва, худая как богомол и стройная как статуэтка, опять выпьет меня до самого дна, открыв тайники, которых до нее никто не открывал. И уже в который раз я подумаю, что *их* мне не понять никогда.

О столовых приборах

Небесные силы, готовящие для смертного то или иное жизненное поприще, бывают не сразу уверены в правильности избранного варианта. Случается так, что Мойры уже вовсю прядут свою нить, но между ними еще не сложилось полного стратегического консенсуса. А возраст смертного уже поджигает, и пора как-то определяться. Тогда, во избежание лишних терзаний, берется рабочая парадигма, и производится ее пробное применение. Небесные силы проводят своего рода пристрелку – и уже по ее результатам либо утверждают сценарий, либо заменяют другим.

Биографии смертных изобилуют эпизодами такой пристрелки. Будущий чемпион по боксу, сам того не ожидая, нокаутирует уличного хулигана. Юному Чичикову удастся первая школьная спекуляция. Подросток по фамилии Гаусс посрамляет учителя математики. А в божественных канцеляриях тем временем проставляют галочки: этому быть политиком, а этому художником, этому геройствовать, а этому бродяжничать, этой дорога на панель, а этой в монастырь, сюда признания и славы, а сюда плевков и оплеух. И только пройдя изрядную долю отмеренного пути, смертный вдруг вспоминает события юных дней, сопоставляет их с днем нынешним – и внезапно прозревает замысел Провидения во всей метафизической глубине. Или думает, что прозрел.

В биографии пишущего эти строки есть любопытный эпизод, который со значительной долей уверенности можно признать небесной пристрелкой.

Я только что вступил в ответственный призывной возраст. Почетный долг перед отечеством навис надо мной со всей неотвратимостью – однако по ряду показаний военный комиссариат счел меня сомнительным службистом и отправил на обследование в районную больницу. Я послушно явился в приемное отделение, сдал гражданскую одежду, влез в больничный халат и последовал за сестрой. К тому моменту уже наступил обеденный час, мне полагалось питание – поэтому, не задерживаясь долго в опустевшей палате, я сразу поспешил в столовую.

Обед, как и положено обеду, состоял из трех блюд. Его начинал рассольник, продолжал гуляш и заканчивал компот из сухофруктов. Больные сидели за квадратными столиками и трудились над рассольником. Я подошел к раздаточному окошку и меж алюминиевых котлов увидел толстую белую повариху. Не задавая лишних вопросов, она вооружилась половником, наполнила алюминиевую миску пахучим варевом и поставила передо мной.

– Можно ложку? – попросил я.

– Щас... – сказала повариха, накладывая в другую миску слипшиеся макароны и гуляш. Затем наклонилась куда-то – и протянула мне кривую, дважды перекрученную алюминиевую ложку.

Я взял эту ложку. Взглянул на гуляш. И произнес роковое:

– И вилку.

Невинное слово сработало, как щелчок по капсулю. Повариха дернулась, изменилась в лице, налилась багровым, и мне даже показалось, что под ее белым колпаком встрепенились змеи, какие были вместо волос у Медузы Горгоны.

– **ЧЕВО ?!?!** – взревела она. – **КАКУЮ ТАКУЮ ВИЛКУ ?!?!**

Детонация боезапаса не заставила себя долго ждать. Мощный взрыв всеобщего хохота за моей спиной чуть не вышиб оконные стекла. Я недоуменно оглянулся. Обедающие пациенты, зажав в руках алюминиевые ложки и крупно трясясь, готовы были сползти от смеха на пол.

– «Вилку»!... Ха-ха-ха!... Вилку ему подавай!... Аристократ!...

Это не было армией или тюрьмой, не было туристическим походом или поминками. Лежавшие в больнице отнюдь не были пахарями от сохи, которые носят ложку за голенищем сапога. У себя дома они все, я уверен, ели макароны вилками. Логически рассуждая, в моем стремлении вооружиться вилкой не было ничего эксцентричного или крамольного. Но они словно бы знали нечто неведомое мне, они потешались над моей просьбой как над чем-то *объективно* несуразным – как если бы я затребовал штопор или щипцы для разделки омаров. И эта объективность, перемешанная с больнично-кухонными ароматами, повисла в воздухе столь осязаемо и весомо, что уже через секунду грозила сгуститься в непробиваемую бетонную стену.

Стены мне не хотелось. Меня совсем не прельщала роль брезгливого сноба с оттопыренным мизинцем. В конце концов, с этими людьми я говорил на одном языке и имел общих предков. А предки, в свою очередь, возделывали общую землю, молились общему богу, справляли общие праздники и воевали с общими врагами. Так что теперь мне оставалось лишь засмеяться с этими людьми общим смехом, сесть с ними за общий стол и черпать общие макароны общим столовым алюминием.

Я так тогда и поступил. Мелкое недоразумение вскоре забылось.

А через десять лет неожиданно вспомнилось.

Это произошло при моей первой встрече с соевым творогом *тофу*, которая показала, что до виртуозного владения палочками мне еще далеко. Измочалив в мелкую крошку два зыбких кубика, я переводил дух перед схваткой с третьим, как вдруг услышал над ухом предупредительный голос официанта:

– Может, вам вилку принести?..

– Принесите... – пробормотал я, опешив. – Если можно...

Официант обозначил легкий поклон, сделал несколько шагов в сторону кухни и зашептал что-то на ухо дежурившей там девице. Она бросила на меня удивленный взгляд, прыснула в ладошку – и через минуту вынесла из служебных помещений крохотную пластмассовую вилочку.

На Олимпе едва ли владеют иероглифической письменностью. Там неведомы коннотации, которые рожают иероглифы ГАЙ и ДЗИН – но боги на то и боги, чтобы сразу распознать в смертном его задатки. Давнишняя грубая пристрелка очень помогла. Радостные Мойры лупили теперь в самое яблочко.

Я же глотал прохладную студенистую массу и не видел перед собой призрака бетонной стены. Мне постепенно открывалось главное: стена между мной и *ними* будет здесь непременно – но только не из бетона. Она будет из хрусталя. Из плексигласа. Из дымчатого стекла. Из тонких металлических прутьев. В зависимости от ситуации и угла зрения.

А в редчайших драгоценных случаях ее не будет вовсе.

Как и раньше.

Спевка

Весеннее расписание ускорило прибытие токийских поездов на десять минут. Я руководствовался зимним, и осознал это только на подходе к станции, когда ухо вдруг различило наигрыш гармонии, плывущий меж осыпающихся сакур. Вскоре открылась пустая платформа и посреди нее – приземистая фигура Потапова. Коротая время до прихода встречающих, он наяживал на своей трехрядке что-то переливисто-залихватское, со сложными каденциями и разухабистыми синкопами. Я немного послушал, потом взбежал по ступенькам и свистнул.

– Вадимушка! – вскричал Потапов, закинул трехрядку за спину и растопырил объятия. – Братушка!

Порыв ветра засыпал нас розовыми лепестками. Мы хлопали друг друга по спинам и головам, лепестки опадали под ударами и застревали в мехах гармошки. Платформа стонала и ходила под нами ходуном. Вволю нахлопавшись, Потапов вытряс лепестки из мехов и приобрел деловой вид.

– У нас с тобой четыре часа, – объявил он. – Программа будет такая. Сначала идем в нашу любимую баню и сидим там в пузырях. Потом берем бутылку сакэ и ищем место, где сакура еще не осыпалась. Садимся, культурно выпиваем, закусываем, исполняем песни Мокроусова. Потом сажаешь меня на последний поезд в Токио. Остался бы и на подольше – но завтра у меня доклад, а послезавтра уже в Корею.

– Экий у тебя плотный график, – сказал я. – Все расписано, как у американца.

– Я странствующий математик, – поправил меня Потапов. – Что мне еще делать, когда столько конференций? Короче, держи футляр, пошли в баню.

Баня располагалась недалеко, рядом с домом, где Потапов жил три года назад, в пору своей недолгой работы в нашем университете. Тогда мы регулярно наведывались в это славное заведение с пузырящейся ванной, приветливой хозяйкой и строгим завсегдатаем из местных работяг, следившим за тем, чтобы мы не мочили циновки в предбаннике. Нам было трудно этого не делать, мы всегда были до неприличия мокры и подолгу обсыхали на пороге мыльни. Строгий же завсегдатай глядел на нас свысока, являя собой превосходство желтой расы, представители которой способны в буквальном смысле выходить сухими из воды.

– Я, кстати, там мочалку забыл в последний раз, – вспомнил я. – Конечно, за три года могли и выкинуть. Но если вдруг не выкинули, то будет приятно.

– Никуда ее не выкинули, не сомневайся даже, – успокоил меня Потапов. – За что Японию люблю, так вот за это – о клиенте тут всегда помнят. Зайдешь, тебе сразу: «Давно не виделись» – и сервис по полной схеме. Причем неважно, сколько

ты у них не появлялся – может неделю, а может десять лет. То есть, с одной стороны у них как бы прогресс, а с другой – этакая незыблемость.

– Что есть, то есть, – согласился я.

Потапов внезапно остановился.

– Так, погоди... Кажется, мимо прошли. Ну-ка назад, посмотрим. Вот дом, где я жил. Вот забор. Дальше была канава с цаплями – вот она. А сразу за канавой была баня. Выходит, вот это она и есть. Перекрасили, что ли?

Мы подняли головы и узрели красный щит с белым иероглифом «сакэ». Сквозь стеклянную дверь виднелись уставленные бутылками полки. Мы вошли внутрь, и нашему взору предстал рыжеволосый тинэйджер в замызганном фартуке и с серьгой в ухе.

– Да, была тут баня, – ответил он на наш недоуменный вопрос. – Год назад снесли, винный построили. Хозяйка в деревню уехала, дом там купила.

– Веселенькое дело, – сказал Потапов. – Стояла баня, никому не мешала...

– И мочалку мою выкинули, – добавил я.

– Да мочалка-то ладно, без пузырей останемся.

– Ничего, – сказал я. – Вон тут сколько пузырей. Мы ведь как раз собирались. Берем, или как?

– А что еще делать, берем конечно. Какого – прозрачного, мутного?

– Мутного не надо.

– Сладкого или горького?

– Что-нибудь между.

– «Нагураяма», «Ханахару», «Тэнко», «Эйсэн»...

– «Тэнко».

– Губа не дура. Семьсот двадцать?

– Семьсот двадцать.

– Или тыщу восемьсот?

– Столько мы до сакуры не донесем.

– Ладно. А может, сливовой?

– Ты бы еще сказал: может, сивухи?

– Боже упаси!

– Ну вот и хорошо. Теперь бы закуски.

– Мы извиняемся, как у вас тут насчет закуски?

Замызганный тинейджер скривился и помахал ладонью: мол, не держим.

– Что ж, – сказал Потапов. – Купим по дороге.

Мы вышли и огляделись по сторонам. Облетевшие сакуры зеленели свежими листьями.

– Плохо дело, – вздохнул Потапов. – Но ничего. Я помню, тут недалеко есть храмовая роща, она позже облетает. На пригорке потому что.

До пригорка мы добрались минут за десять. И в самом деле, он весь цвел. Розовые деревья лишь немного отливали зеленью едва показавшихся листочков. Промеж стволов обосновался массивный деревянный стол с двумя пнями вместо стульев.

– На этом месте три года назад, – торжественно сказал Потапов, – я доказал теорему Сидорова. Он мне потом поллитра поставил. И мы с ним сразу написали четыре статьи.

- А почему она Сидорова, если ты доказал? – спросил я.
- Он сформулировал, я доказал. Теперь она называется «теорема Сидорова – Потапова». Стаканы-то мы взяли?
- Бумажные. Вот, наливай.
- Жаль, холодное, – сказал Потапов. – Его бы, да горяченьким... Ну да ладно. Кампай!
- Кампай. За встречу!

Весеннее солнце подбиралось к изломанной линии гор на горизонте. С ворот синтоистского храма за нами бесстрастно наблюдали две вороны.

- Интересное дело, – сказал я. – Баню сломали, вместо нее винный магазин. Я вообще последнее время замечаю: больше всего строят винных магазинов и зубных клиник. С чего бы это?

Потапов взъерошил волосы и забарабанил пальцами по бутылке – так же, как барабанил когда-то, ломая голову над теоремой Сидорова.

- Какая-то зависимость, безусловно, есть, – сказал он. – Что первое приходит на ум? Когда сносят бани, люди перестают мыться – и заодно перестают чистить зубы. Зубы заболевают, люди их полощут водкой. А потом идут к зубному. Как тебе такая версия?

- Хм... Я бы сказал, версия несколько скороспелая.
- Вот именно. Какой делаем вывод? Восток непостижим!
- Ну да, – сказал я. – Аршином общим не измерить. Это не объяснение.
- Тогда ты объясни!

– Я думаю, все гораздо тривиальнее. Особенно с зубными клиниками. Это мода такая, из Америки. Модно быть дантистом, модно говорить: *мой дантист*, модно культивировать прямые зубы. Исторически они свои зубы красили в черный цвет, и было все равно, прямые они у них или нет. Потом красить перестали и долго ходили с белыми зубами, но кривыми. А когда им из Америки улыбнулся Шварценеггер, они прозрели.

- Так, – прервал меня Потапов. – Мы увлеклись. Промежуток между первой и второй должен быть значительным, но не превышать сорока секунд.

Он наполнил стаканы, и мы жажнули по второй.

- Продолжаю, – сказал я. – Перейдем к винным магазинам. Тут что характерно: их строят все больше и больше, тем временем как бары и прочие кабаки находятся в упадке. То есть, народ начинает пить по домам. Тоже как бы такая мода. Теперь вопрос: откуда эта мода взялась?

Потапов даже привстал.

- Ты хочешь сказать, что...

– Вот именно! Нас тут еще очень мало, но воздействие совершенно явственное! Только не совсем понятны его механизмы. Вот, скажем, сидим мы с тобой под сакурой и пьем. Ну и что? Они тоже иногда пьют под сакурой. А когда мы пьем на кухне, нас с улицы вообще не видно. То есть, взаимодействие идет на каком-то астральном уровне.

Потапов поправил очки и задумался. Потом спросил:

- А бани?
- По баням у меня статистики нет. Сломанную я только одну знаю.
- Да... – сказал он. – С банями неувязочка. Ну ладно. За астральный уровень!

Опрокинув третью, Потапов вытер усы, встал, потянулся и оглядел пейзаж с севера на юг. Заходящее солнце высвечивало незасеянные поля и играло в бурой черепице крыш.

– Эх! – крикнул он. – До чего ж у вас тут хорошо! Прямо как в Переславле. Только ряпушка не водится, а остальное – просто копия. Ты в курсе, сколько я в этом году ряпушки наловил?

– Много наверное?

– Рекорд поставил. Кабы водилась у вас тут ряпушка, я бы согласился прожить здесь жизнь. А так не могу. На родину тянет. Тебя не тянет?

– Так я ж в ряпушке-то не понимаю...

– А, ну да... Тебе легче. Хотя тут и в самом деле благодать. Вот в Токио – там жить невозможно.

– Ты, кстати, где остановился?

– Да ну, лучше не спрашивай. Называется «Хисада Гранд-Отель». Пять звезд, двадцать этажей. На полу ковры, на стенах импрессионисты. Клоповник, одно слово. Причем я их, подлецов, просил, факсы слал: поселите меня в нормальную гостиницу. Чтобы каллиграфия в нише, чтобы спать на полу, чтобы бабушки на четвереньках... Так нет же, поселили в клоповник.

– Понятное дело, – сказал я. – Японцы... Разве им что-нибудь втолкуешь?..

– Во-во. Никакого с ними сладу. Давай-ка лучше выпьем.

Выпив по четвертой, мы вдруг осознали, что пьем без закуски.

– Как же это? – огорчился Потапов. – Я же собирался чего-нибудь местного... Сырой конины, например... Совсем забыли.

– Ну так давай допивать – и на поиски, – предложил я.

– Нет, мы еще петь собирались. Пару-другую песен – а потом уже за едой. Я, кстати, вчера в Токио нашел потрясающий ресторан. Первый раз в жизни с удовольствием ел *натто*.

– Чего?! – Я даже поморщился. – С каким таким удовольствием? Иностранец не может с удовольствием есть натто. Это знают все.

– А я тебе говорю, что ел с огромным удовольствием.

– Может, ты чего путаешь? Натто? Эти сопли из бобов?

– Именно. Тут самое главное – чтобы оно было не протухшее.

– Ха! – сказал я. – Это нонсенс. Натто – оно потому и натто, что протухшее.

– Отнюдь, – мотнул головой Потапов. – Оно, конечно, гнилое. Но протухшим оно быть не обязано.

– Не вижу разницы.

– Разница есть. Когда оно уже гнилое, но еще не тухлое – то даже иностранец способен есть его с удовольствием. А когда оно гнилое, да еще и тухлое вдобавок – то с удовольствием его могут есть только японцы.

– Это уже какая-то высшая кулинария пошла, – сказал я. – То мне Федька вчера про мясопуст рассказывал, то ты теперь...

– Федька еще здесь?

– А куда он денется... Ведет со мной душеспасительные беседы. Против буддизма. Опасается, что меня бонзы охмурят.

– Куда им... С нами крестная сила! – Потапов осенил себя знаменем и разлил по стаканам остатки. – Давай по последней и будем петь.

Проглотив сакэ, он влез в ремни своей трехрядки. Солнце выпустило последний лучик и исчезло за горой. Вороны нахохлились, потрясли крыльями и приготовились слушать.

– На Во-о-о-олге широкой, – затянул Потапов. – На стре-е-е-елке далекой...

Я подключился:

– Гудками кого-то зовет парохо-о-о-од...

Сакэшная отрывка мешала легким разойтись в полную силу. Но и того, что выходило, было достаточно, чтобы мощно разлететься по окрестностям. Какой-то лохматый мотоциклист тормознул у нашего пригорка, заглушил мотор и с минуту слушал. Узнав, что девушек краше, чем в Сормове нашем, ему никогда и нигде не найти, он снова затарахтел и умчался в поля. А мы голосили дальше – про летние ночки и про буксиров гудочки.

Когда песня кончилась, вороны переглянулись и каркнули.

– Хорошо, – сказал Потапов. – Истово поешь. Сейчас опять будет Мокроусов.

– «Вологда»?

– Нет. «Костры горят далекие».

– Это я не знаю. А помнишь, ты еще пел что-то такое про Сингапур?

– Кто пел? Я пел?! Я такого не мог петь, это уже Пендерецкий какой-то.

Фамилия «Пендерецкий» служила у Потапова собирательным термином для обозначения чересчур заушной музыки. Помимо нововенской школы, к адептам которой относился собственно Кшиштоф Пендерецкий, этот термин покрывал практически всю мировую музыку последних двух веков. Заведомо туда не входили лишь два титана, которым Потапов фанатично поклонялся – Амадей Моцарт и Борис Мокроусов. Все остальное математический ум Потапова отвергал. Надеяться на временную благосклонность могли немногие – Дмитрий Покрасс, Пол Маккартни или какой-нибудь Гайдн. Но даже и они в минуту нерасположения рисковали быть причисленными к Пендерецкому.

– Глаза у парня я-а-асные-е-е, – выводил Потапов. – Как угольки горя-а-а-щие-е-е...

Я представил себе парня с горящими угольками вместо глаз. Образ был сильный.

– В принципе, – сказал Потапов, закончив песню, – Дунаевский тоже был неплохой композитор. Вот смотри.

И он принялся терзать свою гармошку в ритме марша:

– Ой вы кони, вы кони стальные,

Боевые друзья-трактора!

Веселее гудите, родные,

Нам в поход отправляться пора.

Мы чудесным конем все поля обойдем

Соберем и посеем и вспашем.

Наша поступь тверда, и врагу никогда

Не гулять по республикам нашим!

Вдруг песня прервалась.

– Вдумайся в слова! – сказал Потапов. – «Соберем», потом «посеем», и только потом «вспашем». Просто гениально!

Песня возобновилась:

- Ну-ка враг, ты нас лучше не трогай,
Не балуйся у наших ворот,
А не то встанет, грозный и строгий,
Наш хозяин, советский народ!
- Вороны опять каркнули и улетели.
- Слушай, – сказал я. – Может, уже пойдем за едой?
- погоди, – запротестовал Потапов. – Еще «Вологду» не пели!
- Споем по дороге.
- Ну, ладно. Если мне не изменяет память, за этими полями был магазин.

Только давай сначала боженьке денежку кинем. А то неудобно.

Потапов подошел к храму, кинул в ящик пять иен, дернул за веревку колокола и целых три секунды молился богу пригорка. После этого мы спустились вниз и зашагали по меже, разделявшей два незасеянных рисовых поля с пеньками прошлогодних кустиков. Сумерки сгущались. Гармошка отдыхала.

Межа привела нас к ухабистой грунтовой дороге. Две глубокие колеи были кое-где залиты водой после вчерашнего ливня. Мы выбрались на поросшую травой серединку и взяли курс на темневшее вдаль скопление зданий, среди которых находился предполагаемый магазин. Потапов опять развернул меха, и мы грянули «Вологду».

На словах «в Вологде-где-где-где, в Вологде-где» позади нас раздался нечеловеческий рык. Мы обернулись и увидели слепящий свет фар. Какое-то транспортное средство двигалось прямо на нас, глуша песню неразборчивым ревом из громкоговорителя и требуя уступить лыжню. Не споря, мы расступились по разные стороны, и орущий драндулет промчался меж нами, обдав Потапова водой из лужи.

– Что за паскудство?! – возмутился Потапов, отряхивая мокрую штанину. – Мы в Японии или где?

– Это выборы, – объяснил я. – У них сегодня последний день агитации, вот они и торопятся, летают туда-сюда, агитируют кого еще не успели.

– Куда выборы, в парламент?

– В местные органы. Ты представить не можешь, как они меня достали. В семь утра начинают ездить под окнами со своей дурацкой пропагандой. И почтовый ящик весь забили. Скорей бы кончилось.

– Да уж... У нас и то культурнее. Взяли, облили... Никакого понятия.

Остаток пути мы проделали без песен. После непродолжительного плутания по огородам и задним дворам нашим глазам, наконец, открылись сияющие витрины заветного магазина “Family-Mart”. У витрин сидели на корточках несколько молодых людей и что-то ели палочками из деревянных коробок. Недоехавший до Сормова лохматый мотоциклист пил баночный зеленый чай в седле своей машины. Крестьянского вида бабулька стояла, опершись на клюку. Все они рассеянно внимали звукам, раздававшимся с площадки перед магазином.

Источником звуков была передвижная агитационная точка. Ее центром служил аккуратненький микроавтобус с громкоговорителем на крыше. У автобуса стоял складной стенд с портретом кандидата, а рядом со стендом – элегантный агитатор в черном костюме, окруженный группой поддержки из четырех девиц средней фотомодельности, одетых на манер стюардесс. Они изо всех сил растягивали свои

ротики в улыбки и прилежно махали ручонками в замшевых перчатках. Агитатор бубнил что-то в микрофон, и громкоговоритель выплевывал звуки, ловимые немногочисленной аудиторией.

– Ты японский-то помнишь? – спросил я Потапова.

– Поначалу казалось, что не помню, – ответил он. – Но за эти пять дней немножко освежил.

Лингвистические способности моего друга неизменно меня поражали.

– Только письменность совсем забыл, – пожаловался он. – Вот скажи мне, что это у них такое на автобусе написано. Не могу разобрать.

Я вгляделся в красные иероглифы на боку автобуса.

– «Нихон Кёсанто», – прочитал я. – «Коммунистическая Партия Японии».

– А-а-а! – закричал Потапов. – Ага! Так вот кто меня обгадил! А я-то думал! Теперь понятно. Так-так... И что же они имеют нам сказать?

Мы подошли поближе. Агитатор вещал:

– В области сельского хозяйства наш кандидат выступает за демократическую политику, которая сделает аграрный сектор ключевым в национальной экономике. Он осуждает послабления рисовому импорту и сокращение посевных площадей. Он будет бороться с монопольными ценами на сельхозтехнику и удобрения. Он будет всецело поддерживать движение кооператоров.

– Даешь колхоз! – крикнул я.

Агитатор запнулся было, но быстро вернулся в наезженную колею:

– Наш кандидат намерен выступить против увеличения налогов и падения заработной платы, против урезания пенсионных фондов и свертывания социальных программ, против снижения расходов на образование и культуру...

– А против закрытия бань? – спросил Потапов.

Вопрос остался без внимания. Нас игнорировали, идя по заученному тексту.

– ...За ликвидацию остатков женского неравноправия! За обеспечение достойной старости! За свободу демократических объединений молодежи обоих полов! За право голоса с восемнадцати лет!

– Yes! – крикнул лохматый мотоциклист и растопырил «козу».

Агитатор прервался, чтобы поклониться будущему избирателю. Тут встряли мы с Потаповым:

– Разрешите вопрос!

– Да, пожалуйста, – неохотно сказал агитатор.

– Скоро ли революция?

– Революция? – удивленно переспросил он и задумался, внутренним оком сканируя партийные документы. Чтобы завести нужную пластинку, потребовалось секунд пять. – Революция уже назрела! Уже скоро будут сброшены антинародные силы, управляемые американским империализмом и японским монополистическим капиталом! Уже скоро будет открыта дорога к коммунистическому обществу! Революция особенно близка сегодня, после падения советского гегемонизма, так долго компрометировавшего мировое рабочее движение!

– Во дела! – поразился Потапов. – «Советский гегемонизм»! Ну и ну...

– А что такого? – пожал я плечами. – Товарищи идут своим путем.

– Что да, то да. Надо бы товарищам помочь.

– Как именно?

– Ну, допустим, песней. Хорошо пойдет «Гимн коммунистических бригад».

Потапову не надо было влезать в ремни – гармонь на его могучей груди уже висела. Пальцы метнулись к кнопкам, зазвучали отрывистые маршевые аккорды, и под них – наши зычные голоса:

– Бу-дет лю-дям сча-а-а-стье!
Сча-стье на ве-ка!
У со-ве-тской вла-а-а-сти!
Си-ла ве-ли-ка!!!

Агитатор быстро отказался от тщетных попыток нас переорать и лишь неловко переминался с ноги на ногу. Кандидат беспомощно лыбился со своего портрета. Девушки в перчатках и вовсе не знали, что им теперь делать.

– Сегодня мы не на па-ра-де!
Мы к коммуни-зму на пу-ти!
В коммунисти-че-ской бри-га-де!
С нами Ле-е-е-е-нин вперед!!!

Потапов тянул меха так, как ни одному кандидату не снилось растянуть свою белозубую улыбку. Его мокрая штанина подергивалась в такт маршу.

– Мы ве-зде где тру-у-у-дно!
До-рог ка-ждый час!
Тру-до-вы-е бу-у-у-дни!
Пра-здни-ки для нас!!!

Когда гармонь издала заключительный аккорд, молодежь вознаградила нас бурными аплодисментами. Мотоциклист растопырил сразу две козы, а бабушка с клюкой заулыбалась и закланялась. Мы тоже отвечали артистическими поклонами. Тем временем агитационная точка спешно сворачивалась – без единого слова благодарности за поддержку. Агитатор молча демонтировал стенд с портретом и влез в автобус, куда уже попрыгали его стюардессы. Взвыл мотор, машина развернулась, проехала два метра и остановилась – ибо поперек выезда с площадки стояли мы с Потаповым и исполняли «Марш защитников Москвы»:

– Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога-а-а-а!
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!!!

Оксюморонический разгром врага обороной придал нам новых сил. Мы стояли плечом к плечу, с гармонью наперевес, как двадцать восемь панфиловцев, и сдаваться не собирались. На третьем куплете агитатор вылез из машины.

– Простите пожалуйста, – обратился он к нам сквозь песню. – Не могли бы вы нас пропустить?

Гармонь пискнула и умолкла. Потапов сложил на ней руки крест-накрест, свесил кисти вниз – и сделался похож на сфинкса.

– Три загадки! – напыщенно возгласил он. – Если отгадаете, пропустим. Загадка первая: каковы три источника и три составные части марксизма?

– Послушайте, – нервно сказал агитатор. – Нам очень нужно проехать. У нас дела, мы торопимся.

– Не дает ответа! – довольно отметил Потапов. – Тогда вторая загадка: что и как нужно брать – сначала мосты, а потом банки, или же сначала банки, а потом мосты?

– Я не понимаю, о чем вы говорите! – с мукой в голосе произнес агитатор, озираясь по сторонам. – Пожалуйста, пропустите нашу машину!

– Даже не понимает, о чем речь! – обрадовался Потапов. – В таком случае, третья и последняя загадка. Какие три сокровища завещал нам почитать принц Сётоку Тайси в своей «Конституции»?

Агитаторское чело озарилось робкой надеждой. Он еще секунду потоптался в нерешительности, затем наклонился к нам и прошептал:

– Будду, Закон и монахов...

– Bravo! – воскликнул Потапов. – На все три загадки вы ответили адекватно, в точности как и требовалось. Не смеем более вас задерживать. Проезжайте, и пусть на выборах ваш кандидат победит!

Мы посторонились. Бедного агитатора как вакуумом всосало в кабину, дверь захлопнулась, и автобус пулей вылетел с площадки под исторгаемые потаповской гармонью звуки «Интернационала» и тарахтение мотоцикла, который понесся следом и пристроился сзади почетным эскортом. Молодежь улюлюкала. Бабушка махала клюкой.

В магазине нашлась сырая конина, рисовые колобки и соевый творог. Купленное уместилось на футляре от гармошки. Мы сидели с Потаповым на поребрике и закусывали.

– Как ты думаешь, – спросил я, проглотив кусок лошадиного мяса, – когда они свершат свою революцию, то императора стрельнут?

– Нет, – сказал Потапов. – Не стрельнут. Здесь уважают традиции.

– Так вот и я говорю: уважают. А революционные традиции требуют, чтобы монарха порешили. Традицию надо уважить?

– Надо. Поэтому его и не стрельнут. Его заставят харакири сделать.

– Хм... А принцессу?

– Принцессу, думаю, не тронут. – Потапов взглянул на меня. – Если, конечно, ты за нее вступишься.

Я молча потянулся палочками за рисовым колобком.

– Только ничего у них не выйдет, – сказал Потапов. – Вон, они даже не знают, в каком порядке чего брать... То ли с вокзалов начинать, то ли с телеграфа.

– Тогда зачем им все это? – спросил я.

– Что «зачем»? Депутатские кресла? Затем же, зачем и всем.

– Вот, а ты говоришь: «Восток непостижим».

– Так ведь я не про этих... Слушай, до поезда час, может возьмем еще одну?

– Семьсот двадцать?

– Семьсот двадцать.

– Или тыщу восемьсот?

– Или ее!

Из-за тучки вышла луна и просигналила: мол, упьетесь! Мы же и взглядом ее не одарили. Так всегда бывает весной, когда положено любоваться не луной, а цветами. Казалось бы, вишня осыпалась, можно теперь взглянуть и на небо – но нет, все ждут лета, когда будет дана такая команда. Луна обиделась, снова нырнула

в облака и филонила там целый час, пока ей не стало интересно, упились мы или нет. Она вынырнула обратно, посветила тут, посветила там – и нашла нас на железнодорожной платформе. Потапов стоял, широко расставив ноги, и говорил осипшим голосом:

– Сакэ – напиток всем хороший, но вот одно в нем плохо. Скорее лопнешь, чем напьешься.

– В смысле: лучше было бы водки?

– Да ну... Пить под сакурой водку – моветон!

– А чего будем с остатками делать? – я потрянул ополовиненной бутылкой. – Может, с собой возьмешь?

– Не, у меня инструмент тяжелый.

– Так с ним везде и едешь?

– Не то, чтобы везде... Вот, в Японию захотелось взять. Как бы я в Японию приехал без гармошки?

– Ну да, не с гитарой же под сакуру идти...

– Вот именно. А как душу отвели! Давай-ка напоследок еще Дунаевского.

Меха разъехались и заблестели под фонарем, как веер придворной дамы.

– Широко ты, колхозное по-о-о-ле! – загудел Потапов. – Кто сумеет тебя обскака-а-а-ать?

Я взял терцию:

– Ой ты, волюшка, вольная воля-а-а-а! В целом мире такой не сыскать!!!

Ритм отстучали колеса приближающегося поезда. Первый куплет бодро, а второй – с плавным снижением темпа до нуля. Вагонные двери раздвинулись, и вместе с ними в финальном аккорде сдвинулись меха. Гармонь нырнула в футляр. Потапов нырнул в вагон. Обняться не успели.

– Следующая спевка летом в Переславле! – проорал он сквозь стекло. – Жду!

Я пафосно потряс бутылкой в тыщу восемьсот: мол, буду! Поезд тронулся.

– Под ряпушку!!! – успел еще прокричать Потапов перед тем, как смениться сначала мелькающими окнами, а потом неподвижными темными стволами по ту сторону путей.

Рельсы с минуту пошумели и затихли. Ветра не было. Платформа засыпала под одеялом из вишневых лепестков.

Завтра под окнами перестанут орать агитаторы. Послезавтра нальют воды на поля и засеют их рисом. В полях заквакают лягушки, и про них сложат трехстишия. Потом я поеду в Россию, и мы с Потаповым наловим ряпушки в Плещеевом озере. Все идет очень хорошо, когда уважаешь Будду, Закон и монахов.

Сидя на ступеньках платформы, я отхлебнул из горла сладковатой рисовой водки и подмигнул Луне. Она тоже мне подмигнула.

Мы отлично понимали друг друга.

О двойных стандартах

Зададимся таким вопросом: за что математик Потапов любил композитора Мокроусова?

Можно строить разные догадки. Например: за то, что композитор Мокроусов писал замечательную музыку. Или: за то, что его песни знал и пел весь советский народ. Или: за то, что своим творчеством Борис Мокроусов посрамил Кшиштофа Пендерецкого. За то, что он приник к земле, отразил веяния, выразил чаяния, сразил очарованием и заразил горением.

За это, да?

Нет, вовсе не за это. За это можно уважать – так же, как можно уважать Дмитрия Кабалевского или Никиту Богословского. Потапов их как раз и уважал – и Мокроусова уважал тоже. Но любил он его совсем за другое.

Потапов любил Бориса Мокроусова за то, что Борис Мокроусов пропил Сталинскую Премию.

Это произошло в сорок восьмом году. Заслуги народного композитора наконец были признаны на самом верху, – и прямо в Кремле он получил высокую награду. Распорядиться этой наградой можно было по-разному. Например, можно было купить шесть автомобилей «Победа». Или построить пару-другую дач. Или приобрести готовый особняк где-нибудь в Крыму. Ничего этого Борис Мокроусов делать не пожелал.

Вместо этого он рассовал премию по карманам и отправился на Смоленщину, где находился дом отдыха композиторов. Прибыв туда, лауреат не стал тратить время на пустопорожнее общение с коллегами. Он незамедлительно разыскал ближайшее село, где еще функционировал рудимент помещичьего режима под названием «трактир». Зайдя внутрь, триумфатор заказал себе и каждому из присутствующих по двести грамм. Присутствующие несказанно обрадовались, сгрудились вокруг чудака – а узнав, кто их угощает, обрадовались еще более. Слух о гульбе народного композитора разнесся по округе с быстротою трактора. В заведение потянулся народ. Плотники, комбайнеры, милиционеры, доярки, председатели колхозов, директора совхозов, агрономы, механизаторы, комсорги, парторги, лесники и чекисты – все жаждали выпить с автором оперы «Чапай». Вакханалия продолжалась две недели. Район завалил месячный план по молоку и мясу. Трактир выполнил пятилетний. Лишь только когда последний рубль был пропит, Борис Андреевич вернулся в Москву. И стал творить дальше свою прекрасную музыку.

Что рядом с этим Митя Карамазов или Киса Воробьянинов? А из великих композиторов кто еще смог подняться до таких вершин единения с народом и отрешения от земных благ? Решительно никто! Даже Модест Мусоргский, как известно, отживался максимум на падение в канаву. Что уж там говорить о каком-нибудь Даргомыжском.

Один только Борис Мокроусов показал себя истинно народным, истинно русским композитором. И только его одного смог полюбить всей своей душой математик Потапов.

А теперь представим себе, что некий японский композитор, получив премию Его Императорского Величества, немедленно ее пропил. Смог бы такой композитор рассчитывать на одобрение и любовь со стороны Потапова?

Да ни за что! Потапов заклеил бы такого композитора паршивой овцой и никогда бы ему не поклонился. Не говоря уже об исполнении его произведений, публичном или приватном. Потапов не стал бы даже запоминать иероглифы, которыми пишется фамилия такого композитора. «Много чести!» – сказал бы про такого композитора Потапов.

И дело тут даже не в том, что Сталин был тиран и злодей, а Его Императорское Величество являет собой образец добродетельного и богобоязненного монарха. Этого мало. Если бы, скажем, композитор Балакирев, собрав всю свою Могучую Кучку, пропил премию Александра Второго Освободителя, – то и такую акцию Потапов, скорее всего, приветствовал бы, несмотря на всю свою лояльность к царю-реформатору. Ибо в такой акции присутствовал бы здоровый анархический дух, за ней маячили бы тени Степана Разина и Тараса Бульбы.

Дело лишь в том, что товарищ Сталин происходил от сапожников, а Александр Второй Освободитель – от пришлых немецких принцесс. Ни тот, ни другой не вел свой род от богини солнца Аматэрасу. На купюрах, которыми они премировали свою интеллигенцию, не ощущалось божественного отпечатка. И пропить такие купюры было их лучшим применением.

В то время, как пропивание купюр достоинством в десять тысяч иен было бы чистой воды богохульством.

Потаповский взгляд на Японию весь состоял из подобных двойных стандартов. Он считал, например, что японской женщине не пристало входить в горячие избы и останавливать коней. Точно так же, как русской женщине не пристало семенить, красить зубы и ходить за покупками в переднике. В этом вопросе, как и в любом другом, Потапов твердо стоял за национальную идентичность. Поэтому он не любил всяких либералов и социалистов, норовящих эту идентичность порушить. Впрочем, правым националистам он тоже не симпатизировал, имея с ними серьезные разногласия. Самурайские марши, – говорил Потапов, – должны быть написаны в китайской пентатонике, а у этих вместо пентатоники какой-то Агапкин.

Когда мне случалось прямо или косвенно затронуть тезис о межкультурном взаимообогащении, Потапов становился мрачен. Его грызло антагонистическое противоречие. Сам он очень хотел обогащаться за счет других культур, но не мог вынести себя за родные культурные рамки. Получалось, что вместе с Потаповым обогащается вся русская культура. Иногда мне удавалось убедить его, что здесь нет ничего худого, что это не означает потери корней и идет только на пользу, – тут он еще готов был согласиться. Но те же самые доводы применительно к Японии уже не работали. Эту страну он непременно желал видеть автаркичной и самодовлеющей.

Меня радовало и продолжает радовать лишь одно: Потапов и подобные ему никогда не выбьются в сёгуны и не закроют Японию от внешнего мира, как это сделал когда-то Токугава Иэясу. Единственно поэтому гайдзины могут чувствовать себя здесь в относительной безопасности. На сегодняшний день никто не мешает им культурно обогащаться, нежно пестовать свои менталитеты и втихаря подтачивать японскую самобытность под мелодии Глена Миллера и Бориса Мокроусова.

Прекрасная маркиза

По козырьку над входом в управление полиции лупил дождь. Я подрулил как можно ближе, заглушил мотор, выпрыгнул наружу, в два скачка пересек зону, которую простреливали небесные хляби, и толкнул стеклянную дверь. Сидевшие за приемной стойкой девицы сомнамбулически взглянули на мокрого гайдзина и уткнули свои носы обратно в бумажки. Я подошел к той, что выглядела серьезнее других.

– Здравствуйте. Мне тут повестка пришла...

С минуту она вдумчиво изучала мою повестку, водя по иероглифам карандашом. Затем подняла на меня вопросительный взгляд.

– Видите ли, штраф я уже заплатил. Разве это еще не все?

– Подождите пожалуйста, – сказала девица и удалилась в глубину служебных помещений. Минуты три я созерцал настенный календарь с фотографией августейшей четы на Всеяпонском Совещании по безопасности движения. Их Величества глядели на меня ласково и вместе с тем строго.

Когда девица вернулась, за ней следовал важный полицейский чин в синем мундире.

– А-а-а! – радостно закричал он, увидев меня. – Давно не виделись!

– Давно, – повторил я растерянно, пытаясь вспомнить, где мы с ним могли видиться.

– Как здоровье? – участливо осведомился он.

– Спасибо, хорошо. А ваше?

– Да как сказать... Поясница немного... Это от погоды. Дело-то к зиме идет, правда же?

– Да, – согласился я. – Дело идет к зиме.

– Что ни день, то холоднее.

– Совершенно верно.

– А еще недавно тепло было.

– Точно.

– Вот, скажем, неделю назад, когда я вас ловил, очень хорошая погода была.

– Как?

– Я говорю: хороший день был, когда я вас поймал за превышение.

– А, ну да... Вы тогда еще в фуражке были...

– Прошу садиться.

– Не ожидал вас тут увидеть. Думал, вы только на улице работаете.

– Когда погода хорошая, то на улице. А когда плохая, то здесь.

Будь он в фуражке, я его, конечно, узнал бы. Этот страж японского закона заинтриговал меня еще тогда – я никак не мог понять, кого он мне так напоминает. С чьего портрета утащил он этот мясистый с горбинкой нос, лесистые брови холмиком и дырочки глаз, с трудом проколупанные в перепаханном жизнью лице. Только теперь, когда он степенно опустился в кресло, поместив обширный живот между двух натруженных колен, и улыбнулся мне доброй хитроватой улыбкой, – я вспомнил. Ну конечно же, передо мной сидел вылитый Леонид Осипович Утесов на склоне лет. Именно таким я успел запомнить великого артиста, один раз виденного мною в глубоком детстве в передаче «Голубой огонек».

– Как подруга? – спросил он.

– Какая подруга? – не понял я.

– Ну, гаруфрэндо! Которая с тобой ехала. – Он поднял руки и запрокинул голову назад, изобразив сладкую истому спящей Венеры. Так в его воспоминаниях выглядела Дженни, загорававшая на травке у машины, пока он тиранил меня со своим протоколом.

– Это не совсем гаруфрэндо. Так, знакомая...

– Знакомая, – повторил он и расплылся в улыбке, точно готовый запеть «Как много девушек хороших». – Американка?

– Англичанка.

– Замечательно! Вы тогда как доехали? Без происшествий?

– Да, все нормально. Я, вообще-то, по повестке...

– Это не сюда повестка. Это в префектуральный центр.

– А зачем?

– Так ведь тут написано: для приостановки действия водительских прав.

– Как это? В суде мне сказали: штраф, пятьдесят тысяч. Я заплатил...

– Штраф – это само собой. Это по другой линии. Штрафы идут в бюджет. А мы занимаемся правами.

– На какой же срок мне их приостановят?

– Не знаю. Это там будут решать. Может, на месяц, может, на два. А может, на полгода.

Эх, Дженни, подумал я. «Катались мы с тобой, мчались вдаль с тобой»...

– Сильное превышение, – объяснил он. – Больше тридцати километров. – Весной было еще одно, поменьше, вот отметка.

– Помню, – сказал я. – Пятнадцать тысяч.

– Тогда тоже с англичанкой ехал? – спросил он и хитро сощурился. Он был большой психолог. Он почти угадал.

– С канадкой, – ответил я.

– Вот видишь... Теперь ничего не поделать. Закон! Дорогу знаешь?

– Тут карта нарисована, найду...

– Обратно тебе нельзя будет рулить. Ты уже без прав будешь.

– Как же быть?

– Возьми кого-нибудь. Гаруфрэндо возьми. – Он снова изобразил Венеру. – Пусть она тебя обратно отвезет.

– Она работает утром. Ей никак.

– Ну, возьми кого-нибудь другого. У тебя что, друзей нет?

– Все работают, – сказал я. – Поеду на автобусе. Туда автобус ходит?

– Ходит, только не так рано. Тебе ведь к восьми тридцати.

– А поезд?

– Сейчас узнаем. – Он подозвал одну из девиц. – Глянь-ка поезд на завтра.

Девушка порылась в своих бумажках, нашла расписание и принялась водить по нему мизинчиком вправо-влево. Инспектор покосился на нее, нетерпеливо поерзал, затем наклонился вперед, поманил меня и зашептал:

– Ты это... Садись, да поезжай. Тут ведь недалеко, за полчаса доедешь. Только не паркуйся у них под окнами. В сторонке где-нибудь. И не гони, а то опять поймают, и тогда кранты.

Я смотрел на него недоверчиво. Видя мои колебания, он ободрительно подмигнул мне всем своим мужественным лицом.

– Да ничего страшного, все так делают! Нормально!

Это звучало примерно так же, как если бы Леонид Осипович Утесов, отыграв идеологически выдержанную программу из Соловьева-Седого и Дунаевского, на прощание забавлял песню про двух урканов с одесского кичмана.

– Поезд очень неудобный! – сообщила девушка.

– А нам его уже не надо! – весело ответил инспектор. – Разобрались!

Поднявшись со стула, он протянул мне обратно мою повестку, отечески оглядел меня с головы до ног и с мягким нажимом повторил:

– Не гони!

Идя к дверям, я чувствовал на затылке ласковый напутственный взгляд Императорских Величеств.

* * *

Стрелка спидометра держалась на пятидесяти. Дворники неспешно разгоняли влагу с лобового стекла. Я двигал рулем и размышлял.

Кто даровал представительницам западных демократий эту колдовскую власть над моим автомобилем? И кто лишил такой власти дочерей азиатского континента? Почему, стоит мне взять в салон американку или уроженку туманного Альбиона, как меня тут же стопорят за превышение скорости? В то время как коренных жительниц здешних мест я могу загрузить хоть полдюжины, без малейшего ущерба для водительских прав и кошелька. В чем тут заковыка?

Проще всего было бы малодушно свалить все на полицейских, обставив дело так, будто бы две иностранные физиономии за лобовым стеклом раздражают их сильнее, чем одна. Но трезвый взгляд свидетельствовал, что другие гайдзины преспокойно разъезжают на своих автомобилях с женами и детьми, а штрафов платят не больше моего. Или даже не платят вовсе.

Оставалось признать, что причина лежит в физиологии. Желая я того или нет, но сидящая рядом леди с берегов Гудзона или Темзы всякий раз бомбит меня какими-то особыми флюидами, от которых во мне просыпается джигит и нарушитель. С другой стороны, почему мой джигит не просыпается в иных ситуациях? Почему он молчит в ответ на японские флюиды? Не означает ли это наличия во мне какого-нибудь скрытого, латентного расизма? Если так, то с этим нужно бороться. Нужно выдавливать из себя расиста. Нужно посадить в машину

японку, выехать с ней на хайвэй и выжать сто семьдесят. Жаль, что у меня сегодня отберут права – придется ходить расистом лишний месяц, а то и больше.

Впрочем, нет. Если бы дело состояло только в принадлежности к европейской расе, то сюда попадали бы и соотечественницы. Но они сюда не попадают. Взять хотя бы Шишкину – ни единого разу не будила она во мне внутреннего джигита. Она, скорее, будила во мне внутреннего евнуха. А внутренний мой джигит имеет подозрительную англосаксонскую ориентацию. Следовательно, никакой это не расизм. Это гораздо хуже – это низкопоклонство перед Западом.

Точно. Вот, скажем, под какую музыку я сейчас еду? Под сборник лучших песен Бориса Мокроусова в исполнении моего друга Потапова. С этой музыкой стрелка держится на пятидесяти километрах и даже норовит съехать на сорок. А если вынуть Потапова и засунуть какого-нибудь Ван Халена, или Роббена Форда, или, там, Чаку Хан, – стрелка моментально подскочит до семидесяти. Если же к музыке присовокупить разбитную западную леди, которая будет подпевать, подщелкивать пальцами и косить на меня веселым глазом, – то тут уж и сотней не обойдется, тут уж подымай до ста двадцати и жди, пока на дорогу выскочит Леонид Осипович и замашет своей дурацкой палкой.

Стало быть, надо бороться с низкопоклонством. Надо навести порядок в бардачке с кассетами. Выкинуть оттуда все эти буги-вуги с фанки-блюзами, все эти рокабилли с босановами, весь трэш и весь гранж, всю самбу и всю румбу. А взамен наложить Александры Пахмутовой, Ивана Козловского и Юрия Богатикова. Тогда появится шанс на то, что подруга соскучится, закроет носом, вместе с ней закемарит мой внутренний джигит, – и тогда я протелепаю мимо полицейского поста вызывающе медленно, пристегнутый на все ремни и пуговицы, скалясь инспектору в открытое окно и глуша его песней «Валенки» в исполнении Лидии Руслановой.

А протелепав, на прощание библикнув и скрывшись за поворотом, – я сброшу валенки в бардачок и заведу третий альбом Лед Зеппелин, который открывает знаменитая “Immigrant Song”, «Песня гайдзинов». И, когда призывно загрохочут барабаны великого Бонзо, я пришпорю дроссель, взнуздаю бензонасос, хлестну коленвал, пригнусь в галопе – и поймаю левым виском обжигающий взгляд пробудившейся спутницы.

* * *

Так вырастает Пирамида Хеопса перед взором изумленного бедуина. Так моряк-подводник в ужасе отшатывается от перископа, вплотную увидав обшивку вражеского крейсера. Так возник передо мной, явившись из дождя и тумана, Префектуральный Центр Водительских Прав.

Это был гибрид Пентагона и Кремля. Многоэтажная громада из серого бетона с прилепившейся к ней гигантской каланчой в стиле ложного барокко. Казалось, ландшафт трещит и стонет под железной пятой этого архитектурного монстра, подмявшего под себя рисовые поля и огороды с редькой. Рассыпанные окрест фермерские домишки в ужасе взирали на непрошенного гостя, но не находили в себе моральных сил попросить его вон. Там и сям между домишками спрятались и затаились автомобили нарушителей. Они думали, что с каланчи их не видно.

Приехал я поздно вато – все мыслимые и немыслимые потайные места были забиты. Оставлять машину где-нибудь совсем далеко означало бы вымокнуть под дождем и опоздать. Поплутав по местности минут десять, я отчаялся, произнес волшебное слово «авось» и зарулил на стоянку Центра. Она была наполовину заполнена автомобилями предусмотрительных граждан, приехавших со своими женами, друзьями и гаруфрэндами. Я встал поближе к выезду, под самой каланчой, уподобясь птичке, которая ковыряется в зубах у бегемота.

За двойными стеклянными дверями меня встретила шеренга из четырех недурных собой молодых гаишниц. Радужно и синхронно поприветствовав меня, они задали вопрос:

- Лекцию слушать будете?
- А что, обязательно? – поинтересовался я.
- Все слушают.
- И это долго?
- Три часа.

Чуть поколебавшись, я согласился. Как-никак, после лекции я выйду на улицу в толпе. За толпой уследить труднее. Меньше риска. А три часа вытерпеть можно.

Гаишницы выделили из своего состава провожатую, которая отвела меня на второй этаж, к окошечку с надписью «Касса».

- Тринадцать тысяч иен, – сказала окошечко.
- За что?
- За лекцию.

Скрипнув зубами, я заплатил. В следующем окошечке у меня изъяли права, еще в одном – дали заполнить анкету. Провожатая довела меня до лекционного зала, вручила жетон с номером 205 и распрощалась. Я отыскал двести пятое место, уселся за парту – и лекция началась.

Широкий амфитеатр лекционного зала сходил к кафедрам. Нарушители заполнили его равномерно и плотно. Сразу несколько полицейских чинов, рассредоточенных по периметру, держали аудиторию в поле зрения. Вид у них был строгий, доброжелательный и неподкупный. Они вели себя подчеркнуто статично и скромно, они работали кордебалетом, оттеняющим достоинства солиста. А солист – тот старался за десятилетия.

Это был настоящий Аркадий Райкин. Он показывал сразу всех и вся. Он был водителем и регулировщиком, грузовиком и мотоциклом, светофором и шлагбаумом, ревом мотора и визгом тормозов. Он крутил руль и выжимал газ, играл в мячик на проезжей части и перебежал на красный свет, давил пешеходов и бывал задавлен сам. Он последовательно перевоплощался в разудалого лихача, горького пропойцу, невнимательного чайника и злого хулигана – чтобы затем предстать перед нами в облике сурового инспектора, нахмуренного врача, рыдающей жены и растерянных соседей. Театр Кабуки дорого заплатил бы за такого многогранного артиста – но здесь, видимо, платили больше.

Призрак великого русского сатирика витал над кафедрой целых полтора часа.

«В Греческом зале, в Греческом зале... Тьфу-тьфу-тьфу, извините, я на вас наплевал... Я плохо кофору по-русски, я приехал сюда из Петрозаводска... Езда со скоростью – поверьте! – почти всегда пидиводит к смедти... Ах, Аполлон, ах, Аполлон!...»

Объявили десятиминутный перерыв. Благодарная публика наградила оратора аплодисментами, зашебуршалась и потянулась к дверям. Я тоже счел за благо слегка размяться. Заполнившие коридор нарушители чиркали зажигалками и выпускали в кондиционированный воздух мутные табачные выхлопы. Сквозь дым виднелись автоматы с питьем. Пробившись сквозь толпу курильщиков, я сунул в щель три дырявые монетки по полсотни иен и заполучил банку кока-колы. Она была увесистой и запотевшей. Из дырки, как из сопла огнетушителя, хлынула бурая пена. Я с хлюпом подобрал ее губой, втянул жидкости, дал погулять во рту и отправил внутрь.

Курильщики продолжали чадить. Они делали это отрешенно и задумчиво. Дым окутывал их седеющие головы и серые пиджаки. Картинка была бы черно-белой – если бы не единственное цветное пятно.

Пятно находилось в двух метрах от меня и тоже предавалось табакокурению. Сигарета смотрела вверх, будучи небрежно зажата пальчиками, ногти на которых были покуда короче самой сигареты, но по мере докуривания грозили стать длиннее. Изумрудно-ядовитую зелень ногтей оттеняли многочисленные колечки – блестящие и тускловатые, с камушками и без – на одном лишь мизинце я насчитал их три штуки. Дальше следовали браслеты, доходящие до бицепса. Они строго соответствовали семи цветам радуги, но шли вразнобой – «фазан знать желает, охотник сидит каждый где». Их мельтешня находила успокоение на плече, где притулился маленький скорпиончик, вытатуированный в скромной палитре трех цветов светофора.

Я отхлебнул еще кока-колы и продолжил осмотр. Самое интересное располагалось внизу – там, где кончались ноги. Они кончались сантиметров за тридцать до пола, а дальше шли платформы. Хотя это уже были никакие не платформы – это были самые настоящие ходули. Они занимали половину от высоты сапог. Верхняя же половина имела раздутый клоунский носок и шнуровку по всему голенищу. Все это сообщало обуви модный и современный вид. Из сапог выглядывали две худые ноги, которые причудливыми линиями тянулись вверх, исчезая под оранжевой мини-юбкой. Затем из юбки выныривали несколько сантиметров открытого живота, уходившие под розовую маечку. Поперек маечки, на ровной, ничем не возмущаемой поверхности, размашистыми синими буквами было начертано:

**DON'T FUCKING !!!
KILL YOUR SELF !!!**

Я набрал полный рот кока-колы и с полминуты пялился на диковинную надпись, пытаясь проникнуть в ее смысл. У меня ничего не получилось. Тогда я проглотил колу, и перевел взгляд чуть выше. Глаза тут же запутались в бусах и ожерельях. Ниточки и шнурочки, цепочки и ремешочки, крестики и пацифики, камушки и ракушки – все это составляло какой-то единый большой колтун. Выбивался из колтуна только сотовый телефон, который свисал до самого пупа.

Обладательница всего этого хозяйства не обращала ни малейшего внимания на мой сверлящий нескромный взгляд. Устремив к потолку граммофонные раструбы накладных ресниц, она чувственно выпячивала перламутрово-сизые губы, жадно охватывала ими сигаретный фильтр, истово затягивалась и расслабленно выпускала струйку дыма. Ничего значительнее, выше и чище этого процесса для

нее на текущий момент не существовало. Только так надлежало курить девушке из породы *гангуро*.

А она была настоящей *гангуро*. Строго говоря, ее гангуровость бросалась в глаза мгновенно, значительно быстрее, чем все браслеты, ракушки, ходули и скорпионы, вместе взятые. Ибо так уж инертно наше сознание, так уж плохо мы поддаемся императивам цивилизации и политкорректным уговорам, что по старинке норовим подметить в человеке не что-нибудь этакое важное, а всего лишь цвет его кожи. Сначала цвет кожи, а уже потом – какие на человеке татуировки и на каких он передвигается ходулях. В нас еще очень много латентного расизма.

Генетически она принадлежала к желтой расе. Но слово «желтый» имело к ней не больше отношения, чем слово «белый» имеет к белому вину. Ее руки, ноги, лицо и живот были выкрашены в цвет кофе с капелькой молока. Будь она лошадь, ее отнесли бы к саврасым – или даже гнедым. Загореть до такой степени можно было только за год непрерывного лежания на песке Сахары – либо за несколько сеансов облучения в солярии, с продуманным наложением специального крема. Вторая версия казалась более убедительной. Сахара была далека, а солярии – близки и многочисленны, особенно теперь, в пору триумфального шествия этой странной моды.

С тех пор, как *гангуро-гару*, «чернолицые девушки», замелькали на улицах японских городов, я много раз задавался вопросом об их идеологических корнях. Какая сила бросала десятки тысяч молодых девок под кварцевые лампы? Что они хотели этим выразить? Под кого шел закос? Я приставал с расспросами к самым разным людям, которые казались мне сведущими – и всякий раз получал разные ответы. Одни усматривали в этом феномене таинственный зов Африки, находя его то в темнокожей супермодели Наоми Кэмпбелл, то в музыке хип-хоп. Другие ссылались на поп-звезду Намиэ Амуро, окинавскую внучку итальянского дедушки, которая первой додумалась чернить лицо и осветлять губы, становясь похожей на негатив. Третьи многозначительно произносили: «Мода!» – и постукивали себя пальцем по лбу. Единого мнения не наблюдалось.

Теперь, увидев перед собой этот замечательный экземпляр, я вновь задумался. Дело в том, что экземпляр имел в своем строении одно заметное отличие от виденных мною ранее. Попадавшиеся мне доселе чернолицые девушки меняли цвет не только кожи, но и волос. Для достижения полной негативности волосы обесцвечивались, делались рыжими, льняными, седыми, а как редкий случай – синими. У этой же волосы не просто оставались черными – они еще были заплетены в полсотни растаманских косичек. Само по себе это не было чем-то невиданным – мне приходилось встречать японок, фанатеющих от Боба Марли и ходящих круглый год в бесформенных вязаных шапках. Ничто не мешало им для полноты имиджа добавить косички – и некоторые действительно добавляли. Но только косички, не загар! Ни единого разу я не видел, чтобы самозабвенная любовь к ямайским ритмам сопрягалась бы с эстетикой гангуро.

Теперь же новый поворот темы ставил все на свои места. Африканская версия обретала логическую завершенность. Черная музыка – черная кожа. Мы будем слушать и будем загорать. Черные братья заплели дреды – мы тоже заплетем. Черные сестры высоки ростом – ничего, встанем на ходули и сравняемся. А когда выбелим губищи синей помадой – то вообще станем как вылитые, родная мать

не отличит. Такая последовательность мыслей была мне вполне понятна и даже чем-то симпатична.

Конечно, частный случай мог и не отражать сути всего явления. Даже наверняка он ее не отражал. Ведь тысячи других девиц ходили рыжими, а косички видали в гробу. Но то были девицы, тупо следующие моде, с вялым воображением и боязнью оказаться «не как все» – а тут передо мною стояло и курило живое воплощение независимой мысли, олицетворенный вызов стадному инстинкту, ходячая модель нонконформизма и преданности идеалам. Каждая ее косичка кричала, что любимой музыке можно и нужно отдать решительно все – вплоть до расовой самоидентификации. Каждая ее затяжка раскачивала межкультурные барьеры и сдувала с мозгов пену национальных предрассудков. И с каждым глотком кока-колы я проникался к ней все большей и большей симпатией.

К последнему глотку сигарета в ее пальцах стала короче ногтей. Вертя в руках пустую банку, я шагнул к мусорному контейнеру, прицелился – и неожиданно встретился с ней глазами.

– Хеллоу, систер! – сказал я.

Она вынула сигарету из рта и посмотрела на меня, как самурай на вошь. Мастью я определенно не вышел. Тут требовалось быть гнедым – а я был каким-то чалопегим. Не помогла ни кока-кола, ни улыбка до ушей.

Окурок полетел вслед за банкой. Она похлопала ресницами, словно прогоняя нелепое виденье, потом легонько оттолкнулась от стены и двинулась обратно в зал, куда уже порулили отдохнувшие нарушители. Ее походка напоминала игрушечного бычка на наклонной доске.

Публика заняла места – и снова начался театр эстрадных миниатюр.

«Давайте же с вами рассмотрим, как он устроен – этот Проклятый Самогонный АППАРАТ!.. Это ж двадцать два бугая!.. Кто свистнет, кто звякнет, кто стукнет, кто брякнет... Вкус – специфичный!»

Лектор был упоен и блистателен. Аудитория внимала ему, затаив дыхание.

«Тут у меня и с конусом, и со змеевиком... Балеринушка-лошадушка, крокодил кривоногий... Ты привяжи к ней динаму, пушай ток дает!.. Родил – на том спасибо!.. И мы кидаем эти снасти в воду, и динамит взрывается...»

Еще полтора часа пролетели, как соловей над Камой. Сорвав напоследок бурную овацию, лектор уступил кафедру главному церемонимейстеру, который объявил перерыв на обед. После обеда надлежало разбиться на группы и приступить к сдаче экзамена.

Несколько сбитый с толку известием об экзамене, я позволил толпе подхватить себя и унести в сторону столовой. Там потчевали комплексными обедами. Сидя над своим подносом и вдыхая пар, поднимавшийся из плошки с рисом, я краем глаза следил за давешней чернолицей нарушительницей в другом конце зала. Было видно, как непросто ей при таких ногтях держать палочки.

Экзамен начался с психологического тестирования. Вся наша группа сидела, высунув языки, и письменно отвечала на каверзные вопросы.

«Существенна ли для вас марка вашего автомобиля?»

«Помните ли вы наизусть технические характеристики двигателя?»

«Ограничены ли возможности вашей машины качеством японских дорог?»

«Считаете ли вы, что быстрое автовождение повышает вашу сексапильность?»

Я раскусил их коварный замысел и на все вопросы отвечал отрицательно.

«Заносит ли вас на поворотах?»

«Не заносит».

«Знакома ли вам фамилия Шумахер?»

«Незнакома».

«Вы ненавидите пробки?»

«Я их люблю».

Наши листочки собрали и унесли, а нас запустили в специальный зал и рассадили на тренажерах. Они были словно выпилены из настоящих машин весьма дорогостоящих марок – только вместо лобового стекла висел дисплей.

По команде экзаменатора я завел мотор и как бы тронулся. По дисплею побежала разметка. Вдали на краю тротуара стояли две фигуры. «Это неспроста», – подумал я и сбавил скорость. Решение оказалось верным. Едва я подъехал к ним поближе, как они со всей дури кинулись мне под колеса. Я врезал по тормозам и уберег их от верной смерти. Тем временем с соседних тренажеров доносились стуки и крики – виртуальные самоубийцы гибли под колесами тех тестируемых, чья реакция была хуже.

«Каково ей с ее ходулями жать сейчас на педали?» – подумал я.

Второе и третье задание касались маневрирования. Они были проще и крови не вызвали. Сложным оказалось четвертое. Выполняя его, я должен был подъехать к перекрестку и повернуть направо. Сделать это мешал огромный встречный грузовик, который следовало пропустить. Он стоял с той стороны перекрестка и трогаться не желал. Я мигнул ему фарами. Он мне тоже мигнул. Я бибикнул. И он бибикнул. Я махнул рукой. На повторение этого действия его электронных мозгов не хватило. Мои товарищи уже все с грохотом поразбивались и ждали меня. Грузовик все не двигался. Тогда я осторожненько газанул и медленно начал входить в поворот перед его носом. В ту же секунду из-за грузовика вылетел шальной мотоциклист, тупо стукнулся об меня и картинно растянулся на асфальте. Экзамен завершился.

Нас снова завели в лекционный зал и велели ждать. Мощные компьютеры обрабатывали наши данные. По каждому из нас вычислялся индекс лихачества и коэффициент пофигизма, градус антипешеходности и степень тормознотости. Строились таблицы, и рисовались графики. Результаты заносились в базу данных. Мы терпеливо ждали.

Наконец, в дверях появился гонец с охапкой распечаток. Их раздали по рукам. В моей анализировались причины аварии – компьютер полагал, что я должен был трогаться еще медленнее. Спорить с компьютером не хотелось. Тем более, что оценку он мне поставил не самую низкую.

На кафедру вошел очень важный гаишник – видимо, изрядный чин.

– В соответствии с параграфом восемь статьи сто третьей Правил Дорожного Движения, – сказал он со значительностью, – нарушители, прослушавшие лекцию и сдавшие экзамен, лишаются прав на укороченный срок. А именно: на один день. Раздача прав состоится сию же минуту.

Это было для меня неожиданным и приятным сюрпризом.

– Цугава Кацуо Сан! – возгласил гаишник первое имя.

С задних рядов к кафедре просеменил седовласый дедушка. Он принял вожденную карточку, поклонился и зашепшил к выходу.

– Сагава Мацуо Сан!

Из второго ряда вынырнул чернопиджачный клерк с волевым подбородком, получил права и исчез в дверях.

– Агава Нацуко Сан!

Над рядами причесанных голов выросла расхристанная метелка ямайских дредлоков. Чернолицая девушка по имени Нацуко, осторожно перебирая ходулями, начала опасный спуск вниз по ступеням амфитеатра. Неловкое падение с вывихом голеностопного сустава было так близко, так грубо и зримо, что весь зал следил за ней с замиранием. Свой путь она проделала почти безупречно – лишь один раз ей пришлось ухватиться за чей-то стол, едва не обломав ногтей. Пластиковая карточка стала ей наградой за смелость и ловкость.

Дойдя до следующего имени, гаишник насупился, наморщился, покрутил головой, подвигал губами. Потом медленно произнес:

– Уадыму Суморэнсуки Сан...

И растерянно оглядел аудиторию.

– Хай! – воскликнул я, сбежал вниз и встал перед ним навтыжку.

– Вот, пожалуйста, – протянул он мне права. – Будьте осторожны.

– Спасибо. Уже можно водить?

– Можно. С завтрашнего дня.

– А сегодня?

– Сегодня нельзя. Вот, тут у вас отметка стоит.

– А... Понятно...

Он нахмурился, напыжился – и со всей возможной вескостью повторил:

– **Сегодня – НЕЛЬЗЯ !!!**

Его строгий взгляд чуть не прожег мне дырку во лбу.

* * *

Моя серебристая Хонда ждала меня у подножия каланчи, после дождя вся покрытая блестящими капельками. Садиться за руль я не торопился – ждал, пока стоянка заполнится народом, сделав меня незаметнее. Амнистированные нарушители мало-помалу вылезали на улицу. Кто уходил в поля и огороды, кто собирался у остановки автобуса, кто ловил такси. Иные звонили женам и гаруфрэндам с просьбой приехать и забрать.

Пока их не накопилось в достаточном для маскировки количестве, я изучал каланчу. Ее функциональное назначение было мне совершенно непонятно. Стены состояли из бетонных блоков с квадратными отверстиями, сквозь которые виднелась лестница, спиралью уходящая ввысь. На нее хотелось подняться – но специальная надпись запрещала посторонним вход внутрь. Что делали внутри непосторонние, оставалось загадкой – ведущую к лестнице дверь явно не открывали целую вечность. На двери висел заржавевший амбарный замок, а сама она была вся исписана похабными иероглифами. У огороженных палисадником стен во множестве валялись окурки и банки из-под кока-колы.

Я поразмышлял о тщете глупых устремлений нашего железобетонного века. О технократическом безумии и о забвении святынь. Здесь мог бы сейчас стоять деревянный синтоистский храм и торговать амулетами от дорожно-транспортных происшествий. На замок его не запирали бы, а вокруг бы не гадили. Бросали бы пяточки, дергали бы за веревочку, общались бы с богом дорожного движения. А потом, умиротворенные и тихие, рулили бы восвояси – медленно и ненапряжно, без амбиций и претензий, без суетных помыслов о кубиках и лошадиных силах.

Увы нам, заблудшим. Увы, богооставленным. Наш удел – не пяточок и не веревочка. Наш удел – тринадцать тысяч иен за выступление Аркадия Райкина и бетонная каланча, от которой хочется убежать на пятой передаче, у кого она есть. А у кого нет – тихонечко уползти на цыпочках. Чтобы не поймали и не опустили на новые тринадцать тысяч.

Боги не живут в башнях из бетона. Боги могут жить только в одноэтажных деревянных строениях. Это понимали даже древние. А нынешние архитекторы этого не понимают. У нынешних архитекторов одна забота – освоить проектные деньги. Храм ты строй хоть из палисандра – всего фонда не освоишь. А тут одна каланча, и бабки подбиты. И никому нет дела до того, что бог дорожного движения летает по небу бездомный.

Я взглянул на небо. Бога спрятали тучи. Каланча нависала надо мной, как голова бронтозавра. На выход мимо меня двигались машины, ведомые женами и гаруфрэндами. В окнах главного здания ничего подозрительного не наблюдалось. Пора было садиться и ехать.

На самом выезде со стоянки мне пришлось затормозить. Где-то впереди зажегся красный светофор и остановил всю цепочку. Его было плохо видно, и я высунул голову в окно. Но увидел совсем другое.

У края дороги стояла чернолицая девушка по имени Нацуко и звонила по сотовому телефону. От меня до нее снова были два метра – и с них я разглядел пупырышки гусиной кожи на ее оголенном животе. Она мерзла. Губы из сизых превратились в белые. Сочленения ног с ходулями тряслись, как колени штангиста. Даже трехцветный скорпиончик на ее плече – и тот съежился от холода.

Девушки гангуро исповедуют и провозглашают вечное лето. Но в гористых районах северно-восточной Японии очень непросто следовать этому девизу. Поэтому здесь они встречаются реже, чем на равнинах юго-запада. А те, которые встречаются – настоящие подвижницы, готовые заживо замерзнуть. Под метелью, под наледью, под минус десятью – у них вечное африканское лето. Мини-юбка навсегда.

Телефон у нее не отвечал. Она оторвала его от уха, потыкала в кнопки суставом согнутого пальца, снова приложила – бестолку. Абонент вымер как вид. Дрожа всеми своими колечками, цепочками и косичками, она затравленно повела вокруг взглядом – и наткнулась на меня.

– Садись! – сказал я. – Подвезу.

На мгновение она перестала дрожать, так сильно я ее удивил. Тем временем светофор сменился на зеленый, и поток тронулся. Впереди образовалась брешь.

– Садись, – повторил я. – Холодно ведь!

Она затряслась пуще прежнего. Сзади бибиликнули. Я проехал несколько сантиметров и снова встал.

– Поедешь?

Она двинулась походкой зомби вокруг моей машины. Я открыл ей дверь. Она села, втянула внутрь ходули, захлопнулась – и мы стартовали.

– Тебя везти-то куда? – спросил я.

– Курить можно? – был ответ.

– Можно.

Дрожа ногтями, она воткнула сигарету меж одубевших губ и судорожно щелкнула зажигалкой.

– Куда ехать? – повторил я вопрос.

Она затянулась, медленно повернула голову в мою сторону, два раза хлопнула ресницами и сказала:

– Вот скотина какая...

– Кто? – не понял я.

– Бойфрэндо.

– Не приехал за тобой, что ли?

– Ага... Убью гада.

– Ты где живешь?

Она снова затянулась, немного подумала и сказала:

– А ты где?

Единственно верный ответ сразу пришел мне в голову.

– У жены.

– М-м-м-м-м... – понимающе промычала она и еще раз затянулась.

Из динамиков лились звуки гармошки.

– Милый мой живет в Казани, – голосил Потапов, – а я на Москве-реке...

– Слушай, – сказал я ей. – Может, тебя до бойфрэнда подкинуть? Раз уж ты его убивать собралась. Я бы тебе помог...

– Зараза! – крикнула она, схватила сотовый и опять принялась звонить. И опять безуспешно. Бойфрэндо куда-то подевалось.

– А куда мы едем? – спросила она, выключив телефон.

– А куда тебе надо?

Ответ потребовал некоторого времени.

– Поедем караоке петь, – объявила она после раздумья.

– Нет, – сказал я. – Не пою, безголосый.

– Тогда поедем гамбургеры есть.

– Обедали же недавно!

Она посмотрела на меня разочарованно.

– Ты скучный... У тебя квартира с телевизором?

– ...Об Ванюше размечталась, – горланил Потапов, – до Казани доплыла!..

– С телевизором, – сказал я.

– Это кто поет?

– Мой друг.

– А хип-хоп у тебя есть?

– У меня есть песня «Убили негра».

– Фу!

– Поищи сама, – я махнул рукой в сторону бардачка. – Может, найдешь чего.

При попытке открыть бардачок у моей попутчицы отклеился ноготь. Бормоча ругательства, она полезла его искать. Плечи провалились меж двух коричневых коленок, торчащих высоко, как у сверчка. Косички свесились до самого коврика. Доносилось пыхтение и жалобы.

Я тем временем вырулил на широкую и прямую четырехполосную дорогу. Каланча давно скрылась из вида. До дома оставалось минут двадцать. Все шло нормально.

Ноготь не отыскался. Девушка по имени Нацуко вернулась в вертикальное положение, несчастная и надутая. Взглянула на дорогу, потом на меня, потом на спидометр.

- Медленно едешь!
- А зачем быстрее?
- Люблю, когда быстро. И бойфрэндо любит.
- А я не люблю.
- Скучный ты какой-то...
- Лучше скажи, куда тебя везти.

Она не ответила. Она безотрывно смотрела на дорогу, точно сияясь что-то разглядеть. И вдруг прошептала:

- Солнце...

В сотне метров впереди кончалась тень от тучи, под которой мы ехали. Дальше начиналась солнечная полоса – мы должны были въехать в нее через считанные секунды. Но не тут-то было. Туча плыла по небу с той же скоростью, что и мы. Размытый край тени улепetyвал от нас, как фантик на веревочке. Дитя лета, сидевшее рядом со мной, не могло выдержать этой пытки. Оно обратило ко мне свои глаза – и в этих напомаженных, оклеенных ресницами и присыпанных блестками глазах я прочел отчаянную мольбу.

– ...В нашей жизни всякое бывает, – неслось из динамиков. – Набегает с тучами гроза...

Потапов не годился. Здесь Потапов определенно не тянул. Требовалось что-то другое. Я потянулся рукой к бардачку – и наткнулся на острые коленки. Доступ к бугам и вугам был заблокирован. Тогда я просто нажал кнопку FM. По местному радио могли гонять что-нибудь подходящее.

Воздух в салоне завибрировал от пронзительного свиста японской флейты. Ее виртуозно-тоскливый пассаж затих – и сразу рывкнуло с десятков крепких мужских глоток. То ли «Ух!», то ли «Эх!», то ли нечто среднее – мол, дадим вам прикурить, держитесь! И следом дробь одинокого исполинского барабана – сначала тихая и частая, сливающаяся в гул, а потом потихоньку все разборчивее, все громче, все яростнее. Последний удар был страшен, он предвещал недоброе – и не зря, ибо сразу после него случилось вот что: из плывущей над нами тучи вынырнул бог дорожного движения, подлетел к нам сзади и дал пинка под бампер.

Не успели остальные инструменты вступить, как их перекрыл рев моего двигателя. Его бесхитрое соло подчинило себе рваный барабанный ритм. Ребята не удивились, они знай себе лупили палками по воловьей коже, знай рассыпались дробным грохотом. Я же налег на педаль газа, приблизился к заветной черте, уже был готов пересечь ее – но тут бог снова взмыл вверх и изо всех сил дунул туче в паруса.

– Не пошел в храм?! – орал он мне сверху. – Не купил амулет?! Пятачок в ящик не бросил?! Теперь побегай!

– Так ведь храма-то не было, боженька! – кричал я в окно.

– Ничего не знаю! – отвечал боженька и дул на тучу.

– Поймают же меня!

– И правильно сделают! – Бог снова спланировал вниз и дал мне второго пендаля. В крови моей закипел адреналин, я разозлился на бога, разозлился на тучу, разозлился на весь мир – и выжал газ до самого упора.

Ускорение вдавило нас в спинки кресел. Двигатель застонал, набирая новые обороты. Мы разогнались по пустой правой полосе, минуя идущих по левой. Вжик... Вжик... Вжик... Убежавшая было граница света и тени приближалась опять – и божеской дыхалки уже не хватало, чтобы ее отодвинуть. Ближе... Еще ближе... Вот оно, уже на капоте... Ну!..

Есть! Мы вырвались из промозглой осени под солнечные лучи, в объятия уходящего лета. Барабаны грохотали, как стадо бизонов. И впереди этого стада безудержным галопом неслись двое – саврасая кобылица и чалый жеребец. Атмосферу над нами зигзагами рассекал неистовый бог дорожного движения – он хохотал, рычал и молотил себя ладонями по пузу. Моя спутница бешено трясла заплетенной в косички гривой и визжала от восторга.

Да какая же японка не любит быстрой езды? И как я мог не понимать этого ранее, как мог не видеть? Лишь теперь я проникся этим, лишь теперь, когда на скорости летящей пули она схватила меня за загривок, обдала влюбленным взглядом и закричала: «Крутой, крутой!..». Оба наших глупых расизма – мой латентный и ее заемный – сейчас выдавливались из нас, как на центрифуге, перемешивались, аннигилировали – и добавляли автомобилю реактивной тяги.

Эх, Хонда, птица Хонда... Кто тебя выдумал?.. Куда несешься ты?.. Дай ответ. Не дает ответа. Знай только мечутся поршни в цилиндрах, да сверкают искры в камерах сгорания, да готовит новую смесь трудяга карбюратор, да отработанный выхлоп летит прочь из трубы. А по бокам все поля да поля, нескончаемые поля – осенние, убранные, без риса, без воды, без тракторов, без лягушек – тянутся и тянутся до самых гор. Горы же обступили всю долину кольцом, и снег уже лег на иные вершины, и на той, что прямо по курсу – тоже снег, а пониже – покуда зелень, а еще пониже – деревенька, а поближе – мост через речку, а еще ближе...

А еще ближе – полосатый жезл полицейского.

Я шархнул по тормозам, но это уже ничего не меняло. Нас застукали. Не успев даже толком погасить скорость, я вихрем пронесся мимо дядьки с жезлом – а уж потом только перешел в левый ряд, прижался к обочине и остановился. Нашкодивший бог развернулся и нырнул обратно в тучу, оставив меня наедине с моим незавидным жребием. Радио продолжало грохотать – я его выключил. Туча снова наплыла на нас. Лето кончилось.

– Что такое? – всполошилась ничего не заметившая подруга.

– Чего, чего... – сказал я мрачно. – Кобыла ваша околела.

– Какая еще кобыла?

– Такая... «Все хорошо, как никогда».

– Хорошо?!

– Конечно... К чему скорбеть от глупого сюрприза?.. Будем ходить пешком...

Впереди нарисовался еще один гаишник и махнул палкой, зовя к себе. Я медленно тронулся. Там, на узенькой площадке, стоял полицейский микроавтобус – в таком же меня обрабатывали неделю назад.

Я приближался, и гаишник увеличивался в относительных размерах. Черты лица под его фуражкой проступали все отчетливее – и чем отчетливее они проступали, тем сконфуженнее я становился. Я не знал, радоваться мне или стыдиться, напрячься или расслабиться. Его лицо тоже вытянулось, когда он меня разглядел. Он тоже не знал, как реагировать. Остановясь рядом с микроавтобусом, я вылез. Он подошел ко мне.

- Здравствуйте, – сказал я. – Как ваша поясница?
- Спасибо, лучше. – Он поправил фуражку. – Вы превысили скорость.
- Извините пожалуйста. Очень виноват.
- Ваши права.
- Держите.

Он повертел в руках мою карточку. Посмотрел куда-то вдаль.

- Центр-то легко нашел?
- Да, очень легко.
- А теперь обратно?
- Да, как вы посоветовали.

Он снял фуражку, пригладил волосы. Кивнул на мою машину.

- Американка?
- Японка.

Удивившись, он засунул голову в окно. Вынул обратно, надел фуражку.

- Действительно. Я думал, негритянка.
- Нет, загорелая просто.
- Гаруфрэндо?
- Знакомая.
- Ну-ну...

Мы оба замолчали. На асфальте неподалеку от нас стоял ящик с множеством тумблеров и регуляторов. На его светящемся табло я разглядел цифры: «170».

Леонид Осипович думал. Страшно было представить, сколько противоречивых мыслей и чувств клокочет сейчас под этой фуражкой. Я боялся его отвлечь. Я только тихо надеялся. И я поднял голову к небу, моля всех богов о снисхождении.

Бог дорожного движения проколупал в туче дырку, высунул голову и увидел меня.

- Тьфу ты! – сказал он. – Гайдзин... Извини, не разглядел.
- А если бы разглядел? – спросил я.
- Ну... Я вообще-то гайdziнов не подгоняю. Если только сами...
- А своих зачем подгоняешь?
- Ну как... Вот эти насшибают сейчас денег, а потом построят мне храм.
- Ха-ха, – сказал я. – Раскатал губу.
- Не построят, думаешь? – встревожился бог.
- Держи карман.
- Ты зачем богу грубишь?
- Затем, что меня навечно лишат из-за тебя прав. Или даже депортируют.

– Ай-йй-йй, – сказал бог. – Я не хотел. Но ты не паникуй, я сейчас придумаю что-нибудь... Уже придумал!

Он исчез в тучах. Леонид Осипович все морщил свой лоб. Его фуражка накалилась от раздумий. Чувство долга боролось у него с личной симпатией. Нравственный императив – с горьким пониманием своей замазанности. Я видел, что он изо всех сил ищет соломонино решение, ищет волшебную формулу, которая устроила бы всех. И я снова взмолился, прося богов ниспослать ему такую формулу.

Как старая граммофонная пластинка, зашипела и забубнила рация. Сообщали о поимке еще одного. Леонид Осипович бросил взгляд на меня, поднес рацию ко рту и сказал:

– Давай!

А другой рукой протянул мне мои права.

Я взял их и не знал, что делать дальше. Он пошагал к проезжей части и, уже отвернувшись от меня, вдруг широко махнул жезлом – так машут регулировщики, когда хотят изобразить зеленый свет. Боясь поверить, я сунул права в карман, взялся за дверцу, огляделся в нерешительности... Вокруг никого не было. На ящичке высвечивались новые цифры: «200». Я сел в машину и хотел завести мотор – как вдруг увидел, что Леонид Осипович идет обратно и делает какие-то знаки. Я опустил стекло. Он подошел, наклонился ко мне и негромко сказал:

– Ты это... Антирадар купи, вот чего!

Мудрые слова буравчиком ввинтились мне в правое ухо.

* * *

– Куда тебя везти? – спросил я в десятый раз.

Вопрос прозвучал на заднем ходу. Я сдавал назад, чтобы вырулить обратно на дорогу. Птица Хонда недовольно клекотала. Она не любила летать задом наперед.

Ответа не было. Моя пассажирка, вытянув шею, смотрела вперед – туда, где инспектор встречал нового нарушителя. Этот новый вкатился на площадку в седле тяжелого мотоцикла – весь в коже, ремнях и заклепках. Он важно поводил растрюбами перчаток и со значительностью шевелил могучими ботинками. Нацуко впиалась в него глазами, как загипнотизированная. Такая ее реакция меня озадачила. Вместо того, чтобы сменить задний ход на передний, я застыл на месте и тоже уставился на кожаного байкера. Тем временем байкер слез с мотоцикла, обхватил перчатками сверкающий шлем и величественно стащил его с головы, явив миру пепельно-серые патлы, ниспадающие на прыщеватую мордочку.

– Цуру-тян!!! – завопила моя спутница, захлопала ладонью по двери в поисках ручки, нашла ее, дернула, поставила на землю ходули, рывком встала и качнулась вперед. Потом вспомнила про меня, повернулась и радостно пояснила:

– Бойфренд!

После чего хлопнула дверью и заковыляла в сторону байкера.

Я смотрел ей вслед сквозь лобовое стекло.

Между нами разрасталась пропасть.

Собственно, она и всегда была между нами, эта пропасть. Она исчезла лишь на краткое мгновение, когда мы оба покинули свои насиженные вершины, чтобы

соединиться в романтическом полете над гибельной бездной. Теперь все встало на свои места. Я по-прежнему не умел танцевать хип-хоп, а она по-прежнему не знала, что такое «интертекстуальность». Я не владел тяжелым мотоциклом, а она не владела навыками светской беседы. Мне легче и быстрее было бы найти общий язык с отставным камикадзе, чем с этой размалеванной куклой.

Да что там камикадзе! Я моментально нашел бы общий язык с младшим клерком из конторы по делам бумажных заполнений. С клерком в белой рубашке и черном пиджаке. С тем самым парнем, который по выходным ездит в гольф-клуб, чтобы таскать клюшки за своим начальником. Мы поговорили бы о погоде, о колебаниях курса иены, о политических новостях, о событиях в мире сумо. Он пожаловался бы на загруженность работой, а я бы посетовал на визовый режим. Он спросил бы: в России холодно, да? — а я бы ответил: да, необычайно. Он сказал бы: ах, вот оно как, а японская кухня вам нравится? — а я бы в ответ сказал: да, невероятно. Он сказал бы: подумать только! что, и *натто* тоже нравится? — а я бы сказал: да, представьте себе, и *натто* тоже. Он сказал бы: в таком случае примите мою визитную карточку. А я бы сказал: ну, тогда и вы примите мою. И получился бы вполне осмысленный диалог.

Однако выходило так, что размалеванная кукла на ходулях мне более по душе, чем клерк в белой рубашке. По самой тривиальной причине — в ней было больше жизни. На микроскопически малую величину — но больше. На одно колебание клеточной мембраны, на одну табачную затяжку, на один километр в час. На робкий, глупый и бессмысленный плевок в бетонную каланчу. Она сама была порождением этой каланчи, плоть от плоти ее, бетон от бетона — но по извечной диалектике отцов и детей не могла в нее не плюнуть. И это было столь трогательно, что пробирало меня до самых печенок. Мне милы цветные пятна на сером фоне — пусть даже это будут пятна от разлитого на асфальте мазута. Пока на них играет радуга, я не устану ими любоваться.

Неуклюже переставляя свои ходули, она удалялась от меня — и колючий осенний ветер трепал на ней мини-юбку. Очень непросто быть девушкой гангуро. Это полное самоотречение, это вызов человеческой природе, это каждодневный изнурительный подвиг. Это простуды и обморожения, это вывихи голеностопного сустава, это кварцевые ожоги и раковые опухоли, это девяносто один венерический микроб, обнаруженный в среде девушек гангуро скрупулезными исследователями от японской медицины. И на фоне этого ужаса девушки гангуро остаются живее всех живых — никогда не перестанут они распевать караоке, жевать гамбургеры и красить губы. Они встанут перед измученным клерком и скажут: эй, парень, кончай себя гробить! И парень задумается. И прочтает надпись на розовой маечке. И, может быть, даже поймет.

Инспектор учтиво отворил дверь микроавтобуса. Моя прекрасная маркиза уже была готова последовать внутрь за своим байкером — как вдруг обернулась и поднесла изумрудные кончики пальцев к губам. Сраженный, я уронил голову на руль — а с ее ногтей сорвался, перепорхнул площадку, пробурлил стекло и растекся по моей макушке ее прощальный, перламутрово-сизый, теплый, сладкий и липкий воздушный поцелуй.

Почтовый ящик (2)

From alena@hotmail.au
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject Japan

Здравствуйте, Вадим!!! Привет Вам из Австралии :)))) Я тут пять лет уже живу, почти как Вы в Японии, меня еще в детстве родители увезли. Но ничего, тут скучно конечно, но ничего. :))))))))) Я уже давно брежу Японией. Восток захватил мое сознание. Я себя даже во сне вижу в кимоно :))))))))) Почитала Вашу страничку в интернете и даже позовидовала :((((((((Вы там такой счастливый!!! По храмикам можете ходить, по монастырикам... Слушайте, а можно я к вам приеду? Я хорошая, ничего не испорчу и вам не помешаю. Я понимаю что наглость конечно, но уже сил нет никоких. Хорошая страна Австралия, но бездуховная :((((((((((((((((((((Я уже медетировать пробовала, но пока плохо получается. А сакура правда такая красивая? Напишите что вам привести из Австралии. Жду ответа с нетерпением.

Алена из Мельбурна.

From ppgfas@yahoo.ru
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject link

Здраствуйте уважаемый Влодимер. Обращаюсь к Вам, как colega по Японии. Дело всё в том, что я придумал идею Виртуального Журнала "Самурай". Там будет всё про Японию, про карате и другие боевые искусства, про Японскую культуру, про оружие самурая и т.д. Ну Вы понимаете. Влодимер, я хочу заказать у Вас статью, всё равно о чём, главное чтобы интересное читателям. Вы лучше меня знаете. Надо успеть к понедельнику. И еще. Пожалуйста поставьте на Вашей страничке гиперссылку ("линк") на мой журнал чтобы помочь мне в моем нелегком труде.

С глубоким ув.
Бамбр Шимаджима

From potapov@botik.ru
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject Mozart

Здорово, братишка!

Хочу обратиться к тебе с просьбой. Видишь ли, какое дело – я собрал в своей фонотеке практически всего Амадея Моцарта, но вот одну вещь нигде не могу найти. Все магазины исходил, весь интернет облазил, списался со всеми коллекционерами, нигде нет, хоть тресни. Не поленись, сходи в музыкальную лавку на Накабьяку-дори, вдруг у них есть в каталоге. Мне один мужик из Парагвая писал, что японцы могли записать и выпустить. Вот данные:

K231 1782 Vienna Canon "Leck mich im Arsch"

Это канон. "К" означает "по Кёхелю". Название переводится на русский как "Лизни меня в жопу". Миди-файл прилагаю.

Потапов.

From plum@akina.ac.jp
To local_news@aw-daigaku.ac.jp
Subject SALE !!!

U.S. KIDS USED CLOTHES !!!

SWEAT	¥ 1.900
TEE SHIRT	¥ 1.500
PARKA	¥ 1.900
OVER ALL	¥ 2.900
PANTS	¥ 1.900
SKIRT	¥ 1.900
CAP	¥ 980

PLUM, Chuo-dori, 1-chome, 5-26, phone 24-1233

REAL AMERICAN SECONDHAND STUFF !!!
DON'T MISS !!!

Экспонат

Первый день седьмого месяца выдался ясным. Восходящее солнце без помех дошло до зенита и ударилось в беспредел. С наслаждением садиста оно водило огнеметом туда-сюда по береговой линии, испепеляя городские улицы, портовые доки, иностранные суда у причалов и стоянки подержанных автомобилей. Морская набережная Фуругаты, по которой мы ехали, готова была расплавиться и дымящейся лавой уползти в соленую воду.

– Пива хочу, – произнес Берлогин. Он изнемогающе пошевелил кожной складкой на затылке и развернул голову вправо. – Купим пива?

Мимо окон проносился океанариум. Там сейчас ползали по бетонным плитам одуревшие котики, и пингвины тихо тосковали по Южному Полюсу. Короедов нервно сморгнул, сильнее сжал руль и нахмурился.

– Если увидим в автомате, то купим, – сказал он. – Специально искать времени нет.

Берлогин помолчал немного, затем продолжил разворот головы и наставил ее на меня. Лицо его расплылось в ласковой улыбке.

– Головка не бо-бо? – спросил он.

– Немножко есть, – ответил я, изобразив веселое подмигивание.

– Задал ты вчера перцу! – Берлогин потерся щетиной о край подголовника. – Всех удивил.

– Чего я задал?

– Не помнишь?

– Нет...

– Оперу ты вчера пел. Прямо на улице, посреди ночи. Я думал, стекла в домах полопаются.

– Это уже после текилы или еще после сакэ?

– Совсем в конце. Уже после бильярда.

– А какую оперу? «Хованщину» или «Евгения Онегина»?

– Чего другое спроси. Я в операх не понимаю.

– Слова-то какие были? Если «позор, тоска, о жалкий жребий мой», то это «Евгений Онегин». А если «народ смущать, чтоб много больших бояр побил», то это «Хованщина».

– Ни то, ни другое, – подал голос Короедов. – Я хорошо помню. Слова были: «Отдай мне Эмму, отдай мою голубку».

– Так это «Хованщина».

– А что, большая разница?

– Разница большая. «Евгения Онегина» я пою, когда бываю в лирическом настроении. А «Хованщину» – когда бываю в эпическом. Значит, вчера я в эпическом настроении был.

– Мда, – вздохнул Короедов. – Хорошо тебе там в твоих полях. Ори, не хочу. Меня тут давно бы депортировали.

– И развалили бы весь бизнес, – подхватил Берлогин. – Короедыч, как здорово, что ты оперу не поешь! Пивка еще найди – поставлю тебе памятник.

– Пивко будет *там*, – веско сказал Короедов. – Пивко, музыка, женщины... Все вам будет.

– Да женщины-то не те, – Берлогин меланхолично поскреб ногтями макушку. – Таких женщин и в Хабаровске навалом. Мне бы гейшу...

– Гейшу... Ты хоть знаешь, что это вообще такое, «гейша»?

– А чего тут знать... Гейша она и есть гейша... Ну, баба, что ли...

– Так и запишем, – сардонически усмехнулся Короедов. – «Гейша» – значит «баба».

– Нет, понятно, что не просто баба. Ну, скажем так, «специальная японская баба».

– Конечно, – кивнул Короедов. – «Гейша» – это специальная японская баба. А «самурай» – специальный японский мужик. Я правильно трактую?

– Правильно, неправильно... Кто тут живет – я или ты?

Короедов не отвечал. Мы стояли на светофоре в ожидании зеленого сигнала, пока стайка девушек *гангуро* пересекала наш путь, направляясь на пляж. Берлогин напряг мощную шею и наблюдал за ними.

– Ну вот, – сказал он, когда мы снова поехали. – Врут, что они кривоногие. Есть и нормальные. В желтой майке шла ничего...

Короедов вздохнул глубоко-глубоко.

– Ничего, – задумчиво повторил он. – Конечно, не Лайма Вайкуле – но будем снисходительны...

Жизнь Петра Короедова не была пассионарным горением или авантюрным фейерверком. Гениальный художник, благородный жулик или роковой любовник из него не вышли. Престижная стезя япониста, избранная в юности, выкинула странный финт – востребованным оказалось лишь умение обслужить нехитрые торговые переговоры. Теперь Петр Короедов был важным звеном в скупке и переброске через Японское море подержанных *тачек*. Человек попроще гордился бы таким статусом – как-никак, приплывавшие коммивояжеры не могли и шагу без него ступить, относились с пиететом и честно отстегивали по десять тысяч иен с каждой сделки. Фуругатские автодилеры со своей стороны тоже оказывали знаки уважения и помогали в юридических и бытовых вопросах. Но душа просила вовсе не того. Душа просила прекрасного. Тонко чувствующему человеку было отчаянно тяжело вариться в мире покрывок и запчастей, пить водку с бритоголовыми клиентами, осваивать распальцовку и откликаться на «Короедыча». Спасала лишь мечта о далеком идеале, мысль о высшем и безгрешном существе, трепетное преклонение перед чудом, перед сверкающим эталоном красоты и мудрости. Перед Лаймой Вайкуле.

Когда развалился Советский Союз, Короедов более всего горевал об утрате морального права называть Лайму Вайкуле своей соотечественницей. Потом

оказалось, впрочем, что латвийская примадонна продолжает петь по-русски и вообще проводит больше времени в Москве, нежели в Риге. Это Короедова очень приободрило. Он ревниво следил за успехами своей богини, и счастливейшим его днем был день, когда в фуругатском магазине он приобрел компакт-диск Лаймы Вайкуле, записанный и выпущенный в Соединенных Штатах. Тогда ему стало с особой пронзительностью ясно, что оба они – граждане мира. Они оба стирают границы, сближают народы и разносят по планете свет русской культуры. Только каждый из них на свой лад. Два факела, два подвижника, два космополита. Лайма Вайкуле и Петр Короедов. Мечты, мечты, мечты...

Берлогинская лапа потрясла меня за колено.

– Просыпайся, – услышал я. – Приехали.

Мы стояли на обширной, наполовину заполненной автостоянке. Прямо перед нами в полнеба раскинулись зеленые сети гольф-поля. По левую руку от сетей притулился Храм Василия Блаженного – точнее, его уполовиненная копия. От храма тянулся разрисованный под хохлому забор с проходом посередине и красочной вывеской на двух языках:

«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ГОРОДА ФУРУГАТА»

– Вперед, – скомандовал Короедов, застегнул пиджак и пошагал к окошку с надписью «Касса». Берлогин двинулся следом, я за ним.

– *Ирассяимасэ-э-э!*.. – раздалось из окошка.

– О, черт! – Короедов раздосадованно уперся в забор ладонью. – Ритка должна была сидеть, обещала провести... А так платить придется.

– Скажи, что по делу, – посоветовал Берлогин.

– Наивный... Будем час куковать, пока все утрясется и согласуется. Ты думаешь, это человек сидит? Это робот! У нее не мозги, а этот... алгоритм! Тебе охота час сидеть на жаре?.. Ладно, я вас привез, я и платить буду. – Короедов выставил вперед обе ладони, отмечая возможные протесты, вытащил кошелек, наклонился к окошку. – Будьте добры три билета.

– С мамонтом или без мамонта?

– Без мамонта.

Контролер на входе оторвал от наших билетов корешки. Мы ступили на длинную, посыпанную гравием и огороженную бамбуковым частоколом дорожку.

– Пиво-то скоро? – спросил Берлогин, нетерпеливо вглядываясь вперед, откуда доносились развеселые звуки «Камаринской».

– Вон табличка, – показал я. – До ресторана «Печка» сто метров. До музея этнографии тоже сто. И до театра «Николай» сто. И до магазина «Сибирь» тоже. А до мамонта – двести.

– Пиво, наверно, через сто.

– Наверно.

По прохождении ста метров «Камаринская» гремела уже в полную силу. Глазам открылась центральная площадь, по периметру которой располагалось все обещанное. В центре площади громоздился круглый помост, плотно окруженный публикой. На помосте лихо отплясывали четыре девки в кокошниках и красных сапогах.

– А Ритка-то вон она, – едко заметил Короедов, тыча пальцем в сторону помоста. – Щеки намазала, не узнаешь...

Берлогин беспокойно оглядывался по сторонам.

– Кажется, нам туда, – сказал я и повел его по направлению к вывеске, сулящей различные напитки. Мы зашли внутрь и остановились перед прилавком.

– Самое дешевое какое? – спросил Берлогин.

– «Серифу», – прочитал я. – Двести иен банка. Только я не слыхал про такое пиво. Черт знает, как это расшифровать. Может, «шериф»?

– Значит, американское. Берем.

Нам выставили две голубые банки с нефтяными вышками на боку. Под вышками было написано: «Шельф. Сахалинское пиво».

– Блин, – вырвалось у меня. – А я думал, «Шериф»...

– Ничего, – сказал Берлогин. – Зато дешево...

Он откупорил банку, сделал глоток и выпучил глаза.

– И они это называют пивом?!

– Это мы называем пивом, – поправил я. – Они только повторяют.

– А зачем продавать?

– Как зачем? Деревня русская. Клиент пьет и думает: это такое специальное русское пиво. И радуется. А себестоимость копеечная. Конторе прибыль.

Берлогин молча вертел в руках банку. Свою я обменял с доплатой на «Саппоро». Мы вышли обратно на площадь. Доплясавшие девки с организованным визгом сбежали со сцены; их сменил усатый и чубатый дядька в красной рубаше и серой папаше. Невидимый конференсье объявил через динамик:

– Сейчас выступит Миша. Он станцует настоящий *косакку-дансу*!

Публика восторженно зааплодировала. Заиграл матросский танец «Яблочко». Миша растопырил руки в стороны и картинно, с цыганским прищуром обошел помост. Публика хлопала в такт. Миша ударил себя в грудь, в живот, в колено, в щиколотку, в пятку. Народ одобрительно загудел. Миша сказал: «Эх!» Народ сказал: «Хай!». Миша присел. Привстал. Присел. Привстал. Народ экстатически завыл. Миша привстал. Присел. Привстал. Присел. Народ вошел в неистовство. Миша присел. Привстал. Присел. Привстал. У народа начался катарсис. Миша поклонился. Народ бился в судорогах. Миша с достоинством сошел со сцены.

– Ой, Петенька! – послышалось сбоку. – Не сердись, пожалуйста. У нас перестановка, Зойку на мамонта бросили, меня в ансамбль, на кассу японку посадили. Я тебе не успела позвонить...

– Ничего, – сказал Короедов. – Ты сделай главное, что обещала. Устрой мне встречу с вашим начальником. С самым главным. Скажи: по делу.

– Я сейчас... Устрою... Стой здесь... Не уходи...

На сцену вошла румяная тетенька в сарафане и принялась заунывно дудеть в какую-то жалейку. Берлогин, кривясь и морщась,пил сахалинское пиво.

– Здорово, земляки!

Рядом с нами стоял давешний плясун Миша.

– Здорово, казак, – сказал ему Берлогин. – Пива хочешь?

Миша покосился на банку.

– Не-е-е, – засмеялся он, как от хорошей шутки. – Такого не хочу.

– А ты какой казак, донской или кубанский?

– Я из вологодской филармонии.

– Что, вообще не казак?

– Вяколайнен моя фамилия. Какой я казак...

– А плясал грамотно!

– Да ну... Я вообще не танцор, я баянист... Но тут сказали, баян не нужен, а нужен *косакку-дансу*.

– Что это такое, кстати? – поинтересовался я. – Сколько раз слышал и до сих пор не пойму. Чисто японское слово.

– Леший знает, откуда они его взяли. Я им тогда по-всякому плясал, а они нос воротят: мол, не то. А как пошел вприсядку, сразу обрадовались: дескать, вот он, настоящий *косакку-дансу*. Так и пляши, говорят. Вот и пляшу теперь. А вы туристы?

– Нет, – сказал Берлогин, – не туристы. Эти ребята живут здесь. А я по бизнесу приехал.

– По автомобильному?

– Ага. Недавно занялся. Раньше медью промышлял. А еще раньше я был футболист.

– Иди ты! – поразился Вяколайнен.

– Форвард таранного типа. В хабаровском СКА.

– Надо же... А как вчера «Локомотив» с «Шинником» сыграл, не знаешь?

– Откуда... Днем бизнес, вечером пьянка, не до футбола. – Берлогин смял пустую банку и кинул в мусорный бак.

– Петя!!! – Рита стояла на той стороне площади и махала рукой.

– Быстро-то как, – удивился Короедов и взял меня за локоть. – Пойдем, поможешь. У тебя лицо интеллигентное. Мы минут на двадцать, – добавил он для Берлогина. – Встречаемся здесь.

Вслед за Ритой мы нырнули в служебный вход и попали в кабинет начальника, плотно сложенного мужчины средних лет, в белой рубашке без пиджака. Он встал из-за стола и вопросительно на нас смотрел.

– Здравствуйте, – сказал Короедов и поклонился. Я поклонился тоже. Начальник ответил наклоном головы и указал на два стула. Мы сели. Рита помахала нам пальчиками и исчезла в дверях.

– У нас к вам дело, – начал Короедов после церемонии обмена визитками. – Мы хотим познакомить вас с необыкновенно интересной певицей.

– С русской певицей? – поспешил уточнить начальник.

– Ну... – замялся Короедов. – В общем, да... В том смысле, что она поет на русском языке. Хотя, в принципе, может и на других. На английском может. Сможет и на японском, если очень понадобится. Мы ее научим.

– Понятно, – кивнул начальник.

– Дело вот в чем. Нас, русских людей, несколько смущает известный перекося культурного обмена в сторону чего-то такого, знаете, старинного... Ну вот, скажем, песни, которые пелись сто лет назад... Это интересно, конечно, – но это лишь одна сторона. А ведь публику должно волновать, что поется сегодня, не правда ли?

– М-м-м-м, – неопределенно помычал начальник.

– Эта певица очень популярна. Лучше ее вообще никого нет. Мы вам кое-что принесли, чтобы вы имели представление. Вот компакт-диск. Записан в Америке. Будет время, послушайте. Вот еще кассета...

– Как зовут певицу?

– Лайма Вайкуле. «Ра-и-ма Ва-и-ку-рэ».

Начальник наклонил голову набок и созерцал им же нацарапанные крючки.

– На русское имя непохоже.

– О, да вы хорошо разбираетесь! – поспешил польстить ему Короедов. – Дело в том, что она не совсем русская. Вообще говоря, она из Латвии. Но все русские люди считают ее своей.

Я важно покивал для пущей достоверности.

– Хорошо, – сказал начальник. – А чего вы, собственно, хотите?

– Мы хотим, чтобы она посетила Японию. И дала здесь несколько концертов.

Начальник кивнул. Короедов приободрился.

– Вы знаете, она уже один раз была в Японии. В девяностом году. Причем спела только одну песню на телевизионном шоу. Потом сказала в интервью, что горячо полюбила эту страну. Я уверен, она хочет приехать еще раз.

– М-м-м-м...

– Вы нас не поймите превратно. Заниматься всем этим будем мы. Выходить на ее менеджера, подключать спонсоров, заказывать рекламу, бронировать билеты, гостиницы, залы... От вас требуется только одно – официальное приглашение.

– Э-э-э-э-э...

– Ведь мы частные лица, к тому же иностранцы. Чтобы дали бизнес-визу, необходимо приглашение от организации. Вы столько лет уже приглашаете русских артистов – кого еще просить, как не вас?

– М-м-м-м...

– Конечно, один концерт можно будет дать здесь. У вас замечательный зал, много посетителей, налаженная реклама. Люди придут, вы не пожалеете, будет прибыль... А сейчас – только одну бумажечку. Дальше мы сами все завертим.

Короедов умолк и ждал ответа. Начальник положил перед собой чистый лист.

– Итак, – сказал он, – вы хотите, чтобы мы оформили приглашение для (он нагнулся над своими крючками) *Райма Вайкурэ-сан*. Так?

– Совершенно верно. Нас интересует ваше принципиальное согласие или несогласие. Если вы согласны, то мы выходим на контакт с ее менеджером и договариваемся о сроках.

Начальник кивнул и что-то начирикал на своем листе.

– Хорошо, – сказал он. – Я свяжусь с вышестоящими инстанциями.

– А сами вы не можете это решить? – разочаровано спросил Короедов.

– Приглашение – слишком серьезный вопрос. Много всего нужно взвесить и обсудить. Позвоните через неделю.

– Договорились, – сказал Короедов со вздохом.

На улице он повеселел и радостно хлопнул меня по спине.

– Ничего-ничего! Все на мази... Я считаю, мы подали себя очень грамотно. Тут ведь самое главное – подать себя. Чтобы было понятно: за дело берутся серьезные люди, а не какие-нибудь козлы. Разговаривать надо хорошим японским языком, вежливо, не употребляя слов-паразитов... Ты на него пивным духом не дышал?

– Не, я в сторону...

– Правильно. А что не сразу, так это мы подождем. Ихний порядок тоже надо уважать, я так мыслю.

Берлогин сидел на лавочке с Вяколайненом и рассказывал ему о своей жизни.

– А за медь, – говорил он, – я даже сидел один раз в тайландской тюрьме. Народу там повидал всякого... Вот скажи, Миша, ты когда-нибудь видел живого трансвестита?

– Не... – простодушно мотал головой Вяколайнен. – Трансвестита не видел.

– А я с ним водку пил!

– Иди ты! – удивлялся Вяколайнен.

– Ей-богу, пил! – и Берлогин гордо выпячивал грудь. – Водку с живым трансвеститом!

На сцене опять плясали девки в кокошниках. Готовясь к очередному выходу, Вяколайнен стал прилаживать на голову папаху.

– Деловая программа закончена, – объявил Короедов. – Более-менее успешно. Можно поворачивать оглобли.

– погоди ты! – возмутился Берлогин. – Только пришли, деньги заплатили... Давай уж посмотрим чего-нибудь. Чего тут еще есть?

– Музей есть, – бросил Вяколайнен, уходя к сцене. – Очень смешной музей.

– Пошли тогда в музей, – сказал Берлогин. – Там прохладней хотя бы...

Этнографический музей встретил нас стендом с русскими народными инструментами. На нем присутствовали: лопата, коса, борона, мотыга, топор, колун, грабли и вилы. Все грязное и ржавое. Осмотрев экспозицию, мы перешли к следующему стенду – с различными лаптями, валенками, картузами, поддевками и плисовыми шароварами. Далее демонстрировались балалайки, домры, гусли, баяны, гармошки и жалейки.

– Ну, – спросил Короедов, – интересно, да?

Берлогин посмотрел на него как-то странно. По его небритой щеке стекла струйка пота. Прохлады в музее не было. Скорее, наоборот.

Следующий экспонат занимал отдельный стол и представлял собой большой трехведерный самовар. Он был пузат и внушителен. В его начищенных зеркальных боках отражались топоры и балалайки. Но заинтересовал меня не сам самовар, а стоявшая под ним табличка. Белая табличка с черной надписью. Сверху слоговая азбука: *са-мо-ва-ру*. Ниже, в скобках – три иероглифа.

Ах, что это были за иероглифы! Праздник для мнемониста.

Располагавшийся справа походил на структурную схему какого-то хитрого агрегата – подобных схем я много зарисовал в студенческие годы на лекциях по компьютерной архитектуре. Четыре квадрата, «черных ящика» – два сверху, два снизу – и между ними шина обмена данными, горизонтальная линия с ответвлениями. Древний китайский каллиграф гениально предугадал появление кибернетики. «Устройство», «прибор» – так трактовался сей знак.

«Сапоги мои того, пропускают аш-два-о» – провозглашал иероглиф в центре. Мнемоническое двуступище для юных химиков тоже было предвосхищено в древнем Китае. Тощий и длинный сапог со вздернутым носком погружался в толщу H_2O – ее уровень обозначался слева от сапога горизонтальной линией, переходящей в изящный диагональный штрих; справа же из сапога выливалась через дырку переполнявшая его H_2O , унося с собою роковой гвоздь, причину беды. Те, кто еще не забыл уроки химии, помнят, что такое H_2O . «Вода» – таков был смысл этого знака.

И, наконец, левый – самый первый, если читать по порядку. Две льдинки плюс комбинация «приказ». Впрочем, приказ здесь был ни при чем, он только подсказывал чтение; а весь смысл заключался в маленьких штрихах-льдинках сбоку от приказа. «Холод» – вот каков был скрытый в них намек, и вот каково было значение всего иероглифа.

РЭЙ – СУЙ – КИ, – сложились в моей голове чтения трех знаков, образовав слово, которое на русский язык перевелось так:

«Устройство для охлаждения воды».

Я беззвучно затрясся и показал на табличку Короедову. Он хмыкнул. Из угла за нами наблюдала молоденькая служительница музея в строгой блузке и очках. Предвкушая особый кайф, я подозвал ее классическим японским жестом, помахав вверх-вниз сложенной в лодочку ладонью.

Она подошла.

– Простите пожалуйста, – обратился я к ней. – Вы не могли бы пояснить, что это за устройство и как оно работает?

Вопрос не застал ее врасплох.

– Это называется *самовару*, – сказала она, со знанием дела снимая крышку. – Видите, здесь полость. Сюда заливается вода. А вот сюда, в эту трубу, кладется лед. Вода остужается, и потом ее можно пить. Наливается через краник.

Короедов вполголоса переводил ее слова Берлогину. Тот стоял донельзя серьезный, и пот растекался у него по бровям.

– Хорошо, – сказал я. – Но откуда в таком случае берется лед?

– Лед берется из холодильника, – невозмутимо ответила служительница. Наверное, вопрос показался ей идиотским.

– Так-так... Из холодильника берется лед и кладется в трубу. А не проще было бы сразу поставить воду в холодильник?

Этот вопрос заставил ее задуматься. Но лишь на считанные секунды.

– Русские не делают так потому, – сказала она, – что в России очень дорогая электроэнергия.

Я почувствовал, что пора завязывать. Предвестие судорог уже щекотало мою диафрагму. Еще один такой ответ – и я потеряю самоконтроль, безобразно заржу, повалюсь на трехведерный экспонат и опрокину его на пол.

– Понятно, – сказал я с легким поклоном. – Спасибо вам за объяснения.

– Не стоит благодарности.

Она тоже поклонилась и отошла обратно в свой угол. Берлогин проводил ее недоуменным взглядом.

– А чего мы ее отпустили? – спросил он. – Надо было поправить!

Короедов сделал задумчивую мину и покачался на носках.

– Видишь ли, Сережа, – сказал он, – барышню, конечно, просветить можно. Но практических последствий это не поймее. Над ней начальство, которому мы не указ. Более того, я думаю, они прекрасно знают, как функционирует самовар. Но из каких-то высших соображений поддерживают ложную версию.

– Ложную?! Из высших?!

– Ты не горячись. Ты бизнесмен, должен понимать. Тут делают деньги на стереотипах. Хорошо все, что служит имиджу. Россия – это страна снега и льда.

Это не страна угля и щепы. Поэтому в самоваре должен быть лед, а не уголь. И совершенно неважно, что это не стыкуется с элементарной логикой. У бизнеса логика своя. Понимаешь?

Берлогин вытянул руку и отодвинул Короедова в сторону.

– Девушка! Иди сюда, – он поманил служительницу толстым пальцем. Она втянула голову в плечи и подбежала семенящим шагом. – Слушай, что я скажу. – Он стащил крышку с самовара и со звоном брякнул ей об стол. – Сюда, в эту дыру – мужики, переводите, не стойте – кладется никакой не лед, ты поняла? Уголь туда кладется, щепы, шишки всякие. И поджигается. – Он выхватил из кармана зажигалку и высек огненный язык. Девушка отшатнулась с перекошенным лицом. – И оно горит, оно греется, понимаешь? Мужики, чего вы не переводите?

– Сережа, Сережа... – пытался утихомирить его Короедов.

– Оно не для холода, оно чтобы кипятить! Поняла или нет?

Девушка отступила на шаг, на два... Потом пробормотала:

– Подождите минуточку...

И опрометью бросилась вон из помещения.

– Так, – сказал Короедов, – побежала за начальством. Лучше бы нам уйти.

– Никуда не пойду, – упорствовал Берлогин. – Все скажу начальству!

– Сережа, ты хочешь сохранить наш бизнес?

– Есть вещи выше бизнеса!

– Ч-ч-черт, – занервничал Короедов, – не хватало еще...

Он схватил меня за локоть, чтобы убежать хотя бы вдвоем, – но было поздно. В помещение стремительно вошел давешний начальник в белой рубашке. Из-за спины у него опасливо выглядывала музейная служительница.

– Вы не волнуйтесь, – сказал Короедов, улыбаясь как можно безмятежнее. –

Имело место маленькое недоразумение, мы его разрешили...

Берлогин сгреб самовар в охапку и подошел к начальнику.

– Это, – сказал он, – чтобы кипятить!

Начальник робко взялся за самоварную ручку и несильно потянул на себя.

– Это нельзя, – промямлил он. – Это экспонат...

– Туда уголь, – Берлогин тыкал пальцем внутрь самовара, – а сверху трубу. Чтобы тяга была. Или сапогом. – Он схватил валенок со стенда, приладил его к самоварному жерлу и изобразил раздувание сапогом. На физиономии начальника нарисовалось смещение и ужас. Он пришибленно стоял и нелепо взмахивал руками, как пингвин крыльями. Короедов схватился за голову и вышел вон.

– Сергей! – сказал я. – Товарищ все понял. Он сделает нужные выводы. Давай поставим посуду на место.

Вызволив экспонат из берлогинской охапки, я водрузил его обратно на стол. Берлогин тяжело дышал, и пот лил с него обильными струями.

– Скажи ему, что я был форвард таранного типа!

– Этот человек раньше играл в футбол, – перевел я.

– М-м-м-м... – сдавленно промычал начальник.

Я отобрал у Берлогина валенок, приткнул его на стенд между лаптей и вытолкнул экс-футболиста на улицу, поминутно оборачиваясь, лепя мелкие поклоны и бормоча извинительные формулы. Самовар блеснул нам на прощание своим медным боком и потух.

На эстраде стояла румяная тетенька и дула в жалейку. Сгорбившийся Короедов сидел на скамеечке и глядел в асфальт. Мы подошли к нему. Одновременно подошел Вяколайнен, неся папаху под мышкой.

– Ну, как музей? – улыбнулся он. – Правда, смешной?

– Ага, – кивнул я. – Забавный.

– Сходите еще к мамонту.

– Во-во, – поднял голову Короедов. – Сходи, Сережа, навести мамонта. Там ведь наверняка ошибка! Типа «русский народный зверь, холоднокровный, питается снегом, запекается в горячих песках». Давай, объясни им чисто конкретно про русских зверей!

– Чего за мамонт-то? – спросил Берлогин. – Может, правда сходить?

– Это из Питера мамонт, – объяснил я. – Зоологический музей сдает в аренду по бедности. Только нас туда не пустят, у нас билеты без мамонта.

– Все вам будет теперь, – процедил Короедов. – И билеты с мамонтом, и Лайма Вайкуле, и пиво, и гейши, и небо в алмазах. Заслужили!

– Ладно тебе, Короедыч! – хлопнул его по спине Берлогин. – Не убежит куда твоя Лайма Вайкуле. И вообще, почему обязательно Лайма Вайкуле? Кто такая Лайма Вайкуле? Привези лучше Роксану Бабаян!

Короедов зажмурил глаза, поднес к ушам ладони и судорожно ими потряс. Затем вскочил со скамейки и стремглав зашагал прочь.

– Чего это он? – удивился Вяколайнен.

– За фетиш обиделся, – сказал Берлогин. – Чую, накрылся мой бизнес. Надо новый открывать.

– Открой японскую деревню, – посоветовал я.

– В Хабаровске?

– Ну, хотя бы... В Японии был, все знаешь. И про самураев, и про гейш...

– Гейш можно в Бурятии набрать.

– Точно. А самураев посади под сакуру, пусть они там себе харакири делают. Знаешь, как народ повалит?

– Не напасешься самураев-то... Но идея хорошая. Денежная идея.

...Восходящее солнце давно перекатилось за береговую линию и превратилось в заходящее. Теперь оно поджаривало Китай с Монголией и растапливало лед в русских самоварах. По эту сторону моря жара спадала, предметы отбрасывали тень, и пингвины в океанариумах больше не роптали. На ступеньке псевдорусского полухрама сидел мечтатель, космополит и подвижник по имени Петр Короедов. Сощутив глаза, он наблюдал за ходом дневного светила и негромко шептал:

– Еще не вечер... Еще не вечер...

Он пел.

О смелых параллелях

Многолетнее занятие, которому почти всецело посвятил себя автор этих строк, для иных выглядит достаточно странно. В самом деле: ну разве можно, обладая артистическим складом натуры и взглядом художника, имея некоторое подобие харизмы и даже умея играть на губной гармошке, – разве можно при всех этих неоспоримых достоинствах отвернуться от света, похоронить блестящие задатки, превратиться в кабинетного червя и сутками напролет предаваться изучению хитроумных черных закорючек? Неужели это логично?

Ответить я могу единственным способом – пригласив в союзники и адвокаты Владимира Набокова.

Как всем известно, Набоков не только сочинял гениальную художественную прозу. Помимо прозы, он всю свою жизнь преданно и неутомимо изучал бабочек. Он ловил их, препарировал, классифицировал, писал о них научные труды и даже открыл несколько новых, неизвестных до него видов. Неудивительно, что бабочки любили залетать к нему в произведения, становясь их эпизодическими, а то и главными персонажами. В шестой главе автобиографии «Чужие берега» Набоков признается в своем полном равнодушии к литературной славе и удивительном неравнодушии к славе энтомолога. Пусть это прозвучит нескромно, но я прекрасно понимаю Набокова. Дело в том, что иероглифы для меня – примерно то же самое, чем для Набокова были чешуекрылые.

Владимир Набоков любил бабочек за праздную бесполезность их красоты, которая плохо вписывается в эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Там, где Дарвин видел слепые мутации и жестокий отбор среды, Набокову хотелось видеть прихотливую руку вдохновенного творца. Хотелось видеть – и виделось. В иероглифической письменности мне удастся разглядеть нечто похожее. Иероглифы для меня – это своеобразные лингвистические бабочки. Подобно чешуекрылым, посрамляющим дарвинизм, они посрамляют модную нынче эргономику.

Если богов на Олимпе много, то среди них должен быть Бог Избыточности. А если Бог один, то избыточность – важнейшее направление его промысла. Конечно, божественно далеко не всё, что избыточно. Но есть особая, небесная избыточность – принципиальная нестесненность творца в мерах и средствах.

Зачем, – вопрошал Набоков, – зачем так *сложна и бесполезна* мимикрия бабочек-притворщиц, подражающих осам и сухим листьям в степи, намного превосходящей умственные способности птиц и ящериц?

А зачем, – вопрошаю я, – иероглифу «зубило» двадцать восемь штрихов? Разве не хватило бы ему пяти-шести, чтобы отличаться от других? Изобразить зубило как таковое можно и тремя штрихами – а в иероглифе их двадцать восемь. Зачем?!

А вот и затем. Мы ведь не спрашиваем, зачем Создателю все эти планетные системы и гравитационные поля, все эти спектры и резонансы, изотопы и геномы, травинки и былинки, пары чистых и нечистых, законы разных архимедов, квантовый переход и нейтрино. Другой бы навалил кучу межзвездного вещества и лег на койку отдыхать – а наш Небесный Отец усталости не знает и эргономики не признает. В чем и божественность.

Египетский фараон, возводящий пирамиду, ни на йоту не приближается к богам, как бы этого ему ни хотелось. Поскольку, при всем безумии замысла, сама

по себе пирамида – сугубо рациональный проект инженерного ума. А вот безымянный каллиграф, постановивший, что зубилу суждено быть изображаемым в двадцать восемь штрихов, сам того не ведая, совершил рывок из профанного в сакральное и стал подлинным демиургом.

Трудно не признать, что одной из ведущих сил прогресса является лень. Сперва мускульная лень, а с некоторых пор и мозговая. Экономя физические силы, человек изобрел велосипед, паровоз, динамит и книгопечатание. Экономя силы умственные, он изобрел компас, логарифмическую линейку, подкидного дурака и механическое пианино. Сегодня прогресс достиг невиданных темпов, и страшно даже подумать, что человек захочет изобрести завтра.

Эргономика в современном мире приобретает статус, близкий к религиозному. Хорошо все, что не отягощает рук, не будоражит ума и не перегружает памяти. Долой художественные излишества, плеоназмы, орнаменты, латинские пословицы и тонкости этикета. Да здравствуют прямые углы, чеканные слоганы, узкие специалисты и рубленые шрифты. Все сложное оставим микропроцессорам. Сделаем мир проще.

Тем приятнее напоминания о том, что так было не всегда. Приятно видеть барочную архитектуру, готический шрифт, римские цифры. И вдвойне приятно сознавать, что есть области, откуда избыточность уже не изгнать, слишком глубоко она там укоренилась, стала основой и сутью. Иероглифическая письменность – одна из таких областей. Уж как только не придумывали ее прикончить: хотели заменить и слоговой азбукой, и латиницей, и даже вовсе предлагали перейти всей страной на английский – а все одно дальше предложений не пошло. Только людей насмешили.

Помню свое удивление и восторг, когда лет в десять я впервые увидел иероглифы на китайских почтовых марках. Ничего себе, – подумалось мне десятилетнему, – это они вот так пишут, и читают, и все помнят, и не путают, и как же это может быть?! Сидел с лупой, перерисовывал, собрал в тетрадке десятка три, классифицировал, пытался расшифровать... Вспомнилось спустя полтора десятка лет, когда Восток неожиданно оказался под ногами. Старые иероглифы, лишь слегка японифицированные, вновь заплясали свой волшебный танец, и я заболел ими вторично, уже не по-детски.

Восторженным натурам, не знающим восточных языков, свойственно видеть некую мистическую тайну в иероглифах как таковых. Иной романтик способен углядеть тайну даже в звучании этого русского слова: *иероглиф*. Выведенный каллиграфической кистью, черной тушью на белом фоне – о, сколь метафизичен он и непостижим! Я могу понять такой взгляд, вполне могу, для этого мне нужно лишь перевернуть иероглиф вверх ногами и посмотреть на его отражение в зеркале. Он моментально становится бессмысленным и манящим.

Но я не отношусь к восторженным натурам. Мой ум рационален и упорядочен. В моем кармане – диплом инженера. С самого начала мне не хотелось умиляться непостижимому. Мне хотелось понять и освоить. Именно в силу того, что это было непонятно, сложно и *избыточно*. Это был вызов.

Я разъял иероглифы на элементы и отдельные штрихи. Я поверил их алгеброй и компьютером. Я призвал на помощь искусство мнемотехники. Любовно разработал собственную систему – небывалую систему фонетической разбивки и

сюжетных цепей. Медленно ползя по алфавиту, составил три сотни мнемонических блоков. И через три года знал четыре тысячи иероглифов — больше, чем их знает любой японец.

Это был триумф. Я читал уличные вывески, газетные заголовки и статьи в энциклопедических словарях. Я мог по памяти написать имена всех ведущих борцов сумо. Я с закрытыми глазами рисовал пресловутое «зубило». Словарь иероглифов отныне пребывал у меня в голове.

Я заходил в случайный бар, садился за стойку и заводил с барменом непринужденный разговор, ловко сводя его к иероглифическим написаниям различных японских слов, обычно пишущихся слоговой азбукой. Неизбежно следовало пари: действительно ли сможет глупый гайдзин написать иероглифом слово «кит»? Или «бекас»? Или «роза»? (Кстати, почему-то особенно часто «роза», если вы желаете повторить мои подвиги, обязательно выучите два иероглифа, означающие «роза») Я торжествующе рисовал на бумажке «кита» или «бекаса» или «розу», получал по условиям пари свой дринк: «кровавую мэри», или «отвертку», или «московского мула», — выпивал его и шел в следующий бар. Конечно, через некоторое время мои рыжие кудри примелькались, и халява ушла в прошлое, но гордость за достигнутое осталась.

Вы спросите: достаточно ли мне этого?

Нет, недостаточно.

Я не могу гордиться этим один. Рожденный в моих извилинах метод распирает мне череп и просится наружу. Я должен заразить им ближних и дальних. Заразить людей в планетарном масштабе. Мне известно, как это сделать. Сегодня на моей стороне мощные программные технологии и всемирная компьютерная сеть.

Я понимаю, что в наш век постэнтнуизма моя старомодная увлеченность может показаться смешной. Но мне не до смеха — ведь речь идет далеко не только об иероглифах. На наших глазах разворачивается война двух начал. Божественная избыточность шаг за шагом сдает позиции вульгарной малодушной эргономике. Художник проигрывает маркетологу. Прихотливые башенки на древнем здании человеческой культуры съедает технократическая ржавчина.

Остановить прогресс нельзя. Но можно сгладить антагонизм. Можно, призвав на помощь игру и фантазию, примирить непримиримое. Увязать иррациональное с рациональным. Научить человечество эргономично осваивать неэргономичные системы. Режьте меня на куски — я не знаю задачи, более благородной.

Глубоко за полночь, в изнеможении отрываясь от своего компьютера и скользя рассеянным взглядом по двум десяткам словарей, разложенным вокруг, я вдруг вижу Владимира Набокова, выходящего из лаборатории. Он сутулится и устало потирает переносье. За его спиной — препарированный фрагмент божественного промысла, очередная порция красоты, пришпиленная булавкой. Это необходимо делать, таков наш мир: не пришпиленное булавкой рано или поздно попадает под каток. И если художник чувствует свою ответственность перед миром, то сегодня ему надлежит быть совсем не тем, чем надлежало быть вчера. Художник сегодня всё менее солдат, всё менее герой и всё менее гражданин. Сегодня художник всё более архивариус. Всё более энтомолог. Всё более мнемотехник.

И рыцарства в этом ничуть не меньше.

Перекресток

В пятничный вечер на работе засиделись немногие. Университетская стоянка пустовала — лишь полдюжины машин терпеливо дожидались своих владельцев. Оставалось определить, которая из них дожидается меня.

Поднимая воротник, я взглянул вверх. Небо было черным в густую белую крапинку. Достигнув автомобилей, крапинка превращалась в белила. Из шести одинаковых сугробов мне предстояло выбрать один, спрятавший мою Хонду.

Из этой торчит антенна. Не моя, идем дальше... У этой подняты щетки, я точно не поднимал... Эта какая-то слишком маленькая... Эта слишком большая... Вот следующая похожа. Надо номер откопать, посмотреть... «Нагасаки»... Нет, тоже не моя. Значит, моя последняя.

Десять минут на раскопку и отопрев. На лобовом стекле изморозь, обычное дело: не хочешь ждать — отшкрябывай. Только бы вытянуть со стоянки, а там дорога чистая, только что грейдер прошел.

Однажды меня отловили на улице некие местные корреспонденты и взяли блиц-интервью для радио. Здравствуйте, незнакомый иностранный господин, скажите пожалуйста, нравится ли вам у нас? Да, сказал я, мне у вас необыкновенно нравится. Зимой тут у вас метели, сугробы, гололед, холод — все как на моей любимой родине, без которой я скучаю. Корреспонденты очень смеялись такому изящному повороту мысли. Потом из этой реплики сделали заставку для еженедельной краеведческой программы, и добрых полгода я был радиозвездой.

Минуту пришлось побуксовать, поерзать, подергаться взад-вперед, пока на отчаянном рывке колеса не зацепились за край колеи, наезженной учеными профессорами. Переваливаясь с боку на бок и царапая пузо ледяными комьями, моя бедная Хонда поползла к выезду.

Грейдер потруился ударно. Отвалы снежной массы громоздились по обеим сторонам дороги, как горные хребты. Двухполосная проезжая часть за неделю сузилась до однополосной — только-только разъехаться. Впереди была белая свистопляска и никакой видимости — лишь красное пятнышко светофора помаргивало сквозь снегопад. Я доехал до перекрестка, остановился и стал ждать смены сигнала.

Мой путь пересекала широкая и оживленная трасса. Сейчас она тоже стала вдвое уже, чем всегда была, а поток машин вытянулся и замедлился. Их еле видные силуэты медленно проплывали через перекресток, напоминая караван из усталых верблюдов. Покорные своей верблюжьей судьбе, они терпеливо пробирались меж высоких барханов, ступая копыто в копыто.

За неделю нас завалило таким количеством снега, какое здесь никогда не регистрировалось. По выпавшим осадкам в этом январе мы обогнали Хоккайдо. Масс-медиа всячески обсасывали эту радостную новость. Раньше здесь гордились самыми крепкими глиняными горшками, самыми горячими гейзерами и самой длинной лапшой. Теперь список славных рекордов пополнился высотой снежного покрова. Жаль, что ненадолго.

Караван все шел. Прошло минут десять, а светофор и не думал переключаться. Перед носом у меня прополз целый зоопарк – верблюды и черепахи, слоны и гиппопотамы, зебры и броненосцы... Набывчившись, они торили дорогу в тучах белых moskitov. Я следил за их зыбкими очертаниями, покуда мне не стали мерещиться страусы и шимпанзе. Потом встряхнулся и задумался.

Думать пришлось недолго. Всему виной оказался научно-технический прогресс. Сигнал переключался не абы как – а по команде от фотоэлемента, прицепленного к выносной штанге и глядящего на проезжую часть. Целился он строго в середину левого ряда, погребенную под снежными торосами. Еще бы светофор меня увидел с таким бельмом на электронном глазу.

Попытки притереться к торосам вплотную и попасть в поле зрения аппаратуры результата не дали. Я вылез наружу. Штанга с фотоэлементом крепилась на фонаре, и на том же фонаре – я помнил это по летним прогулкам – располагалась кнопка для пешеходов. Добраться бы до кнопки.

Я вскарабкался на снежную гору, ухватился за фонарь, раскидал носком сапога свежую порошу, попинал более плотные слои... Полметра надо прокопать. Или даже метр. Саперной лопатки в моем багажнике не нашлось – нашлась только горнолыжная палка. Вооружившись ей, я поковырял снег вокруг фонаря. Снег ковырялся плохо.

Бросив эту глупую затею, я попытался сам изобразить автомобиль – взял в руки полы расстегнутого пальто и сделал ласточку на краю снежной кручи, словно хотел с нее спланировать. Фотоэлемент старательно пялился на меня сквозь летящие снежинки, но за своего не признавал. Тогда я надел шапку на конец лыжной палки, поднял ее вверх и принялся медленно размахивать пред электрическим оком.

– Эй, мужик!..

Я обернулся.

– Что за масонские ритуалы?

Федька высовывал голову из окна своего новоприобретенного драндулета. Я и не заметил, как он подрулил.

– Дорогу дашь?

Я спрыгнул с горы, подошел к нему и доложил обстановку.

– Ну-ну, – сказал Федька. – Я тоже без лопаты. А с той стороны что, никто не подъезжает?

– Отсюда не видно. Может, там у них такая же петрушка.

– Вот ведь как... Абрамычу надо рассказать. А то он заладил: Восток, Восток...

– Что делать-то будем?

– Хороший вопрос. Классический. «Что делать?»

– Сухари сушить.

– Да не сухари, а спасать бессмертную душу. Я тебе уже излагал. Спасаться надо, а все остальное ересь. Ересь будем давить.

– Я понял, понял... Вот сейчас, в данный момент, что делать?

– Ну чего... Разворачиваться – узко. Сдавать назад – не видно куда. Остается только вперед. Сели, да поехали.

– На красный?!

– А чего, гаишников сейчас нету, погода не та. Давай, ты первый, я за тобой.

– Метель же! Не разглядят, стукнут...

– Сильно не стукнут, они медленно едут. Или давай парой: ты справа, я слева. Если слева стукнут, то меня. Если справа, то тебя. Риск пополам.

– А может, наоборот – пусть справа тебя стучают, а слева пусть меня?

– Хитрый какой! Я первый сказал. Короче, едем рядом и оба библикаем. Вместе громче будет. Ну-ка, нажми.

Я нажал. Федька нажал тоже. Получилось громко.

– Ты ниже звучишь, – сказал Федька. – Давай так: секунду я, секунду ты. Устроим сирену. А еще окна откроем, и музыку на полную катушку.

Я опустил оба стекла и прибавил громкости. В магнитофоне крутилось третье действие «Хованщины». Шакловитый тянул свою арию:

– Ни-и-спо-о-шли-и ты-ы ра-а-зума све-ет благода-а-атный на Ру-у-у-усь!..

Федька подрулил справа. В его магнитофоне во всю дурь пиликал ресторанный электроорган. Допиликав положенное, он уступил место пропитому голосу шансонье:

– Сидел я в Омске!.. Сидел в Иркутске!.. Эх мне бы водки!.. Да мне б закуски!..

– Пошла сирена! – заорал Федька и вдавил клаксон. Я несколько замешкался со своим полупериодом, и сирена едва не захлебнулась, не успев родиться. Кособокая и спотыкающаяся, она поплыла через перекресток – сквозь шансон, снегопад и хованщину.

– **БИИ-ПУУ-БИИ-ПУУ-злосча-а-а-а-БИИ-ПУУ-БИИ-цидивист-ПУУ-БИИ-ПУУ-БИИ-страда-а-а-БИИ-ПУУ-БПИУ-окурор!-ПУУБИУУУ-...**

– Давай, пошел! – Федька дотянулся головой до левого окна и призывно ею подергивал. Я осторожно тронулся, забирая чуть вправо. Автомобильный поток оттуда все тянулся, плохо реагируя на дикие звуки из-за сугробов. Подобравшись к потоку вплотную, я перестал сигналить, высунулся в окно, изогнулся шеей как бы кланяясь и стал мелко-мелко рубить воздух ребром ладони. Две машины проигнорировали этот классический жест, а третья затормозила. Я изобразил два глубоких поклона, газанул, перегородил ряд и стал ждать Федьку. Он тоже выключил свою половину сирены, тронулся, поравнялся со мной теперь уже слева, обошел на полкузова – и заглох.

Причиной тому была кучка снега, оставленная грейдером посреди перекрестка, этакий длинноватый бугор высотой с нетолстое бревно. Преодоление сего барьера оказалось для подержанного и выдавшего виды драндулета задачей не из простых. Федька снова завел двигатель, произвел несколько пробных газований и принялся заново штурмовать каверзную преграду.

Ресторанный певун еле пробивался сквозь рев мотора:

– Колыма...**ВЖЖЖЖЖ**...спомина...**ВЖЖЖЖЖ**...рушку ма...**ВЖЖЖЖЖЖЖЖ**...

У меня запел хор стрельцов:

– Гой, гой, прибодрись!!! Гой, гой, поднимись!!!...

Поток слева остановился и тоже стал болеть за Федьку. Уткнувшиеся в меня справа недовольно библикали. Решив тогда и следующий ряд миновать первым, я тронулся, наехал передними колесами на бугор и тут же затормозил – потому что от потока слева отделилась белая Тойота и пошла вперед. Ее водитель, видимо, пришел к выводу о нескором завершении федькиных стараний. Но тут драндулет собрал последние лошадиные силы, заревел тремя белугами, перевалил через бугор, как Суворов через Альпы, – и с треском врезался Тойоте прямо в бок.

– Ах, окайные пропойцы! – заголосил хор стрелецких жен. – Ах, колобродники отпетые!..

Искореженная дверь Тойоты приоткрылась и судорожно замолотила по федькиному бамперу, желая распахнуться. Федька сдал назад. Из Тойоты выпрыгнул водитель, присел на корточки и принялся сканировать вмятину носом. Я поставил машину на ручник и тоже выбрался наружу. Пострадавший обернулся, увидел одного, увидел второго, изменился в лице и пробормотал:

– Иностранные люди...

Поднявшись с корточек, он не очень уверенно произнес:

– Но ведь вы ехали на красный свет, не правда ли?

– Что он говорит? – спросил Федька.

– Говорит, мы ехали на красный.

Федька растерянно посмотрел куда-то вбок и вдруг выпалил, схватив меня за локоть:

– Гляди!!!

Наш светофор горел зеленым.

– Грин! – закричал Федька, обращаясь к пострадавшему и тыча пальцем в светофор. – Лук! Итыс грин!

Пострадавший в недоумении перевел взгляд с иностранных людей на зеленый кружок. Потом обратно на иностранных людей. Потом до него дошло.

– Ноу, – твердо сказал он и помахал перед носом ладонью влево-вправо. – Ноу! Ай гоу грин! Ю гоу рэддо!

– Лук! Лук! – твердил Федька и пронзал пальцем летящие снежинки.

– Ноу! Ноу! – повторял незнакомец и разгонял снежинки ладонью.

Упершиеся в нас машины встречного потока возмущенно сигналили, требуя дорогу.

– Давайте отъедем вон туда, – предложил я, кивнув на продуктовый магазин с широкой площадкой, который был у нас слева по курсу.

– Вы можете по-японски?! – обрадовано воскликнул пострадавший, мигом запрыгнул в свою Тойоту и стал крутить руль влево. Миновав высокие ворота, прокопанные в снежной горе, мы въехали друг за другом на площадку. Она была пуста – лишь одинокий торговый работник колупался на ней с портативной снегоуборочной техникой.

– Маэда! – представился нам водитель Тойоты и выдал обоим по визитной карточке.

– Репейников! – ответно представился Федька. – Профессор.

– Пожалуйста сюда, – сказал господин Маэда и подвел нас к правому боку своей машины. – Это след от столкновения. Ремонт будет стоить очень дорого.

– Правильно, – сказал Федька, когда я перевел. – А столкновение оттого, что вы ехали на красный.

– Давайте вызовем полицию.

– Вызывайте.

Скрипя снегом, наш новый знакомый направился к телефону-автомату.

– Слушай, Федор, – сказал я. – А оно тебе вообще надо? Сейчас приедут, будут тебя час мурыжить, потом штраф выпишут...

– За что штраф?

– За нарушение правил.

– Я не нарушал!.. Ты сам видел – нам зеленый горел.

– Не видел я никакого зеленого.

– А я видел! Он все равно не докажет, у него свидетелей нет. А у меня есть.

– Кто у тебя есть?

– Ты, кто еще...

Маэда что-то говорил в телефон. Федька нагнулся и пощупал бампер своего драндулета.

– Гляди, ту всю сплющило, а моей хоть бы что. Зверь машина! Никто не верит, что я ее за сорок тыщ взял.

– Почему никто? Я верю...

– А вот Абрамыч не верит. Завидует, наверно.

Маэда повесил трубку и подошел к нам.

– Полиция выезжает. Нужно подождать.

Он обозначил легкий поклон и скрылся в своей мятой Тойоте.

– Ну, подождем, – сказал Федька. – Подышим воздухом.

Я побродил минуту по площадке, подошел к снежным воротам и стал смотреть на ползущие мимо машины. Им опять горел зеленый.

– Знать бы тогда, – раздалось у меня за плечом. – И как это, интересно, они его зажгли?

– В полиции узнали, наверное, – предположил я. – Переключили на другой режим. Такие вещи наверняка продуманы.

– Ты как Абрамыч прямо. Ах-ах, у них все продумано!..

– Может, и не все, но многое...

– Лучше б они центральное отопление продумали. И двойные рамы.

– На Хоккайдо двойные...

– У тебя обогреватель в машине хорошо греет?

– Хорошо.

– Пошли залезем, посидим...

– Залезай, сиди. Я подышу еще. В магазин зайду...

– Ну, пошли в магазин.

В магазине я добросовестно изучил весь ассортимент и купил себе тюбик зубной пасты. Федор тем временем пролистал пять или шесть толстенных журналов с полуголыми девицами снаружи и рекламой внутри. Когда мы вышли, Маэда опять сидел на корточках перед своей Тойотой и водил носом по вмятине. Увидев нас, он встал, неловко потоптался и сказал:

– Никак полиция не едет. Пойду еще раз позвоню.

И опять заскрипел снегом, спеша к телефону.

– Мда, – сказал Федька. – Что-то непохож он на самурая...
Я достал из кармана визитную карточку.
– «Маэда Кохэй. Амэ-но пурадза. Тэнтё. Накабьяку дори». Ну конечно, какой он самурай...
– А по-русски?
– «Кохэй Маэда. Дворец Рисовой Тянучки. Начальник. Улица Накабьяку».
– На начальника, я бы сказал, тоже непохож.
– «Амэ-но пурадза», – повторил я. – Да, помню. Мы там с Шишкиной торт заказывали. Приятный такой магазинчик.
Маэда опять повесил трубку. Подошел.
– Говорят, уже выехали, но из-за погодных условий могут задержаться. Придется еще подождать.
– Ну что ж, – сказал я. – Мы же сами видим, какое движение.
– Да-да, – закивал Маэда. – Сплошной затор. Очень жаль...
Он глубоко вздохнул, опустил на корточки и снова уперся носом в помятый автомобильный бок.
Я присел рядом.
– Обе двери придется менять, да?
– Совершенно верно, обе. А может быть, еще и крыло.
– Тысяч двести, не меньше.
– Думаю, больше...
– Хорошо, что страховка есть.
– Конечно...
– Мой друг тоже застрахован. Думаю, все уладится.
– Будем надеяться...
– Можно было бы и без полиции, но раз уж у вас разногласия...
– Да, к сожалению...
– Эй, мужик, – послышалось сзади. – Пошли греться!
В машине было тепло. Кассета с «Хованщиной» только что докрутилась до конца и перевернулась обратно на третье действие.
– Пререкохом никоньянцев и препрехом! – пел хор черноморцев. – Победихом, посрамихом ересь!
– Что за хренотень играет? – спросил Федька. – Поставил бы что-нибудь человеческое.
– Это Мусоргский, – сказал я. – Это поют раскольники. Старообрядцы.
– А-а-а, – протянул Федька. – Тогда ладно. Пусть поют. Уважаю.
Немного помолчав, он добавил:
– Это правильное искусство. Полезное!
У моего уха раздался стук по стеклу. Маэда-сан наклонился к окну и делал какие-то знаки. Я открыл дверь.
– Вот, – сказал он, протягивая нам две банки. – Ждать долго, холодно... Попейте кофе.
– Спасибо, – сказал я. – Вы очень добры.
– Уже скоро должны подъехать. Давайте еще чуть-чуть подождем.
– Давайте.

Баночный кофе из автомата был сладок и горяч. Он будил детские воспоминания о лыжных походах с термосом. Я пил его маленькими глотками.

– Ну точно начальник тянучки, – сказал Федька, опорожнив свою банку. – Столько ждать я не собирался. Пойти, что ли, домой позвонить...

Он порылся в карманах, нашел десять иен, вылез и пошагал к автомату. Минуту разговаривал, а потом повернулся в мою сторону и призывно замахал рукой. Пришлось выбираться наружу.

– Подтверди, что я целый, – сказал он и сунул мне к уху трубку.

– Вадичек, – послышался усталый голос. – Что там мое горе опять натворило?

– Ничего особенного, – сказал я. – Легкое столкновение. Жертв нет. Страховка все покрывает, вопрос только в проценте – кто насколько виноват. Поэтому ждем полицию.

– Вадичек, ты уж там побудь с ним, ладно? Вдруг чего непонятное. А потом заходи, я пельменей налепила. Зайдешь?

– Зайду.

– И еще тут Ваня какую-то бумагу принес, которую сам прочитать не может. Теряемся в догадках. Попробуешь разобрать, что там написано?

– Попробую.

– Что б мы без тебя делали. Давай мне Федора обратно.

– Алё! – вступил Федька. – Я ж говорил... Чего?.. Не остынут, подогреем... Не мог я в полшестого... У меня запарка, я плазму моделирую... Ага... Пока...

Он повесил трубку.

– С Ванькой не позанимался сегодня. Вот так вечно – заиграешься в тетрис, потом тебя готовы пополам распилить.

– А чем ты с ним занимаешься?

– Физикой, чем еще... В школе-то у них известно какая физика... А еще недавно географию с ним начали учить.

– Физическую?

– Отечественную. Изучаем родные рубежи. Начиная с восточных. Первое занятие посвятили Южным Курилам. Я ему объяснил, что это исконно русские земли.

– Ну-ну...

– А он на следующий день из школы приходит и говорит: папа, у нас в классе карта висит, так на ней показано, что это японские земли!

Федька ткнул меня локтем в бок, приглашая посмеяться.

– Ты понял, да? Удивился парень. Эти земли, говорит, в японский цвет закрашены. Шок случился у пацана.

Из магазина, неся что-то в охапке, вышел господин Маэда.

– Вы, наверное, проголодались, – сказал он, подойдя к нам. – Вот вам сэндвичи. Подкрепите силы.

Я сопроводил свой поклон витиевато-учливой грамматической конструкцией. Федька выдавил из себя *аригато*. Развернув целлофан, мы вонзили зубы в белый хлебный мякиш, проложенный листьями салата и консервированным тунцом.

– А нельзя ли узнать, из какой вы страны? – спросил господин Маэда, дожевав и проглотив свой сэндвич.

– Мы из России, – проговорил я с набитым ртом.

– О-о-о-о-о, – сказал он. – Э-э-э-э-э... М-м-м-м... В России холодно, да?

– Не холодней, чем тут у вас.

– Ха-ха-ха!.. Это вы правильно заметили. Очень суровая зима. Но я слышал, что в России все-таки холоднее. Поэтому там пьют водку и едят *пирóсики*. Вы любите *пиросики*?

– Смотря с чем. С капустой люблю.

– Как это «с капустой»? Внутри капуста? Я думал, внутри всегда мясо...

– Разные бывают. С картошкой, с рисом, с яйцом, с изюмом...

– Что вы говорите! Никогда не знал.

– С чем угодно можно сделать. Хоть с рисовой тянучкой.

– Вы умеете?!

– Увы. Я очень плохой кулинар.

– Жаль. Вы знаете, у нас кое-где делают, но ведь это совсем не то... А так хочется попробовать хотя бы один настоящий русский *пиросики*!..

– Если у нас будет, мы вас угостим.

– Спасибо, спасибо, – он поклонился. – Буду очень признателен.

Я выбросил целлофан в мусорный бак и взглянул на часы.

– Да, – сказал господин Маэда. – Это уже никуда не годится. Скоро час, как мы их ждем, а они все не едут. Пойду еще раз позвоню.

– О чем это ты с ним трепался? – осведомился Федька, когда мы остались вдвоем.

– Как обычно, о еде. О вечных ценностях.

– Значит, пошел на попятный. Мы его дождем. В принципе, меня и пополам устроило бы.

Маэда снова подошел.

– Я позвонил, – сказал он. – Случилась неприятность. Они проехали только половину дороги и попали в аварию. Их сейчас вытаскивают из сугроба. Нас спрашивают, не разберемся ли мы сами.

– Конечно разберемся, – сказал Федька. – Фифти-фифти, и дело с концом.

Маэда вопросительно смотрел на меня, ожидая перевода.

– Мне кажется, – сказал я, – дело нужно передать страховым компаниям. Пусть разбираются они.

– Да, – произнес он. – Пусть разбираются. Но ведь картина... Ведь вы считаете, что... Хотя...

Он глубоко вздохнул. Посмотрел на небо. Посмотрел на землю. И сказал:

– *Сёганай*.

– А? – вырвалось у Федьки.

– Он согласен передать дело страховикам, – сказал я. – Он говорит: *делать нечего*. Классический ответ на классический вопрос.

– Он в самом деле так решил? Или это азиатская хитрость? Как думаешь?

– Тебе правда интересно, что я думаю?

– Нет, я просто спросил... А *делать нечего* – это у них классический ответ?

– Почему «у них»? Вспомни Иванушку-дурачка. Или «Капитанскую дочку».

– Ну, разве что дурачка... А вдруг мне страховики вломят по полной?

– Не разоришься. На то и страховка.

– Тут не в деньгах дело, – очень серьезно сказал Федька. – Тут дело в принципах. Если под каждого стелиться, то сам станешь, как Иванушка-дурачок. Только без царевны и без полцарства. Потому что не в сказке живем. Короче, ты ему скажи: на страховиков я согласен – но на красный свет все равно ехал он.

– Мой друг очень сожалеет о случившемся, – перевел я. – Он приносит вам свои извинения. Он надеется, что страховые служащие все сделают наилучшим образом.

– Ничего, ничего, – ответил Маэда. – Это вы меня извините, что я вас столько времени здесь продержал. Завтра я сделаю калькуляцию ремонта и свяжусь со своим страховым агентом. А ваш друг пусть свяжется со своим. Потом созвонимся. Телефоны знаем. Договорились?

– Договорились. Всего доброго.

– Подождите! – Маэда-сан кинулся к своей Тойоте, открыл багажник и вернулся с круглой коробочкой. – К сожалению, с собой у меня только одна. Это фирменный товар нашего магазина. Кушайте на здоровье.

Он прижал руки к бокам, согнулся перед нами в поклоне, сделал два шажочка назад – потом распрямился, прыгнул в автомобиль, газанул, выбросил из-под колес снежные фонтанчики и исчез за ледяной горой.

Федька открыл коробочку и смотрел на аккуратные кубики рисовой тянучки.

– Мда... – сказал он наконец. – Я не устаю им поражаться. Ему бы нас сразу мечом на куски порубать – а он нас конфетами кормит. Что все это значит? Где логика? Куда они катятся?

– Восток! – сказал я. – Очень тонкое дело.

– Нет, я понимаю, – продолжал Федька. – Это реклама, это пиар, сейчас весь университет кинется скупать у него тянучку, и он разбогатеет... Но ведь еще шестьдесят лет назад вся нация кричала «банзай» и записывалась в камикадзе! Куда все это ушло? Почему так быстро? Мой сын учится у них в школе. Чему он там научится? Бить поклоны? Продавать рисовую тянучку?

– А лучше бы он стал камикадзе?

– Я хочу, чтобы он стал мужиком! Чтобы мог постоять за себя.

– Но ты же отдал его в каратэ?

– Отдал. Он занимается. Но сама атмосфера, вот я о чем...

– Тогда возвращайся.

Федька весь ссутулился. Помолчал.

– Поехали, – сказал он. – Пельмени ждут.

Я подошел к своей Хонде. Открыл дверь. Оттуда раздалось:

– **Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы !!!**

– Что это?! – дернулся Федька.

– Князя Хованского зарезали.

* * *

На плите булькала кастрюля с пельменями. Татьяна смешивала йогурт со сливками – получаемый эрзац служил у нас сметаной. Федька достал из холодильника бутылку «Столичной» и наполнил рюмки.

– К зубам прилипает, – сказала Татьяна, проглотив рисовую тянучку. – А так ничего, съедобно.

– Только мы его ничем не отдали, – сказал я. – Это неправильно.

– А чем я его отдарю? – возразил Федька. – Виртуальной плазмой? Ему-то хорошо – он что продает, то всем и дарит.

– Он пирожки хотел попробовать. Напекли бы ему пирожков – глядишь, смягчил бы позицию.

– Так у него позиция и без пирожков мягкая, куда еще смягчать. Я ведь не зря говорю: они народ очень безобидный, и когда-нибудь их это погубит. Но нашему брату оно только на пользу. Выпьем же за японскую безобидность!

– Ваня, иди ужинать! – позвала Татьяна и принялась вылавливать пельмени шумовкой. Когда Ваня вышел к столу, я закусывал огурцом.

– Привет, каратист!

– Здравсте.

– Как в школе дела?

– Ой, Вадичек, пока не забыла! – Татьяна поставила передо мной тарелку пельменей, достала со шкафа какой-то бумажный лист и положила рядом. – Вот, принес и не может объяснить. А нам интересно, что это такое красивое дали.

– Грамотей! – сказал я. – Читать до сих пор не научился?

– Да я могу... – засмутился Ваня. – Тут просто эти сложные, как их...

– Они не сложные, они просто очень рукописные. Я тоже неважно такие разбираю. Хотя основное уже ясно – это почетная грамота.

– Я так сразу и подумал! – обрадовался Федька и сунул мне в руку вторую рюмку. – За наши победы!

Закусив пельменем, я потащил мизинец вниз по прихотливым закорючкам, каллиграфически выведенным черной тушью.

– Ну вот: «Иван Репейников». Фамилию-то разобрал?

– Разобрал. А дальше не могу.

– «...награждается за второе место на турнире...»

– Это каратэ! – сообразил Федька. – Тогда еще лучше. Сейчас отдельно выпьем за боевые победы.

– «...посвященном славной годовщине...»

– Подставляй рюмку.

– «...взятия Порт-Артура.»

Бутылочное горлышко подпрыгнуло, стукнуло по рюмке и опрокинуло всю водку мне в пельмени. Следом из стеклянного сосуда вылетело еще полста нечаянных грамм, распределяясь по всему столу и частично по документу.

– **ГДЕ?!?!** – Федька вскочил, схватил грамоту, потряхнул с нее алкоголь. – Где это написано?

– Да вот. «Рёдзюн». По-китайски «Люйшунь». По-русски «Порт-Артур»...

Федька обвел нас непонимающим взглядом.

– Это они что, серьезно?

– Ну, а чего такого? Годовщина славная, разве нет?

Он перевел взгляд на сына.

– И ты там занял *второе* место?

– Да... – пролепетал Ваня. Он весь съёжился и, казалось, готов был сейчас же бежать исправлять роковую оплошность – только еще не понял, какое место от него требовалось взамен: первое или последнее.

– Федя, ешь пельмешки! – напомнила Татьяна. – Вадичек, давай я тебе других положу.

– Да ладно, – сказал я. – Всё в один живот. Какая разница, по очереди или сразу? Тем более, что и тост уже произнесен.

Облизав ложку из-под сметаны, я зачерпнул ей водки пополам с пельменной жижей.

– За боевые победы, Федор!

Федька поморщился. Сел. Налил. Выпил. Опять поморщился. И сказал:

– Ну, в общем, да... Чего, собственно... Дело давнее... Только все равно, пусть не думают... А то мы силенок поднакопим, да и заберем у них обратно.

– У *них* уже не заберем. Он давно уже не у них.

– Ну, заберем чего-нибудь другое... Мало ли... С работы чего-нибудь утащим... В моей тарелке плавали два захмелевших пельменя.

– И с Дармоедой разберемся. Ирисками он нас не купит. Пусть собирает своих страховиков. Я скажу все, как было. Ты переведешь...

– Переведу... Легко... Все, как было...

Оставался один пельмень. Он злостно ускользал от моей вилки.

– Давай по последней, и начнем культурную программу.

– Нет, Федор, я уже пойду.

– Куда?! Сейчас кино будем смотреть! «Полицейская академия три».

– Мне кина на сегодня хватит... Дома стирка, уборка... На посошок, и все.

Я зачерпнул непослушный пельмень ложкой и поднял рюмку.

– За крейсер «Варяг»! – сказал Федька.

– Правильно, – кивнул я. – За честное и своевременное открытие кингстонов.

– Ты пораженец.

– Наверно.

– Тебе не стыдно?

– Стыдно...

От Репейниковых я обычно возвращался двором, но сейчас двор между блоками университетских квартир был непроходим. Выбравшись на узенькую расчищенную улочку, я двинулся в обход, мимо двухэтажных домиков за невысокими каменными заборами. У некоторых калиток срабатывали фотоэлементы – тогда загорался фонарь, и становился виден заваленный снегом садик: торчащие из сугробов низкие деревца и белые бугры над камнями. На одном крыльце стояла молодая женщина с зонтиком – она стряхивала с него снег, чтобы сложить. За спиной у нее, уронив набок черную голову, спал младенец в кенгурушнике. В желтом свете фонаря розовели голые пяточки.

Наверное, тоже из гостей, – подумал я.

О вечных вопросах

Большинство религий и этических систем возводят невозмутимость и спокойствие в ранг высокой добродетели. Гневаться грешно. Праведник всегда благостен и невозмутим. Религиям согласно вторят врачи и психологи. Не накручивайте себя! – говорят они. – Избегайте лишних стрессов! Легче вовремя предупредить, чем ликвидировать последствия!

Пишущий эти строки вполне солидарен с таким подходом. Более того – такой подход стал частью его натуры. Путем длительного и упорного самовоспитания мне удалось в значительной мере обуздать холерическое начало в моем темпераменте. На многие вопросы я приучился смотреть философски, и вывести меня из состояния душевного равновесия теперь не так-то легко.

Я давно не посыпаю голову пеплом, когда сборная моей страны проигрывает очередной футбольный матч. Я не поминаю лихом гаишника, оштрафовавшего меня даже на значительную сумму. Я готов прощать занудство, своекорыстие, необязательность и плохой запах изо рта. Убежавшее молоко, порванные штаны, протекающий потолок, гиперинфляция – ничто из этого ряда не способно нарушить моей внутренней гармонии.

Но есть одно слабое место. Есть ахиллесова пята в броне моей психики. Может быть, не единственная, но самая болезненная. И очень необычная.

Я не могу оставаться спокойным, когда японские слова пишут по-русски через букву «ша».

Все эти «суши», «маваши», «такеши» и прочие «митсубиши» серьезно подрывают мое психическое здоровье и укорачивают век. Когда я вижу или слышу что-нибудь вроде «с Шинагавы на Шибую через Шинджуку», со мной делается адреналиновая атака, дыхательный спазм, охлаждение конечностей и запотевание кожи. В такие моменты я могу потерять контроль над собой. И иногда его теряю.

Это началось у меня не сразу. Поначалу, когда я верил в убеждающую силу логических построений и полагал слуховые центры устроенными у всех одинаково, я находился в плену розовых иллюзий. Мне казалось, что короткой лекции о фонетическом строе трех языков должно быть достаточно, чтобы сколь угодно далекий от лингвистики человек навсегда перестал шикать. Чтобы он понял, что оригинальный слог, по-английски отображаемый как SHI, ни в коем случае нельзя переименовывать в русское ШИ, которое искажает японский звук непозволительно грубо. Что давно существует классическая система кириллической транслитерации, рекомендующая использовать слог СИ. Что, принимая это правило, мы жертвуем некоторой шепелявостью, которая действительно присутствует в японском звуке, но сохраняем его *мягкость*, которую английское SHI теряет более чем в половину, а русское ШИ убивает вовсе. Что мягкость важнее!

Увы и ах. Мои товарищи по диаспоре, зачастую даже готовые теоретически согласиться, продолжали напропалую шикать на практике. Им было так удобнее. Иероглифической письменности они не разбирали и воспринимали японские слова исключительно в латинском написании – а уж его преобразовывали в русские буквы так, как им казалось проще. Коммуникативных проблем это не вызывало,

поскольку по-японски они все равно не говорили, а общение на «международном английском» прощало им еще и не такие фонетические вывихи. Шикать выходило *эргономичнее*.

Я примирился с этим. В конце концов, сказал я себе, это касается горстки людей в чужой стране. Они не породят никакой тенденции. В любой диаспоре язык деформируется, но это проблема диаспоры. В метрополии все будет хорошо.

Я заблуждался. Метрополия была теперь гораздо более открыта как Западу, так и Востоку. Языковые потоки из-за рубежа уже не фильтровались. Всяк берущийся за перо транскрибировал иностранные слова на свой лад, не вникая в тонкости. Досужий газетчик расписывал достижения концерна Матсушита, спортивные комментаторы вели репортажи из городов Шызуока и Шымизу, а Нормальные Пацаны, тряся растопыренными пальцами, бросились открывать *суши-бары*, где продавали «шабу-шабу» и «юдон».

Я недоумевал. Где же *японисты*? Где переводчики и референты? Где люди, чей профессиональный долг вроде бы и состоит в предотвращении недоразумений при межкультурных контактах? Почему они не возвышают своего голоса? Почему меня, технаря и самоучку, это тревожит, а их нет?

Потом до меня дошло. Так дипломированные японисты оберегают чистоту цеха. Им удобно распознавать *своих* по правильной транслитерации. И приятно сознавать, что они единственные на постсоветском пространстве владеют этой заветной тайной. Дополнительным подтверждением чему была вычурная традиция несклонения японских слов, которой следовали наиболее ортодоксальные из них. Все эти «битвы при Цусима» и «пригороды Осака» служили все той же цели – еще надежнее отгородить свой круг от непосвященных.

Разочаровавшись в этой публике, я решил все же не опускать рук. Я прибегнул к помощи всемирной компьютерной сети. Среди дипломированных японистов нашелся один равнодушный; с ним вдвоем мы запустили «Виртуальные Суси» – проект, само название которого звучало девизом и лозунгом. Так весной 1998 года началась долгая и бескомпромиссная борьба с *сушизмом*.

Первая же статья по вопросам транслитерации породила мощную волну откликов. Я попал в самый нерв. Появились как горячие сторонники, так и ярые противники. Были колеблющиеся, но не было равнодушных. Одно это придавало сил. Я продолжил агитацию и пропаганду. Я терпеливо объяснял разницу между транслитерацией и произношением, между разговором на своем языке и чужом, между звуками в различных фонетических системах. Я подкреплял свою позицию практическими примерами, яркими параллелями и историческими экскурсами. Я предпринял библиографические изыскания, в ходе которых выяснилось, что систему романизации Хэпберна (“shi” вместо бывшего “si”) узаконило специальное распоряжение оккупационного штаба американских войск в сентябре 1945 года. После этого открытия мне казалось, что уж теперь-то все прозреют окончательно. И снова увы.

Вопрос о «си» и «ши» оказался из категории вечных. Гостевая книга нашего сайта, не успев иной раз остыть от долгих дебатов, моментально воспламенялась снова, едва очередной неискушенный гость невинно сообщал, что ему в японских словах слышится «ши», но только вот не такое, как «шы», а именно вот как «ши» – ну, вы понимаете, о чем я. Пластинка тут же закручивалась по сотому разу.

Интересным результатом этих столкновений было появление оппортунистической фракции «сущистов», которые всерьез предлагали перейти, а некоторые и активно перешли к диковинным написаниям типа «Хирошима» и «Щикоку». В остальном же мало что изменилось: если нам и удалось кого-то убедить, то очень немногих. А если даже и многих — то без особых видимых последствий. Самым заметным последствием лично для меня стали невротические реакции, от которых я уже давно не могу избавиться.

Джонатан Свифт в свое время описал политическую смуту и гражданскую войну из-за вопроса о том, с какого конца следует разбивать яйцо. Соблазн уподобить конфликт сусистов и сушистов классической войне тупоконечников из Лилипутии с остроконечниками Блефуску появляется иной раз и у меня, в редкую минуту слабости. Но уже в следующую минуту я отчетливо вижу, что такое сравнение никак нельзя признать корректным. Ибо проблема «си» и «ши» отнюдь не сводится к вопросам хорошего тона и грамотности. В пределе — это все та же проблема всемирной культурной энтропии. И посильного сопротивления ее росту.

По большому счету, речь идет не о том, какой русский звук ближе к тому или иному японскому. Речь идет о порожденном мозговой ленью уповании на стандарт. О наивной вере в латинские буквы — которые в перспективе, конечно же, должны вытеснить китайские иероглифы, японскую кану, арабскую вязь, славянскую кириллицу и вообще всё нестандартное. Речь о ленивом снисхождении: ну ладно, хотите по-русски, будет вам по-русски. Было “shi”, стало «ши». Было “ji”, станет «джи». Видим “tsu”, так и напишем — «тсу». Логично? Ну, еще бы...

Пока худо-бедно держатся европейские языки. Только человек без высшего образования прочтет надпись “Bordeaux” как «Бордеаукс». Человек с дипломом, скорее всего, распознает слово как французское — и, значит, нетривиальное в прочтении. Может быть, даже поинтересуется у знающих людей, как такое слово читается на языке Вольтера и Зидана. Журналист наверняка поинтересуется. Потому что знает: напишет неправильно — будет позор.

А японское слово перевернуть — позора не будет. Потому что язык редкий и страна экзотическая. Знающих людей мало, и страшно далеки они от народа. Не перед кем позориться. Вот они и плодятся, как бациллы, вот они и множатся — все эти «кокеши» и «такаши», «кокоши» и «тотоши», «чушиды» и «шимоды», «мукаши-банаши» и «шичими-тогарашы». Тьфу...

Поубивал бы, ей-богу. Вот этими самыми руками. Передущил бы, гадов...

СТОП!

Я спокоен... спокоен... Я невозмутим... Дышу ровно... Все хорошо...

О чем это я?..

Ах, да. О росте энтропии.

Конечно, я не знаю замысла Создателя. Возможно, он считает, что немного погорячился при вавилонском столпотворении, и теперь взялся отыгрывать назад, потихоньку лепя единый язык для всей планеты. Возможно, ему кажется, что обходиться одной азбукой и одной фонетикой будет удобнее и проще. Возможно. Но мне почему-то упорно хочется видеть волю Провидения не в упрощении, а в усложнении. Поэтому в модных словах «суши» и «сашими» я слышу отнюдь не божественное эсперанто, а языковую самодеятельность неизвестного жлоба.

Говорят еще, что язык развивается по собственным законам. Высоколобое филологическое мнение ему не указ. Что укоренилось в языке, то и укоренилось. Спорить с этим трудно – особенно, когда сам употребляешь слово «гейша». Но с тем, что укоренилось сотню лет назад, можно смириться. А со злом, которое укореняется сегодня, мириться нельзя. С этим злом мы еще повоюем. Мы еще скажем свое веское слово. Мы еще побарахтаемся, как та лягушка в сметане. И мы еще поглядим, чья в итоге возьмет.

Иногда на меня находит меланхолия, рефлексия и самоедство. Я говорю:

– Но ведь это ненормально! Это паранойя! Допустимо ли так переживать из-за одной-единственной буквы? Может, мне врачу показаться?

А в ответ слышу:

– Ты что! Кто еще может похвастать такой роскошной паранойей? Гордись!

Вот я и горжусь. Вот и продолжаю. Простите меня все, кого ненароком обидел или еще обижу.

Остров Блефуску должен быть разрушен.

Букве «ша» не место в японских словах.

Ай рабу ю

Они явились ко мне втроем. Возглавлял делегацию доктор технических наук, профессор Рауль Абрамович Лишайников. За ним маячили две незнакомые мне фигуры – одна побольше, другая поменьше.

– Знакомься, Вадичек, – сказал профессор. – Это Владлен Эдисонович Дупловский. Мой старый друг, которого я не видел шесть лет. Приехал к нам на конференцию. Прямоком из этой, как ее...

– Силикон Вэллей! – многозначительно произнес Владлен Эдисонович.

Моя ладонь утонула в его лапе. Он был одновременно тяжел и поджар. Так, наверное, выглядел бы дедушка Крылов, если бы решил на старости лет заняться физкультурой.

– А вот это – Гена Сучков. Из Зеленограда.

– Очень приятно, – сказал Гена Сучков, энергично потряс мою руку и поправил очки. Он не был ни поджар, ни тяжел. Он был легок и тощ. Он напоминал юного Пушкина, перезанимавшегося в своем лице.

– А дело у нас такое, – сказал Рауль Абрамович. – Надо позвонить в баню и договориться, что мы к ним придем.

– Зачем договариваться? – не понял я. – Идите сразу, да и всё.

– Объясняю. Это баня не простая. Она по блату. Нас туда пустят бесплатно, надо только сказать, что мы от мистера Судзуки.

– Кто такой?

– Не помню. Вчера был банкет, пришел какой-то мистер Судзуки. Мы с ним выпили, разговорились. Короче, там есть баня, которой заведует его лучший друг. Вот телефон. Только он сказал, что разговаривать надо очень вежливо.

– Ха! – сказал я. – «Очень вежливо»... Да вы понимаете, что это такое – разговаривать по-японски *очень вежливо*? По-марсиански легче разговаривать, чем по-японски *очень вежливо*...

– Я понимаю. Он тоже так сказал. Он даже написал на отдельной бумажке все слова, которые надо в телефон говорить. Но ты сам понимаешь: банкет, спиртное, тыры-пыры... В общем, потерял я эту бумажку. Вся надежда теперь на тебя.

– Ну-ну...

– А в чем, собственно, трудность? – поинтересовался Владлен Эдисонович. – Неужели это настолько серьезный *бит оф проблем*?

– Видите ли, – сказал я, – это трудность субъективного толка. Мне крайне редко приходится разговаривать *очень вежливо*. В повседневной жизни это не так необходимо, поэтому практики почти нет. А практика нужна, поскольку очень уж

все сложно. Понимаете, в учтивой речи следует из всех сил принижать себя и всё, относящееся к себе. А собеседника и всё, относящееся к нему, надо из всех сил возвышать. Требование логичное – но беда в том, что все эти принижения и возвышения осуществляются сугубо грамматическими средствами. Существуют такие специальные глагольные формы – отдельно для себя и для собеседника. Сами по себе они ничего не значат, поэтому в разговоре их легко перепутать. Возвысить себя и принизить собеседника. А это не дай бог. Это оскорбление. Иностранцам вообще не рекомендуют говорить *очень вежливо* – от греха подальше.

– Вадичек! – сказал Рауль Абрамович. – Это все очень интересно. Но нам не надо про глагольные формы. Нам надо в баню. Я понимаю, это сложнее, чем с девушками любезничать – но ведь и практика будет, не так ли?

– Хорошо, давайте телефон.

– Вот. Я тебе его даже сам наберу. Короче: мы все, сколько нас тут есть, хотим пойти к ним в баню. Сегодня днем, часа в четыре.

Раздался длинный гудок, и вслед за ним мужской голос:

– *Моси-моси!*

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте, – ответил голос.

Я сжал трубку и мобилизовался.

– Вас беспокоит негодный сотрудник университета.

– *Хай!* – сказала трубка. «Хай», мы вас поняли, продолжайте.

– Меня зовут Лишайников.

– *Хай!*

– Я негодный друг господина Судзуки.

– *Хай!*

– Мне кажется, что я хотел бы посетить вашу достойную баню. С моими негодными друзьями.

– *Хай!* – сказала трубка. – А сколько достойных господ соизволит посетить нашу негодную баню?

– Вашу достойную баню, – сказал я, – соизволит посетить три негодных человека.

– Вадичек! – вмешался Рауль Абрамович. – Ты почему три пальца отогнул? Нас четверо!

– Минуточку! – я зажал трубку ладонью. – А кто четвертый?

– Ты, конечно!

– Почему я? Я не собирался...

– А как без тебя? Вдруг они будут что-нибудь говорить?

– Простите пожалуйста, – сказал я в трубку. – У меня нет слов, чтобы передать, как мне неловко – но тут у нас появился еще один негодный человек. И он тоже хочет в вашу негодную баню.

Через секунду я осознал, какую страшную вещь вымолвил.

– Ой! – спина у меня похолодела. – Я перепутал! Я имел в виду: «достойную баню». Наш негодный человек хочет к вам в достойную баню!..

Трубка молчала.

– Накрылось! – шепнул я профессору. – С грамматикой облажался, теперь ничего не выйдет. Зачем вы меня перебили?

Рауль Абрамович виновато разводил руками.

– *Моси-моси!* – сказала вдруг трубка.

– *Моси-моси!* – отозвался я.

– Значит, пожалуй четыре достойных гостя?

– Совершенно верно.

– А когда это произойдет?

– Сегодня в четыре часа.

– Понятно. Будем с нетерпением ждать.

– Спасибо. Мы пожалуем.

– Всего доброго.

– До свиданья.

Я уронил трубку и рухнул в кресло.

– Все нормально. Они нас ждут.

Ученые профессора тряслись от смеха.

– Что случилось? – спросил я.

– Ничего, ничего, – сказал Владлен Эдисонович. – Это очень кул, что вы спикаете по-джапанизски. Просто было забавно наблюдать, как вы все время кланяетесь. Ведь по телефону этого не видно...

– Привычка, – хмуро сказал я, вытирая со лба капельки пота.

* * *

За окнами автомобиля проплывали заснеженные поля. Город остался далеко позади.

– Слушай, Ралька, мы правильно драйваем? – спросил Владлен Эдисонович.

– Абсолютно, – кивнул Рауль Абрамович. – Дорогу я помню и без бумажки. Скоро будет заправка, потом мост, а за мостом указатель.

– Ну-ну... А что это вообще, куда мы драйваем, – сауна?

– Сауна там тоже есть. Если мистер Судзуки не наврал. Но это не главное. Главное, что это *онсэн* и что там есть *ротэмбуро*. Горячий источник с открытой ванной.

– Я очень эксайтид, – произнес Владлен Эдисонович. – Я еще ни разу не был в этом... как ты сказал. А еще говорит, не знает японского...

– Совершенно не знаю, – подтвердил профессор. – Знаю только три слова: *онсэн*, *ротэмбуро* и *каки*. «Каки» значит «хурма». Приезжай к нам осенью и увидишь: вот на этих деревьях вдоль дороги будут висеть каки.

– *Каки*, – повторил Владлен Эдисонович. – Это, наверное, *найс вью*...

Гена Сучков поправил очки на носу.

– Вот заправка! – Профессор притормозил. – А вон мост! И указатель... Вадичек, это на баню указатель?

– Там три указателя, – сказал я, приглядевшись. – И все на бани.

– Что, все на разные? Как называются?

– «Ютопия», «Ю Ноу» и «Ай Рабу Ю».

– Ничего себе... Что ж он молчал, что их тут столько?

– А которая наша?

– Если б я помнил. Придется все три проверять.

Мы свернули на узкий проселок. Развесистые сосны с обеих сторон тянули к нам белые лапы.

– А почему у них бани по-английски называются? – спросил Гена Сучков.

– Это не совсем по-английски, – сказал я. – Это игра слов. «Горячая вода» по-японски – «ю». Если употребить соответствующий иероглиф, то «Ай рабу ю» будет означать «Я люблю горячую воду». Билингва.

– Куда это указатель, Вадичек?

– Как раз туда. В это самое «Ай Рабу Ю». Направо и еще триста метров.

Через триста метров дорога уперлась в берег озера. Здесь была гравийная стоянка, и неподалеку двухэтажное здание бани. Мы вылезли из машины.

– Ба! – воскликнул Владлен Эдисонович. – Смотрите! Рашн!

Из озера в метре от берега торчал столб с прибитым к нему жестяным щитом. На щите красовалась надпись:

СИБИРСКИ ЛЕБЕДР ЗАРАВСТВУНТЕ В Japan

– Точно! – обрадовался Рауль Абрамович. – Всё, как этот мистер и говорил. Озеро, куда прилетают зимовать наши лебеди. Значит, мы не ошиблись.

– Не вижу лебедей, – сказал Гена Сучков, оглядывая озеро.

– Еще не прилетели. Или уже улетели. Полотенца бы не забыть...

Войдя внутрь, мы разулись, поставили обувь в специальные ячейки и по дощатому полу подошли к стойке, за которой дежурила девушка лет двадцати.

– Здравствуйте, – сказал я. – Мы вам сегодня звонили.

Девушка растерянно изобразила легкий поклон.

– Добро пожаловать... С вас по пятьсот иен...

Я повернулся к Раулю Абрамовичу:

– Говорит, платить надо.

– Как это «платить»? – удивился Рауль Абрамович. – Скажи ей, что мы от мистера Судзуки.

– Мы негодные друзья господина Судзуки, – снова обратился я к девушке. – Мы сегодня утром по телефону договаривались...

– Подождите немножко, – пролепетала девушка и исчезла за занавеской.

Через полминуты к нам вышел импозантный сидящий мужчина.

– Здравствуйте, – сказал я ему. – Мы негодные друзья господина Судзуки. Мы вам сегодня звонили.

Он обвел нас внимательным взглядом.

– Желаете принять ванну?

– Совершенно верно.

– Милости просим. Цена билета пятьсот иен.

– Настаивают на деньгах, – перевел я.

– Это какое-то недоразумение. – сказал Рауль Абрамович и шагнул к стойке.

– Судзуки-сан! Дую ноу хим? Виа хис фрэндс!

– Подождите немножко, – сказал мужчина и тоже исчез.

– Сколько просят-то? – спросил Владлен Эдисонович.

– Пятьсот иен. Грубо говоря, пять долларов.

– Так может, заплатим? Не такие уж большие деньги.

– Эх, Владлен! – вздохнул Рауль Абрамович. – Сразу видно, что ты совсем не знаешь Востока. Не ведаешь, что японская культура строится на сохранении лица. Поставь себя на место этого Судзуки. Он обещал нам бесплатную баню, мы ему поверили, поехали – и никакой бесплатной бани не получили. Это значит, он не оправдал надежд, не выполнил обещания, не подсуетился. Одним словом, потерял лицо. От позора он возьмет и повесится – а мы будем виноваты. Тебе этого хочется?

– Нет, – сказал Владлен Эдисонович. – Такого мне не хочется. Может, нам лучше просто уйти?

– Это будет еще хуже. Выйдет, что мы вообще никакой бани не получили, ни платной, ни бесплатной. И тогда он точно повесится. Нет, теперь мы должны стоять до конца.

– А вдруг баня не та? – предположил Гена Сучков. – Мало ли...

– Теоретически не исключено, – согласился профессор. – Сейчас уточним.

Занавеска отодвинулась, и мы увидели лысого дедушку лет девяноста. За ним маячили застенчивая девушка и седеющий мужчина.

– Добрый вечер, – сказал я дедушке. – Мы негодные друзья господина Судзуки. Он должен был с вами договориться насчет нашего прихода.

Дедушка поморгал, пожевал губами, помолчал. Потом спросил:

– Вы друзья Таро Судзуки?

– Как его зовут? – обернулся я к профессору. – Какое у него имя, у вашего Судзуки? Таро или не Таро?

– Не помню, – сказал профессор. – Может, Таро. А может, и не Таро. Впрочем, да – кажется, Таро. Определенно Таро.

– Именно так, – кивнул я дедушке. – Мы негодные друзья господина Таро Судзуки.

– Понятно, – сказал дедушка. – Пожалуйста!

Он широко взмахнул своей худой старческой рукой. Седеющий мужчина и застенчивая девушка слегка поклонились. Мы поклонились тоже и двинулись вдоль по коридору.

– Вот, – довольно сказал Рауль Абрамович. – Спасли жизнь человеку. А вы говорите, не та баня. Держитесь меня в этических вопросах.

Пройдя под синей занавеской с иероглифом «мужчина», мы оказались в предбаннике. Вдоль стены тянулись полки с пустыми корзинами. Профессор Лишайников по-хозяйски обошел помещение и остановился посередине.

– Объясняю, – сказал он. – Здесь все сделано так, чтобы нам было хорошо. Все продумано для этой цели. Вот весы, кому взвеситься. Вот таблица веществ, в которые мы будем окунаться. Сколько ионов натрия, сколько марганца, сколько сероводорода. Вот список болезней, от которых эти вещества излечивают. Простуда, геморрой, неврозы, психозы... Если кому интересно, Вадик переведет. Вот бесплатные зубные щетки. Паста уже внутри, прямо в щетках – даже мазать не надо, прямо суй в рот. Вот бритвы, тоже бесплатные. Бриться ими не советую, порежетесь. Лучше дотерпите до дома. Вот массажное кресло, сто иен сеанс. Вот вентилятор, вот зеркало. Располагайтесь.

– А вещи запереть негде? – Владлен Эдисонович хмуро озирался со снятыми брюками в руках. – У меня тут Американ Экспресс...

– Зачем их запирать? Где здесь воры и бандиты? Мы здесь вообще одни!

Владлен Эдисонович молча свернул брюки и положил в корзинку.

– Держите вот еще, – Рауль Абрамович достал из своего пакета и вручил каждому маленькое полотенце. – Прикроете чресла.

– От кого? – испугался Гена Сучков.

– Друг от друга, – объяснил профессор. – Такое правило. Можно в принципе и не прикрывать, но обязательно иметь с собой. Это рудимент смешанных бань. Исторически японцы парились вперемешку с японками и прикрываться до сих пор не отвыкли. Но мне даже нравится. Прикроешь чресла и чувствуешь себя римлянином. А вот очки я рекомендовал бы снять – ибо первым делом мы пойдем в сауну, и дужки обожгут нам ушки.

– У меня черепаховые, – сказал Гена Сучков. – Не обожгут.

– Тогда вперед! – профессор потянул на себя дверь и переступил порог мыльни. – Продолжаю инструктаж. Перед посещением *ротэмбура*, равно как и сауны, необходимо тщательное омовение чресел и остального организма. Это делается сидя – можно из шайки, можно из душа. Вот шампунь и жидкое мыло. Отличить одно от другого можно по действиям сидящего рядом нелысого японца. В данный момент японца вообще никакого нет, поэтому спросим Вадика. Это что написано? Шампунь? Значит, вот это мыло. Жмем на пимпочку, набираем в ладошку, мылим чресла. Предусмотрены мочалки, зеленые и розовые. Температура воды выставляется вот здесь. Через полминуты вода кончается, надо повторить нажатие. Это у них для экономии. Все продумано!

– А сауна-то где? – спросил Владлен Эдисонович, потирая на груди мокрую шерсть и озираясь.

Рауль Абрамович вышел на середину мыльни и медленно совершил поворот на триста шестьдесят градусов.

– Вадичек, – произнес он, – я без очков плохо вижу. Где тут сауна?

– Мне кажется, – сказал я, – что об этом лучше спросить мистера Судзуки. Я тоже не вижу никакой сауны.

– Мда... Кто-то из нас что-то перепутал. Будем считать, что он. Но ничего. Сауна не главное. Главное – *ротэмбура*. Чресла у нас помытые, можно окунаться.

Он решительно направился к стеклянной двери, ведущей наружу. За ней начиналась цепочка уложенных на гравий каменных плит, гладких и холодных. Переступая с плиты на плиту, мы добрались до бассейна, вырытого в земле и обложенного по периметру гранитными валунами. Рауль Абрамович с видом гурмана окунул в него правую стопу.

– Сорок пять градусов, – сообщил он нам. – У меня нога намётанная. Сорок пять – это близко к идеалу. Сорок пять с половиной было бы совсем хорошо. Но для начинающих и сорока пяти хватит.

Он опустил стопу на каменное дно, перенес на нее центр тяжести, присоединил к правой стопе левую и медленно погрузился в воду по грудь. Мы последовали его примеру.

– А что? – произнес Владлен Эдисонович. – Очень даже!

– Ха! – воскликнул профессор. – А он не верил! Он сомневался! Владлен, то, в чем ты сейчас сидишь, есть квинтэссенция японской культуры! Восток как таковой. Ты погляди на эти камни, погляди на этот мох, который их облепил! Послушай журчание этого источника! Внюхайся в эту воду! Или взгляни на табличку, которая перед тобой. Что на табличке написано, как ты думаешь? На ней написано трехстишие, сочиненное безымянным поэтом, который посетил этот источник триста лет назад. Чтобы мы тут не просто сидели и потели – а чтобы мы думали о возвышенном! Вадичек, переведи нам трехстишие.

– «Вода не для питья», – перевел я.

– А природа вокруг! Нет, Владлен, ты погляди на природу! Этой природой можно любоваться круглый год. Весной сакуры, летом хризантемы, осенью каки, зимой – снег на голых ветках... Разве такое есть в твоей Калифорнии?

– Ну-у-у-у... – протянул Владлен Эдисонович.

– А это что такое и куда? – вдруг спросил Гена Сучков, показывая пальцем на узкий канал, выходящий из бассейна и крюком заворачивающий за бамбуковую изгородь. – Может, это как раз в сауну?

– Может, – сказал Рауль Абрамович. – Может, в сауну. А может, и не в сауну. Надо проверить. Проверишь?

– Проверю! – Гена встал и сделал шаг к каналу.

– Полотенце! – напомнил ему профессор.

– А, да... – Гена поднял с гранитного валуна полотенце, прижал его к паху левой рукой и, балансируя правой, побрел по колено в воде. – Тут горячо! – сказал он на входе в канал, где как раз лилась вода из источника. – Тут, наверное, все сорок семь! – Высоко поднимая тощие ноги, он миновал горячее место и исчез за изгородью.

– Это, наверное, в бабское отделение! – шепнул Рауль Абрамович и затрясся.

– Зачем? – удивился Владлен Эдисонович.

– Тоже рудимент! Исторически было одно отделение на всех, теперь только дорожка осталась. Ну ничего, разберется, вернется

Профессор погрузился в бассейн по шею. Владлен Эдисонович зачерпнул ладонями воды, омыл бакенбарды, довольно крякнул и погрузился тоже. Я уже сидел в воде по самые ноздри, наблюдая, как длинные сосновые иголки, похожие на ржавые пинцеты, плавают передо мной по белесой водной поверхности. К одному такому пинцету подрулила водомерка. Принюхалась, поморщилась – и порулила прочь, отфыркиваясь от испарений. Я ей посочувствовал.

– Удивительно, – сказал Владлен Эдисонович. – Такое райское место, и ни души!

– Погоди еще, – ответил Рауль Абрамович. – Часов с пяти-шести тут будет не протолкнуться. Про выходные я вообще молчу. Сейчас время рабочее, одни прогульщики приходят, вроде нас.

Он вылез из бассейна, подошел к торчащему из стены крану с надетым на него зеленым шлангом, повернул вентиль и облил себя холодной водой. Я тоже вылез, но вместо обливания завалился в сугроб. Полминуты полежал на спине и столько же на животе. Владлен Эдисонович просто постоял на каменных плитах, остывая пассивно. Потом все трое залезли обратно в бассейн.

– Что-то он долго, – озабоченно сказал Рауль Абрамович. – Взяли его тетки в оборот. Вадичек, может сходишь, посмотришь?

Не успел я дойти до канала, как Гена вышел оттуда сам. Левой рукой он прижимал к паху полотенце, а правой хватался за валуны, чтобы не споткнуться.

– Сауну нашел! – прокричал он радостно.

– Какую еще сауну? – удивился Рауль Абрамович. – Ты где был-то?

– Там женское отделение. Совершенно пустое. И в нем сауна. Сто десять градусов.

– Что за матриархат? – возмутился Владлен Эдисонович. – Почему тогда в мужском нету?

– Новые времена, – сказал я. – Политическая корректность.

– Может, сходим тогда? – Владлен Эдисонович вопросительно оглядел всю компанию. – Раз уж там пусто, а? Выставим караул и попаримся, как люди. А то мистер Судзуки узнает, что мы не попарились, и руки на себя наложит.

Рауль Абрамович задумался.

– Я в затруднении, – сказал он. – Конечно, можно еще раз спасти жизнь этому несчастному Судзуки. Но ведь я, как-никак, университетский профессор. Мне не к лицу тайком посещать женские бани. А ты какого мнения, Вадичек?

– По-моему, все не так трагично, – сказал я. В конце концов, мы могли перепутать. Мы иностранцы. Мы вовсе не обязаны знать иероглиф «мужчина». Если нас прищучат, мы всегда сможем оправдаться.

– Ты думаешь? Тогда иди первый, а мы за тобой.

Пройдя гуськом по каналу, мы оказались в точно таком же бассейне. Вылезли из него, прошлепали по каменным плитам и столпились у двери. Запотевшее стекло скрывало мыльню от постороннего взора. «Есть кто-нибудь?» – крикнул я, приоткрыв дверь на два пальца. Ответа не было. Мы проскользнули внутрь и двинулись по мыльне на цыпочках, прижимая полотенца к чреслам. Прислушались к предбаннику – там тоже было тихо.

– Отлично, – шепнул Рауль Абрамович. – Кто на шухере встанет?

– Давайте, я постою, – сказал Гена.

– Давай. Мы тебя потом сменим.

Полки в сауне были застелены широкими оранжевыми полотенцами. Пахло горячим деревом. С комфортом рассевшись, мы втянули ноздрями жаркий сухой воздух.

– Татэма ий дэс! – сказал профессор Лишайников.

– Чего-чего? – не понял Владлен Эдисонович. – Джапанис?

– Ага. Значит «очень хорошо».

– Понятно.

– А еще мне нравится, как по-японски «понедельник».

– Ну?..

– «Заебон»!

– Как?! – не поверил я своим ушам.

– А разве не так?

– Всегда было «гэцуёби».

– А вторник?

– «Каёби».

- А дальше?
- «Суйёби», «мокуёби», «кинъёби», «доёби»...
- Во! Точно! «Доёби»! А мне почему-то запомнилось «заебон». Выходит, это пятница?
- Суббота.
- Мда... Попробуй выучи такой неприличный язык...
- Как же ты преподаешь? – спросил Владлен Эдисонович. – У тебя студенты хорошо понимают английский?
- Мой английский понять несложно, – самокритично сказал профессор. – Проблема не в языке. Проблема в менталитете.
- То есть?
- Ну, вот тебе пример. У меня один аспирант выращивает кремний на опытной установке. Сам знаешь, все кристаллы никогда хорошими не выходят. Большая часть бракуется, что-то остается. Это нормально, так всегда. А тут еще и не повезло парню с первого раза. Из десяти кристаллов ни одного хорошего. Приходит ко мне, весь озадаченный. Сэнсэй, говорит, в чем тут дело? Я его успокаиваю: мол, всё делаешь правильно, тебе просто не повезло *по закону бутерброда*. Он не понимает. Я ему говорю: знаешь закон бутерброда? «Бутерброд падает маслом вниз» – слышал про такой закон? Нет, отвечает, не слышал. Я ему говорю: ты купи в магазине батон, дома порежь его на двадцать кусков и каждый намажь маслом. Сложи все в тарелку, а потом брось к потолку, чтобы они по комнате разлетелись. И посчитай распределение – сколько маслом вверх, а сколько вниз. Он кивнул, поклонился и говорит: хорошо, сэнсэй, я сегодня же это сделаю.
- Ничего себе, – сказал Владлен Эдисонович. – У них что, так туго с чувством юмора?
- Почему туго... У них просто традиционный восточный взгляд. Если сэнсэй говорит, значит надо выполнять, а не смеяться. Но потихоньку отмирает этот взгляд. У меня только один аспирант такой серьезный, а все остальные с чувством юмора. Любые задания воспринимают как шутку. И не выгонишь ни одного – за обучение уплачено.
- А вот у нас в Юнайтед Стэйтс... – начал было Владлен Эдисонович, но не договорил. В дверь просунулась голова Гены Сучкова и задвигала бровями. Мы проворно соскользнули с оранжевых полотенец – но только успели добежать до выхода, как Гена заскочил в сауну целиком, захлопнул дверь и схватился обеими руками за деревянную ручку.
- Кто же так стоит на шухере? – укоризненно шепнул ему Рауль Абрамович.
- Надо было заблаговременно!
- Чччч! – прошипел Гена и припал ухом к двери. С полминуты все молчали.
- Вот он, закон бутерброда, – заметил Владлен Эдисонович. – А я уже пропотел. Мне бы выйти уже...
- Придется подождать, – шепотом сказал профессор. – Сейчас бабушки помойются и пойдут в бассейн. А мы вылезем – и через коридор в наше отделение. Сколько их там всего?
- Не знаю, – честно признался Гена. Я услышал шорох, и сразу сюда. А они вон как быстро.
- Вода течет? Воду слышно?

Гена еще раз приложил ухо к двери — как вдруг дверь слегка дернулась. Гена подпрыгнул на месте, крепче вцепился в ручку и уперся тощей ногой в косяк. Я поспешил ему на помощь. С той стороны подергали еще пару раз.

— Выпустите меня! — взмолился Владлен Эдисонович. По его бакенбардам струился пот. — Я притворюсь японкой!

— На пол, Владлен, на пол! — скомандовал Рауль Абрамович. — Внизу легче.

Владлен Эдисонович принял положение лежа. Дверь больше не дергалась, но мы с Геной боялись ее отпустить — еще минуту не выпускали ручки и не отрывали ног от косяка. Рауль Абрамович тем временем обмотал вокруг себя оранжевое полотенце, а из маленького сделал подобие чадры.

— Все спрятал, — сказал он. — Делайте так же. Ни одна бабушка не испугается.

Дверь рванулась с удвоенной силой. Мы с Геной вцепились в ручку что было мочи — но со второго рывка она оторвалась. Споткнувшись о лежащего на полу Владлена Эдисоновича, мы оба завалились в промежуток между полками и кирпичной стенкой, отгораживающей печь.

В дверях стоял давешний импозантный мужчина в резиновых сапогах. Округлив глаза, он смотрел на открывшуюся ему сцену из античной жизни. Патриций в оранжевой тоге, египетский сфинкс и два поверженных легионера.

— Мы перепутали, — сказал я, потирая ушибленный затылок. — Мы не умеем читать. Мы боялись испугать женщин. Извините, пожалуйста...

Глаза мужчины немножко сузились обратно.

— Ага, — сказал он. — Конечно...

Дверь закрылась.

— Ну вот, — сказал Рауль Абрамович, снимая с себя тогу и расстилая ее на полке. — Ложная тревога. Нет там никаких бабушек.

Поместив отломанную дверную ручку на кирпичи, мы покинули сауну. Владлен Эдисонович открыл дверь на улицу, ступил за порог — и вдруг молниеносно впрыгнул обратно, отдавив мне ногу.

— Там в воде кто-то сидит! — прошептал он. — Там бабушка!

— Через коридор! — скомандовал Рауль Абрамович. Мы бегом пересекли мыльню, вышли в предбанник и остановились под занавеской.

— Перебежками по одному, — сказал профессор. — Кто первый?

— Давайте я, — вызвался Владлен Эдисонович. Он высунул голову из дверей, повертел ей туда-сюда, прижал к паху полотенце и засеменил по дуге в соседний вход — но через две секунды прискакал обратно с изменившимся лицом.

— Там тоже бабушка! — сообщил он нам. — Везде бабушки!

— Что за ерунда? — пробормотал Рауль Абрамович. — Вадичек, иди разберись.

— Занавеску видите? — сказал я. — Какого она цвета?

— Хм... Теперь она синяя. А раньше была красная, я точно помню. Мы под синюю зашли, под мужскую.

— Ну вот. Раньше мужское отделение было там. А теперь здесь. Поскольку сауна у них одна, отделения меняются. До пяти часов сауна в женском, а после пяти — в мужском. Перевешивают занавески. Так часто делают.

— А нам не сказали?!

— Не сказали. Видимо, забыли. Этот дядька, наверное, нас и искал, чтобы сказать. А мы от него зачем-то спрятались.

– Получается, там вовсе не бабушка сидит, в бассейне?
– Выходит, не бабушка. Скорее, дедушка. Бабушки там, где наши вещи лежат. Потом попросим, чтобы их принесли.

– Правильно. А пока пошли к дедушке.

Уже ничего не боясь, мы выбрались на улицу, преодолели цепь каменных плит и оказались у бассейна. Из него торчала мужская голова с короткой стрижкой, упитанными щеками и узкими щегольскими усиками.

– *Каничива*, – сказал Рауль Абрамович и изобразил поклон. Голова на приветствие не ответила. Мы залезли в воду и расселись вдоль гранитных валунов, побросав на них свои полотенца.

– *Татэма ий дэс*, – еще раз обратился к голове профессор. Голова молчала. Профессор вздохнул и лег затылком на камень, устремив взгляд на небо. Оно начинало темнеть. Над горизонтом зажглась первая звезда.

– Это Марс или Венера? – любопытствовал Владлен Эдисонович.

– Юпитер, – авторитетно заявил Гена Сучков. – Там сейчас должен быть Юпитер.

– Да, – согласился Рауль Абрамович. – Теперь опять называется Юпитер.

– Что значит «опять»? – не понял Гена.

– Молодой еще, – усмехнулся профессор. – Не знает, как Юпитер назывался при коммунистах.

– А как?

– Юленинград!

Три русских живота синхронно подпрыгнули под водой и затряслись, гоня мощную волну. Дойдя до головы напротив, волна плеснула ей в ноздри и намочила усы. Бассейн еще дрожал от нашего хохота, как вдруг всё перекрыл недовольный хриплый рев:

– *ЭЙГО ВАКАННАЙ !!!*

Сразу вслед за этим голова начала подниматься из воды – и нам открылась удивительная картина.

Непосредственно за человеческой головой шла голова рыбы. Вылезая из воды, она тянула за собой грациозно изогнувшееся туловище, мощный хвост и крутые волны, в которых рыба плескалась. Волны были синие с белыми барашками, а рыбу покрывала серебристая чешуя. С рыбой соседствовали два дракона с когтистыми лапами и длинными языками – они начинались на плечах, обвивали бицепсы и трицепсы, извивались на предплечьях и свешивали хвосты на запястья. Разглядеть, что было в паху, мешало полотенце. На ногах опять начинались разноцветные змеиные кольца, уходившие под воду.

Обладатель всей этой красоты, надменно выпрямившись, смотрел на нас, как розовый фламинго на белых червяков. Потом он повернулся задом, явив нашему взору потрясающий гибрид японской сакуры с запорожским дубом – это мощное дерево цвело по всей его спине мелкими цветками, тут и там выкидывая сильно стилизованные желуди. Корни дерева расплзались по ягодицам и очень достоверно переходили в змеиные кольца. Покрытая чешуей нога шагнула за валуны, приняла на себя тяжесть тела – и вместе с другой змеиной ногой понесла всю эту выставку в мыльню.

– Что он сказал, Вадичек?

– Сказал, что не понимает английского языка.

– Так ведь мы... А, ну да, ему все едино...

– Кто это такой вообще? – спросил Владлен Эдисонович. – Зачем так орать?

– Это местный мафиози. Якудза. Правда, Вадичек?

– Похоже на то. Только вот мизинец у него присутствует. Был бы отрублен, значит сто процентов якудза. А так только девяносто. Не исключено, что он никакой не якудза, а просто *тимпира*. Приблатненный.

– Ну, все равно... – пробормотал Владлен Эдисонович. – А ведь там у меня Американ Экспресс... Вы говорили, здесь нет воров и бандитов...

– Твой экспресс у бабушек, – успокоил его Рауль Абрамович. – Бабушки на страже. Мне вот интересно, почему у него рыба на груди.

– Это карп, – сказал я. – Символ мужества. Или богатства, не помню.

– А драконы?

– Драконы – символ чего угодно. Драконов где хочешь рисуй, не прогадаешь.

– А сакура чего символ?

– Сакура – символ Японии. Пора бы знать такие вещи.

– А, ну да... Вот видите, здесь даже уголовники чувствуют прекрасное. Даже у них все продумано. Своя эстетика, своя символика...

– У наших тоже символика, – хмуро отозвался Владлен Эдисонович. – Кинжал символизирует «смерть ментам». Черный квадрат – «от звонка до звонка». Паутина – «сижу за гоп-стоп». Белая корона – «пахан». Три точки – «петух»...

– Что ты, Владлен!.. – запротестовал Рауль Абрамович. – Как можно сравнивать?..

– А есть еще аббревиатуры! ЛЕБЕДУН – «любить ее буду, если даже уйдет навсегда». ТИГР – «товарищи, идем грабить ресторан». ДЖОН – «дома ждут одни несчастья». ПИПЛ – «первая и последняя любовь». ЛСД – «любовь стоит дорого»...

– Боже! – воскликнул профессор. – Откуда такие познания?

– А я знаю, как расшифровывается ЯПОНИЯ, – сказал вдруг Гена Сучков.

– Как?!

– «Я прощаю обиду, не измену, ясно?»

Дверь в мыльную открылась, и мы снова увидели татуированного посетителя. Уверенно ступая чешуйчатыми ногами по камням, он нес перед собой фанерный короб. Залез в бассейн, сел, поставил короб перед собой на воду. Из-за бортов поднималось узкое горлышко кувшина. Посетитель наклонил его, побулькал, вынул из короба бумажный стаканчик, опрокинул в рот и крякнул:

– УМЭ!

– Очень вкусно, – перевел я.

– Понятно, – кивнул Владлен Эдисонович. – Хочет, чтобы мы с ним вместе порадовались. Передайте ему, плиз, что я глубоко тронут. И пусть он еще выпьет.

– Да ладно, – сказал я. – Не станет он с фраерами разговаривать.

Татуированный меж тем снова наклонил емкость и булькал несколько дольше, производя в коробе какие-то манипуляции. Потом вернул кувшин в вертикальное положение и толкнул короб обеими руками от себя.

– НОМЭ!

Слегка покачиваясь, короб пересек бассейн и уткнулся в грудь Владлену Эдисоновичу. Внутри стояли четыре бумажных стаканчика, наполненных на треть, и мелкие коробочки с разной закуской.

– Угощает, – перевел я.

– Спасибо... Как «спасибо», забыл... Аригато?... Аригато!!!.. Это сакэ?... И даже горячее?... О-о-о... Ралька, ты только попробуй!

– Я за рулем, – сказал Рауль Абрамович. – Хотя нет, давай, а то обидится...

Мы выпили, составили стаканы в пирамидку и с поклоном отправили короб обратно. Татуированный посетитель поймал его, налил, выпил, чем-то закусил. Потом наставил на нас указательный палец и спросил:

– *Амэрика?*

– Йес, – сказал Владлен Эдисонович.

– Ноу, – сказал Рауль Абрамович.

Татуированный недоуменно перевел взгляд на Гену Сучкова.

– Раша! – сказал Гена.

– А-а-а! – закивал татуированный. – *Росиа!*..

Он разобрал пирамидку, повторил разлитие и снова отправил короб в нашу сторону, выразительными знаками призвав нас не только пить, но и закусывать. Рауль Абрамович втихаря перелил свое сакэ в чужой стакан. Владлен Эдисонович тщательно исследовал содержимое коробочек.

– Это что за тараканы такие?

– Это саранча, – объяснил я. – Жареная в соевом соусе с добавлением сахара. Довольно вкусно. Только иногда ноги в зубах застревают.

– Нет, саранчи не надо. Тут вот огурцы, морковка, я лучше морковку...

Когда короб снова отплывал от нас, мы подняли вверх сразу восемь больших пальцев. Татуированный радостно осклабился. Настроение у него повышалось.

– *Росиа*, – задумчиво произнес он после третьей. – *Росиа...*

И вдруг просиял:

– *Бубука!*

– Что он говорит? – повернулся ко мне Рауль Абрамович.

– Не пойму, – сказал я. – Бубука какая-то...

– *Бубука!* – повторил татуированный и описал рукой высокую параболу.

– А-а-а! – догадался профессор. – Бубка! Сергей Бубка! Прыжки с шестом.

– *Йес-йес!* – закивал татуированный, отсылая нам третий магарыч. – *Бубука!*

Сэругэй Бубука – намба ван!

Пока мы выпивали, он задумчиво смотрел на воду. Потом сказал:

– *Орэмо вакай токи яттэта.*

– Говорит, в молодости тоже прыгал с шестом, – перевел я.

Татуированный выбрался из бассейна на гравий, подошел к стене, где стояли грабли с бамбуковым черенком, и взял их наперевес. Сделал одухотворенное лицо и побежал в сторону изгороди. Казалось, он хочет перемахнуть через нее и нырнуть в бассейн к бабушкам – но такой подвиг был ему уже не под силу. Он лишь стукнул граблями по гравию, лениво обозначил преодоление планки и плюхнулся в сугроб.

– Ха-ха-ха! – донеслось из сугроба. – *Вакай токи нэ!*

– Молодой прыгал, – перевел я. – Сейчас годы не те.

В сугробе после прыжка осталась обширная вмятина. Мне даже почудилось, что и татуировки отпечатались тоже. Сам прыгун быстро залез обратно в бассейн, потряс кувшином, нацедил остатки в стакан и выпил.

– *Моттэ куру!* – сказал он, опять вставая. – *Мамтэ!*

– Говорит: ждите, принесу еще.

– Он хочет нас напоить, – заключил Рауль Абрамович, когда татуированный скрылся за дверью. – Надо бы нам уже потихонечку-полегонечку...

– Да, собственно, уже и хватит, – сказал Владлен Эдисонович. – Я насиделся.

– Я тоже, – присоединился Гена Сучков. – Голову помыть, и на выход.

Мыльня была пуста.

– Вадичек, это что написано? – спросил профессор. – Мыло или шампунь? Мыло? Значит, вот это шампунь. Все поняли?

Мы расселись на пластмассовых табуретках и принялись намыливать головы.

– *Моттэ кита!* – послышалось сзади. – *О-сакэ!*

Татуированный коробейник стоял у нас над душой со своей провизией. Рауль Абрамович выразительно потыкал пальцем в сторону двери на улицу.

– Лете дринк ин зэ *ротэмбуро!*

– *А-а, йес-йес!* – закивал коробейник. – *Ротэмбуро!*

Он прошагал к двери и исчез за ней вместе со своим коробом. Мы домылись и вышли в предбанник. Корзины с нашей одеждой уже были здесь, заботливо кем-то перенесенные. Владлен Эдисонович обследовал карманы брюк, убедился в сохранности всего оставленного и просветлел лицом.

– Здесь все для людей! – сказал Рауль Абрамович, натягивая носки. – Никогда не устану этого повторять. Здесь все продумано так, чтобы нам было хорошо! Правда, Вадичек?

– Святая правда! – отвечал я. – Как у Будды за пазухой!

– Конечно, конечно, – бормотал Владлен Эдисонович. – У вас тут просто какое-то буржуинство. Бочка варенья, корзина печенья, рюмка сакэ... И все бесплатно.

– Тогда это не буржуинство! – возразил Гена Сучков. – Это наоборот, полный коммунизм! Мы его строили-строили – а построили японцы.

– Да какая разница? – сказал Рауль Абрамович. – Коммунизм, капитализм... Главное, чтобы всем было хорошо, я так считаю. Да, Вадичек?

– Вестимо, – сказал я.

Дверь вдруг открылась, и показалось татуированное тело.

– Э-э-э... – разочарованно произнес наш собутыльник. – *Томаранай?*

– *Томаранай,* – подтвердил я. – Мы ведь не остаемся здесь ночевать?

– А здесь что, гостиница? – спросил Владлен Эдисонович.

– Получается... Хочешь, ночуй, не хочешь, не ночуй...

– *О-сакэ!* – сказал собутыльник и протянул бумажный стаканчик Раулю Абрамовичу.

– Айм драйвинг, – запротестовал было Рауль Абрамович, но тут же смягчился и принял подношение. – Аригато!

– *Минна!* – сказал татуированный, облачаясь в халат и обводя нас пальцем.

Мы выпили по глотку и вышли в холл. Татуированный не отставал. За стойкой дежурил все тот же импозантный мужчина. Я подошел его поблагодарить.

- Спасибо. У вас здесь замечательно.
- Вам понравилось?
- Очень!
- Из какой вы страны?
- Из России.
- О-о-о... В России холодно, да?
- Да, ужасно холодно.
- Тогда приходите к нам. У нас тепло. У нас тут горячая вода.
- Конечно. Мы придем.
- Пожалуйста, приходите. Мы будем рады. И вот, господин Судзуки тоже.
- Как вы сказали?!
- Судзуки-сан... Вы ведь говорили, он ваш друг... Судзуки-сан!
- *Хай!* – отозвался татуированный.
- Это ваши друзья, да?
- *Йес-йес!* – сказал татуированный и облапил Рауля Абрамовича. – *Май*

бэсто фрэндо! Ха-ха-ха! Ай рабу ю! Ха-ха-ха!

Профессор неловко перетаптывался, косясь на предплечье с драконьим хвостом. Судзуки-сан извлек откуда-то и сунул ему в руку рекламный календарик.

- *Томодати ни мурё да!*
- Для друзей бесплатно, – перевел я.
- На календарике была изображена полуголая девица.
- Что это? – спросил Гена Сучков.

Судзуки-сан изобразил свободной рукой сразу две параболы – горизонтальных, на уровне груди.

- *Топтурэсу дансу!*
- Аригато, – сказал Рауль Абрамович, ловко переведя поклон в освобождение от захвата. – Ви гоу хоум. Бай-бай!
- *Бай-бай!* – послушно повторил господин Судзуки.
- Большое спасибо, приходите к нам еще! – донеслось из-за стойки.

На машину падал мелкий снег. Лес вокруг погружался в темноту.

– Слушай, Ралька! – сказал Владлен Эдисонович. – Я все хотел спросить. Там на самом деле водомерки бегали, или это я в сауне пересидел?

– Водомерки? – удивился Рауль Абрамович. – Какие могут быть в феврале водомерки?

- Вот и я думаю... Может, это шатуны? Медведи тоже так иногда...
- Может, Владлен, может... Здесь все бывает, ты же видишь... Удивительно только поначалу, потом привыкаешь. Может, и водомерки...
- Как же они выдерживают сорок пять градусов? – усомнился Гена Сучков.
- Кто выдерживает, а кто и нет.

Профессор завел двигатель, включил задний ход и газанул. Машина рванулась назад, раскидывая гравий из-под колес. Мы толком и не расслышали, как над водой озера захлопали лебединые крылья.

О силовых ударениях

Вот еще вопрос, который иногда задают:

– Как правильно говорить: «гайдзин» или «гайдзин»?

Отвечаю: в японском языке нет силового ударения. Поэтому по-русски можно говорить и так, и этак. Есть тонкости с музыкальным ударением и редукцией некоторых гласных в некоторых позициях – но это детали. Короче, произносите, как вам больше нравится.

– Позвольте! Что значит «нет ударения»? Как это вообще может такое быть, чтобы не было ударения?

Да запросто. Как нет ударения в большинстве мировых языков. Как нет его, например, в грузинском. Где, по-вашему, стоит ударение в слове «дарагой»? Везде. И нигде.

– «Дарагой таварыш гайдзин», да?

Да, примерно так...

– Значит, можно сказать «Записки гайдзина», а можно «Записки гайдзина»?

Нет, так нельзя. Можно только «Записки гайдзина».

– Как это? Почему? Где логика?

Потому что *название*. Как автору нравится, так и будет. Хозяин – барин.

– Выходит, автор всегда говорит «гайдзин» и никогда «гайдзин»?

Именно так. Автору «гайдзин» более по душе. «Гайдзин» – это звучит гордо.

– А как говорит автор: «девушки гангуро» или «девушки гангуро»?

Ни так ни этак. Автор говорит: «девушки гангуро».

– Потому что звучит гордо?

Не поэтому. Безударная гласная в русском всегда редуцируется. В безударном виде это уже никакое не «о». А звучать оно должно как «о». Так что лучше сделать «о» ударным. «Гангуро»... «Натто»... «Иносиси»... Туда же запишем и «якудзу».

– Как это сложно, дарагой таварыш автар, как это тонко...

– Дык...

Формула политкорректности

Комплексный обед в университетской столовой стоил восемьсот иен. Звонок на перемену еще не прозвенел, и коротенькая очередь состояла исключительно из профессоров и прогульщиков. Я подхватил поднос, уставленный мисочками и плошечками, донес его до облюбованного столика, опустился на стул и расщепил палочки. Отхлебнул зеленого чаю, съел фиолетовый кружок маринованной редьки, поклевал сопливых желтеньких грибочков. После чего приступил к самому любимому – снял крышку с черной лакированной миски, поднес ее к ноздрям и вдохнул пар, поднимавшийся от супа мисо.

Я законным образом рассчитывал ощутить дразнящий аромат перебродившей сои, флюиды аппетитного месива из растертой пасты, мелко нашинкованного лука и морских водорослей. Но ощутил иное. В мои ноздри забралось нечто странное – так могли бы пахнуть несъедобные плоды какого-нибудь африканского дерева или феромоны исполинского тропического муравья. Осторожно вдохнув еще раз, я различил в этом запахе какую-то более знакомую струю, уводившую мысли в парфюмерном направлении. Недоумевая, я поставил миску обратно на поднос – но запах никуда не ушел. Напротив, он усиливался и, казалось, хотел затопить собой все вокруг. Еще через несколько секунд он стал вовсе нестерпим. В то же мгновение столик накрыла тень, и какой-то утробный баритон из-за моей головы произнес по-английски с невозможным акцентом:

– Не возражаете?

– Не возражаю, – ответил я на автомате, не успев еще увидеть говорившего. А тот уже заходил спереди, опускал свой поднос и усаживался напротив меня.

Это был упитанный мужчина лет пятидесяти, с широким носом, короткими вьющимися волосами и буровато-серой кожей. На нем сидел щеголеватый светло-коричневый пиджак, по животу сползал узорчатый галстук, а из рукавов выглядывали белые манжеты с нефритовыми запонками. Муравьиные феромоны так и разлетались от него во все стороны.

Верхняя губа приподнялась в улыбке, обнажив ряд белых зубов.

– Мы с вами незнакомы. Позвольте представиться.

Он вынул из пиджака бумажник, из бумажника визитную карточку – и протянул мне. Я прочитал:

Quabaraman Nababa
full professor

Достал свою, протянул ему. Он взял, склонил голову, пошевелил губами и снова показал зубы.

– Рад с вами познакомиться.

Карточка исчезла в бумажнике, бумажник в пиджаке. Он расщепил палочки и оглядел поднос.

– Я очень люблю японскую еду. А вы?

– Я тоже.

– Она прекрасна! – он восторженно пошевелил бровями. – Прекрасна! Давайте будем есть!

В надежде, что мой нос уже принялся к феромонам, я еще раз попытался насладиться ароматом супа. Тщетно. Феромоны отбили мне не только обоняние, но и вкусовые рецепторы тоже. Проглотив суп в четыре глотка и догребя палочками оставшиеся водоросли, я безо всякой радости принялся за рис.

– На каком факультете вы работаете? – осведомился мой новый знакомый, проглотив кусок курицы.

– На компьютерном, – ответил я, поливая курицу соусом.

– О-о-о! – произнес он с уважением. – Компьютеры – наше будущее!

Я не нашел, что на это возразить.

– Что до меня, – продолжал он, – то я работаю в центре социологических исследований.

– О-о-о! – счел нужным сказать и я.

– Предмет моих научных интересов, – воодушевился он, – это помощь развитых стран слаборазвитым странам. Вот, например, Япония – это развитая страна. Здесь развитая промышленность, наука, образование и финансы.

С этим тоже трудно было спорить.

– А есть слаборазвитые страны. Вот, например, Республика Бабалогу – это слаборазвитая страна. Там нет развитой промышленности, нет развитой науки, и вообще ничего такого развитого нет.

– Как вы сказали? – переспросил я. – Какая республика?

– Бабалогу, – повторил он. – Это в Меланезии. Один большой остров и много маленьких. Раньше мы были протекторатом Новой Гвинеи, а в прошлом году получили независимость. Сначала я работал чрезвычайным и полномочным послом Бабалогу в Японии, а теперь работаю здесь. Уже почти месяц.

Я кивнул и засунул в рот осьминожье щупальце.

– У нас в Бабалогу тяжелая ситуация, – развивал он свою мысль. – Нет денег, нет еды, нет лекарств и компьютеров. Жители голодают, дети не ходят в школу, много болезней и преступников.

На его лице изобразилось страдание.

– А поскольку у развитых стран много денег и еды, то они могут помочь слаборазвитым странам. Мы живем на островах. Мы островитяне. И японцы тоже живут на островах. Они тоже островитяне. Одни островитяне должны помогать другим островитянам.

Сказав это, он посмотрел на меня победоносным взглядом – так доказавший сложнейшую теорему математик мог бы смотреть на коллег по семинару.

Я кивнул, поднял ко рту очередную плошку, сгреб на язык ее содержимое и проглотил. Побег бамбука побежали вниз по пищеводу.

– Из какой вы страны? – поинтересовался профессор Набаба.
– Из России, – ответил я.
– О-о-о! – возрадовался он. – Значит, вы тоже островитянин?
– Нет, – опешил я. – Совсем не островитянин. Боюсь, вы что-то перепутали.
– Возможно, – согласился он. – Возможно, я перепутал с Англией. Или с Аргентиной. Но это неважно. Если вы хотите помочь слаборазвитой стране, то вовсе не обязательно быть островитянином.

Побеги бамбука подпрыгнули у меня в желудке.

– Я основал Общество Друзей Бабалогу, – сказал профессор, доставая из кожаной папки какие-то бумаги. – Вот устав, вот список членов, вот отчет о мероприятиях. Первый взнос составляет три тысячи иен, потом – тысяча в месяц. Взносы идут на закупку лекарств и издание школьных учебников для детей Бабалогу. Если хотите, можете вступить прямо сейчас.

– Сейчас не могу, – сказал я. – У меня нет с собой трех тысяч.

– Ничего страшного, – успокоил он меня. – Я вас занесу в список, а деньги принесете потом. Должен сказать, что люди вступают очень активно. Вот, можете взглянуть, это с последнего собрания.

Передо мной легла фотография. Друзья и подруги Бабалогу выстроились на ней полукругом, по обе стороны от улыбающегося профессора. Подруг было гораздо больше, нежели друзей.

– Моя знакомая, – показал я мизинцем на стоявшую с краю.

Эти слова произвели на профессора странное действие. Секунд на пять он застыл с разинутым ртом – а потом подался вперед, цепко схватил меня за предплечья и искательно заглянул в глаза.

– Ваша знакомая... – пробормотал он. – Знакомая...

Эскадрилья феромонов атаковала обе моих ноздри. Я отшатнулся, стараясь не выронить из палочек последний кусок курицы. Профессор Набаба вцепился в меня, как филин в мышь.

– Вы ее хорошо знаете?... Близко?...

– Это мама-сан, – сказал я. – У нее свой бар. Я там иногда бываю.

Из-за соседних столиков на нас с любопытством смотрели обедающие студенты. Я резко крутанул локтями и освободился от захвата. Курицей при этом пришлось пожертвовать. Профессор сидел с открытым ртом, и глаза у него бегали туда-сюда.

– Когда вы ее последний раз видели? – спросил он.

– Не помню, – сказал я, поднимаясь с места. – Приятного аппетита.

– Минуточку! Я только хотел...

– Простите, спешу.

Посуду полагалось отнести на кухню. Я бросил палочки в мешок для горючего мусора, а поднос поставил на ленту конвейера. Миски и плошки поехали в мойку, укоризненно белея недоеденным рисом, которого так не хватало несчастным жителям острова Бабалогу.

* * *

Раскаленный от жары университетский двор показался мне альпийской лужайкой. Вдоволь нагулявшись по нему и надышавшись свежим воздухом, я вернулся в свой кабинет. Не успел сесть за компьютер, как раздался телефонный звонок.

– Привет, – сказала Кирико.

– Ха! – сказал я. – Будешь долго жить. Есть такая русская примета. Только что тебя вспоминали.

– Поздновато...

– Ты о чем?

– Вчера надо было вспоминать. Вчера исполнился год, как мы перестали встречаться.

– Помнишь такие подробности?

– Я все помню. Это ты ничего не помнишь.

– Если хочешь отпраздновать, могу прийти.

– Приходи. Сегодня понедельник, народу не будет.

– В семь?

– Нормально, жду.

Кирико открывала свой «Складной ножик» ежедневно в семь вечера, а закрывала от часу до трех ночи – в зависимости от количества и качества клиентуры. Клиентура делилась на завсегдатаев и случайных гостей – примерно поровну. Завсегдатаи пили из персональных бутылок, купленных со скидкой в длительное пользование. Целых три шкафа было отведено под репозитарий – на их полках теснились сосуды с привязанными бирками. «Ямада-сан», «Такада-сан», «Симода-сан», «Цутида-сан»... Внутри плескались разнообразные количества недопитого виски. Эти шкафы представлялись мне своеобразной кунсткамерой, хранилищем заспиртованных пьяных бесед, еще не прозвучавших и терпеливо ждущих своего часа.

На случайных гостей была рассчитана вывеска снаружи. Под уличным фонарем призывно поблескивал эмалью швейцарский нож, выбрасывавший десяток лезвий в сторону клиноподобных значков слоговой азбуки:

Дзякку-найфу *сунакку*

Ниже название заведения дублировалось махонькими буквами по-английски:

Jack knife *snack bar*

Это было, с одной стороны, данью нестареющей моде на английские слова – а с другой стороны, приветственным паролем для гайдзинов. Прогрессивная мама-сан благоволила иностранцам, они были ее частыми и желанными гостями. Кирико любила гайдзинов. Иногда даже страстно. Некоторых из них.

Я прислонил велосипед к стене под вывеской и толкнул дверь, зазвенев колокольчиком. Раздвинул занавеску из бамбуковых висюлек, вошел. Кирико взглянула на меня из-за стойки, не поворачивая головы, – я лишь увидел, как перекатился зрачок в узком глазу. Обычно она встречала гостей совсем иначе – семенила навстречу, мелко кланялась, пискливо лепетала приветственные фразы.

Это был стандарт, узаконенный веками ритуал, отработанный до автоматизма навык. Часть профессии, рутина. А то, что иногда видел я, было вожаделенной альтернативой – смиренная служанка вдруг превращалась в надменную тигрицу, даму роковой масти, недоступную красавицу из какого-нибудь Гонконга или Сингапура, никак не из Японии. Эта роль шла ей куда больше, но игралась куда реже – например, когда в пустующий бар заходил старый, все понимающий друг. Впрочем, игралась роль совсем недолго, от силы минуту – так маска, ради шутки приставленная к лицу, за отсутствием завязочек быстро возвращается на колени.

Ее зрачок все смотрел на меня из угла подведенного тушью глаза, губы были иронически поджаты, круглые серьги цыганского размера неподвижно застыли. Я поспешил подыграть – развернул голову в профиль, задрал повыше подбородок и томно пригладил волосы растопыренными пальцами. Кирико прыснула, вслед за ней расхохотался я, маски попадали на пол и стали больше не нужны.

- Давно не виделись, – сказала Кирико.
- Давно, – согласился я, усаживаясь за стойку.
- Четыре месяца.
- Наверно.
- Не наверно, а точно. Что у тебя нового?
- Все то же. Ничего такого из ряда вон.
- А у меня из ряда вон. Со мной произошла *сэкухара*.
- Чего произошло?
- Сэкухара. *Сэккюсюару харассмэнто*.
- Кто же этот злодей?
- Ты его должен знать. Он тоже из университета.

Пазл сложился.

- Ага, – сказал я. – Все понятно. Злодея зовут профессор Набаба. Угадал?
- Точно. Набаба-сэнсэй. Ты его хорошо знаешь?
- Сегодня в обед познакомился. Он мне фотографию показывал, там ты была.

Кирико вздохнула.

- Противно вспоминать...
- Ну и не вспоминай!
- Нет. Я все тебе расскажу.

– Давай лучше выпьем. Зачем я на велосипеде ехал по такой жаре? Годовщина у нас, или как? Смешай мне что-нибудь ностальгическое.

Кирико повернулась на сто восемьдесят, кокетливо склонила голову набок и оглядела уставленные разномастными емкостями полки.

- Как насчет *бурураки*?
- С удовольствием.

Кирико грациозно изогнулась, свела лопатки, сжала кулачки. Так она делала всякий раз, когда ей предстояло смешать *свой* коктейль – оригинальный, неповторимый, выстраданный.

* * *

Сочинение алкогольных коктейлей было для хозяйки «Складного ножика» всепоглощающей страстью. Банальные «отвертки» и «коровые мери» ее давно не вдохновляли, их приготовление увлекало не более, чем навешивание бирочек на

именные бутылки. Артистическая натура просила творческого полета, креативного поиска, раздачи путевок в жизнь доселе небывалым букетам и наименованиям. Поэтому, едва закончив барменские курсы и вступив во владение «Ножиком», Кирико предалась самозабвенному изобретательству.

Стезя изобретательницы оказалась скользкой и тернистой. Все бы ничего, кабы изобретаемые коктейли не приходилось по многу раз дегустировать – при досадном свойстве алкоголя затуманивать голову дегустатора до полной отключки. Сколько раз бывало, что пытливая мама-сан, не смыкавшая глаз в опустевшем баре, к четырем утра наконец открывала единственно верную формулу искомого напитка, чтобы тут же свалиться на пол, не успев ее записать! Случалось, впрочем, и так, что новорожденный рецепт успевал быть записан на салфетке, салфетка утром отыскивалась, каракули успешно расшифровывались – но отвратительная бурда, которая получалась по этому рецепту, не имела решительно ничего общего с тем божественным эликсиром, который накануне казался венцом творения. Промучившись два года, Кирико поняла, что без ассистента не обойтись.

Найти такового среди пьющей публики тоже оказалось непросто. Большинство посетителей были начисто лишены воображения – их устраивал дешевый разбавленный виски, которым они тупо накачивались изо дня в день, чтобы выйти в тираж, так и не познав прекрасного. Обладатели более развитого вкуса встречались, но такие сами хорошо знали, чего хотели. Они обожали командовать. «Маргарита», но без соли!.. «Космополитэн», но без клюквы!.. «Секс на пляже», но без клубники!.. Ни тех, ни других не прельщали значительные скидки, сулимые за участие в дегустации. Рискованной дармовщинке предпочиталось знакомое разорение. Романтики попадались крайне редко. Но попадались.

С одним таким романтиком Кирико провозилась битый год. Это был сорокалетний художник, зарабатывавший преподаванием каллиграфии, а душу отводивший в настенных росписях. Какие пить напитки, ему было все равно, и он с готовностью пошел в подопытные дегустаторы. Чтобы поддержать сей смелый шаг, Кирико разрешила ему расписывать стены и потолок заведения. В свободные от каллиграфии дни он приходил спозаранку с чемоданом пульверизаторов, застилал мебель газетами и принимался творить. К вечеру взорам клиентов предстало что-нибудь новенькое: то монохромный дзэнский пейзаж, то Мэрилин Монро в чем мать родила, то вариации на тему «Герники», а то и Боб Марли с косяком в зубах. Клиенты уважительно качали головами и втихоря совали носы в стаканы с бурбоном, занюхивая вонь от краски, когда та не успевала выветриться. Сам же творец к тому моменту восседал за стойкой напротив хозяйки – гордый, счастливый и готовый к дегустации.

Увы, полноценного ассистента из него не вышло. Питейная выносливость каллиграфа не дотягивала до нужной отметки. Его суждения о достоинствах смеси уже к десятой итерации становились односложны и невразумительны, на пятнадцатой он вообще переставал понимать, чего от него хотят, а после двадцатой падал бородой на стойку и засыпал. Кирико перетаскивала его на диван, пробовала идти дальше своими силами – но уже заранее знала, что в одиночку не справиться.

Один завсегдатай, по профессии медик, популярно объяснил суть проблемы. Суть заключалась в антропологии. Восемьдесят процентов этнических японцев носят в себе редкую форму алкогольдегидрогеназы – она окисляет этиловый

спирт быстрее обычного, и опьянение происходит форсированными темпами. А коли так, продолжал медик, то ассистента лучше иметь белого либо черного. Иностраннный ассистент – это правильные ферменты. Это выносливость и надежность. Это то, что нужно.

Кирико начала поиски иностранного ассистента. Она записалась на курсы английского языка, бегала по тусовкам гайдзинов, со всеми знакомилась и всех приглашала посидеть в «Ножике». Гайдзины стали приходить. Им нравилась атмосфера заведения с мягкими диванами и приветливой хозяйкой. Но странные эти гайдзины толком не пользовались своими замечательными ферментами. Воспитанные под пропагандистский шум, они хотели вести здоровый образ жизни. Больше стакана в них было не влить. Удачей был один канадец, выросший в далеких северных провинциях, куда еще не добралась зараза трезвости. С ним Кирико изобрела два коктейля: «Глетчер» и «Моржовое копыто». Потом канадец перебрался в Саппоро, и Кирико снова осталась без помощника. Большие надежды возлагались на двух британцев, которые приходили каждую пятницу и квасили, как истинные джентльмены. Но увы – эти двое не признавали ничего, кроме скотча.

И вот тогда-то, на пятом году функционирования «Ножика», Кирико встретила идеального ассистента. Уроженца страны, где сладкое слово «халява» затмевает всё – нравственные ориентиры, гигиенические нормы, нехватку времени и здравый смысл. А кислое слово «трезвость» рисует в народной памяти лысину Михаила Горбачева, километровые очереди и дурацкие «ячейки». Новый ассистент был драгоценной находкой – он сочетал в себе правильные ферменты, готовность на подвиги и творческий подход к делу.

Началась эпоха героических свершений. Мы были Пьер и Мария Кюри со стаканами в руках вместо пробирок. Вместо ядер Урана мы расщепляли ядра Бахуса. Вместо лучевой болезни нас подстерегали цирроз печени и белая горячка. Но наши цели не становились от этого менее благородны. Еще неизвестно, что на самом деле нужнее человечеству – атомная бомба или похмельный синдром.

Я приходил в будничные вечера, ближе к полуночи. Посетители, если имелись, уже сидели хорошо датые и в постоянном обществе мамы-сан не нуждались. Мама же сан, вся истомившаяся в ожидании сладких творческих мук, сажала меня за стойку, наскоро ознакомляла с новой перспективной идеей и принималась заливать в меня пробные комбинации. Я гонял их во рту, вертел на языке, собирал донесения рецепторных клеток, приводил их к общему знаменателю и выносил тот или иной беспристрастный вердикт. Далее шло короткое обсуждение, рождался следующий итерационный шаг – и процесс замыкался в спираль. Где-то на верхних ее витках, когда искомая формула вырисовывалась более-менее явственно, а изможденный дегустатор уже лыка не вязал, Кирико приступала к снятию личных проб для окончательной шлифовки и полировки рецепта. Эта топ-дегустация тоже требовала некоторого времени, за которое изобретательница с ее слабыми ферментами успевала догнать и даже перегнать ассистента. Наконец, часам к трем-четырем, листочек с драгоценным рецептом бывал прикноплен над стойкой, последний бокал триумфально допит до дна, пустующий бар заперт – и два счастливых первооткрывателя брели по улице, бережно поддерживая друг друга и хватаясь за фонари. Кривые зланные переулки вели нас мимо рюмочных и сусичных, мимо караоке-баров и лав-отелей, мимо

буддийских храмов и синтоистских святилищ, мимо темных дворов и зашторенных витрин. Надышавшись живительного ночного воздуха, мы добирались до скромной квартирки в двенадцать татами — и на место Бахуса заступала Венера.

Конечно, наши эксперименты увенчивались успехом далеко не всегда. Гораздо чаще они заводили нас в тупик. Но отрицательный результат — это тоже результат. Это пополнение списка проигрышных идей. Теперь люди будут знать, что не стоит лить апельсиновый ликер в текилу, если туда уже налит ликер кофейный. Что сухой мартини плохо сочетается с настойками на гремучих змеях. Что разбивать сырые яйца в шампанское — только зря переводить продукт. И что замена томатного сока на тертый дайкон еще не делает из «кровавой Мэри» «слезливую Йоко».

Поначалу я не особо вникал в структуру того, что приходилось дегустировать. Работали в основном рецепторные клетки — мозговые отдыхали. Творческие же амбиции довольствовались сочинением названий. Кирико целиком отдала мне этот фронт и безропотно принимала самые дикие варианты. Названия чаще всего получались культурологически бивалентные. «Амурские цунами». «Тамбовский осьминог». «Иван Нобунага». «Сумо да тюрьмо». Так преломлялась двуязыкая природа нашего альянса. Однако с наполнением коктейлей названия никак не соотносились: «Осьминог», к примеру, строился на коньячной основе, а «Сумо» — на винной. Эти нестыковки нравились мне все меньше и меньше, покуда я не поставил четкой задачи: создать напиток, культурная бивалентность которого не просто декларировалась бы, но прямо вытекала бы из структуры. Задача решалась целый месяц. То, что в итоге родилось, навсегда вошло в анналы «Складного ножа». Гвоздь меню, гордость хозяйки, предмет восхищения гостей и зависти конкурентов.

Коктейль «Бурлаки на Фудзи».

* * *

Название появилось прежде рецепта. С самого начала такое название сильно обязывало. Оно нацеливало на создание напитка, который было бы не стыдно предложить Илье Ефимовичу Репину для питья на брудершафт с Хокусаем. Или Николаю Алексеевичу Некрасову — с Кобаяси Иссой. Напиток с таким названием призван был совместить несовместимое, привести к гармонии имманентные свойства обоих полюсов и отразить глубинные онтологические связи.

Изначально было ясно, что основу должна составить смесь водки и сакэ. Но какой водки? Какого сакэ? В какой пропорции? На проработку только этих вопросов ушло более недели. Над стойкой висела репродукция бессмертной репинской картины в окружении гравюр укиё — я созерцал их и дегустировал, снова дегустировал и снова созерцал. Оптимальной комбинацией была признана одна часть перцовки на две части «Цветущей весны». Порождаемый такой смесью букет звучал сообразно замыслу: благоухание цветов у подножия священной горы, прорежаемое ядреным запахом бурлацких онучей. На эту основу можно было накладывать дальнейшие мазки.

Кирико заикнулась о «содовой» и была жестоко высмеяна. Понижающим градус наполнителем мог быть квас и только квас. Разбавленный для пущей бивалентности зеленым чаем. Проблема была лишь в том, где раздобыть посреди

Японии квас. Когда я объяснил Кирико, что это такое, она загорелась идеей приготовить квас самостоятельно. В компьютерных сетях нашлось два рецепта. Первый предусматривал замачивание лепестков роз и черешков ревеня в березовом соку. Второй был проще: «Взять воду хлеб дрожжи сахар все размешать и ждать после чего квас готов». Я отверг оба и принялся обзванивать русских коллег. Выяснилось удивительное: у жены профессора Мохова функционировал целый подпольный цех по производству кваса. Профессор возил его на работу огромными бидонами и поил всю лабораторию. Мне с готовностью отлили три литра. После прикидочной дегустации был организована серия выездных семинаров – жена профессора Мохова передавала Кирико тайны мастерства и щедро делилась дрожжевым сырьем. На семинары ушло еще две недели. По истечении этого срока у Кирико уже получался продукт, весьма похожий на тот, что продавался в стране моего детства из желтых бочек по три копейки за кружку. На какое-то время дегустации подвисли – предаваясь ностальгии по юным дням, я выдувал весь продукт подчистую. Но Кирико не теряла времени зря. Добавляя порошковый чай непосредственно в сусло, она пыталась получить чайный квас – в чем весьма преуспела. Тонкая горчинка, которую давал этот бурый с прозеленью напиток, сообщала ему изысканность и благородство. Мама-сан была так горда своими успехами, что внесла чайный квас в меню, где он потеснил кока-колу и спрайт. В Москве был срочно заказан килограмм квасных дрожжей, который прибыл с первой же оказией и поселился в холодильнике под стойкой.

Возобновившиеся дегустации показали: для разведения алкогольной основы двух частей кваса мало, трех много, а нацедить две с половиной сложно. Кирико поддалась на мои уговоры – решено было удвоить и даже учетверить конечный объем, подавая коктейль в пивных кружках, сторонником чего я был с самого начала. Такое решение подчеркивало эпический размах замысла, напоминало о масштабе. И гора высокая, и барка тяжелая, и пить долго.

Здесь можно было бы остановиться – но тяготеющая к визуальным эффектам Кирико пустилась в украшательство и эстетизм. Она то посыпала края сахарной пудрой, изображая седые снега на вершине. То пускала плавать на поверхность дынную корку, модель барки. То цепляла к кружке высохшую виноградную гроздь, одиннадцать изюмин на которой символизировали иссохшие и потемневшие бурлацкие тела. Я терпел эти извращения три дня, а потом предложил привязывать к ручке бечеву – чтобы клиент выволакивал кружку волоком. Кирико устыдилась и свернула свои нелепые эксперименты. Приведение к абсурду, вот как это называют математики.

Месячный дегустационный марафон завершился. Новорожденный коктейль занял свое место в меню, и выглядело это примерно так:

<i>Дайкири</i>	700
<i>Буради-мэри</i>	700
<i>Сукурюдорайба</i>	700
<i>Сэккусу-он-дза-бичи</i>	800
<i>Бурураки-на-фудзи</i>	1000

Те завсегдаи, что обладали вкусом и считались продвинутыми, единодушно согласились: напиток создан выдающийся. Все они — и медик, и каллиграф, и даже настоятель храма Кукудзи — выпили не по одной кружке «бурлаков» и подтвердили мистическую способность этого коктейля индуцировать в клиенте полное самоотождествление с прототипами. Коктейль соответствовал названию, как никакой другой.

Если вы пьете, к примеру, «Маргариту» — хоть с солью, хоть без соли, — то не ждите, что вас охватят терзания доктора Фауста. И наоборот: если эти терзания вас уже охватили, то «Маргарита» не поможет вам от них избавиться, они продолжат вас терзать. Вы не прогоните их, даже если будете пить «Маргариту» большими глотками под музыку Гуно. Равно как и «Космополитэн» не сделает из вас гражданина мира, и «Секс на пляже» не заставит вытряхивать из плавок песок. Все эти претенциозные названия — не более чем фантики.

Иное дело «Бурлаки на Фудзи».

Один глоток этого коктейля — и на груди у вас кожаная ляжка, четыре вершка в ширину и три аршина в длину. Еще глоток — и перед вами гора, уходящая в заоблачные выси. Вы понимаете, что не сделать третьего глотка может только отступник и капитулянт. Поэтому вы делаете третий глоток — ляжка врезается в грудь, бечева натягивается тугою струной, и тяжелая плоскодонная барка с жутким скрежетом начинает ползти по камням. Теперь обратного пути нет.

Той частью своего «я», которая еще не отождествилась с бурлаком, вы успеваете пожалеть их, отверженных и угнетенных. Вам становится стыдно своего мягкого дивана и круглого живота. Вы раскаиваетесь, что столько лет бездумно любовались слащавыми гравюрами. Вы делаете четвертый глоток... пятый... шестой... седьмой... восьмой... О, Фудзи, колыбель моя!..

Под лаптями — красноватая застывшая лава. На голове тряпица, пояс утерян, портки в дырах. Миллиметр вверх — капля пота вниз. Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака. Владимир Иванович Даль.

Рядом товарищи. Те самые, с картины. Два коренника, до упора наклонившись, задевают склон натруженными руками. Стиснул зубами трубку худой белорус; старый моряк Илько, зло сощурясь, сплевывает на лаву; иконописец Константин качает головой и крестится. Ларька, молодой парень, все не угомонится с вечными вопросами. Зачем мы здесь? Зачем лезем в гору? Зачем нас дискриминируют? Что значит «гайдзин»?.. Но не слышать ответов на ларькины вопросы — и снова впрягается он в кожаную ляжку, и снова упирается лаптями в лаву, и снова потеет. Надсадно бурлаку, надсадно и ляжке. Даль, Владимир Иванович.

Что ждет бурлаков на вершине? Лед и снег, холод и ветер? Черная дыра вулканического жерла? Или, может быть, Чистая Земля, объятия Будды Амиды, просветление и протрезвление?

Одиннадцать глоток затягивают:

— Эх, Амидушка, ухнем!...

Глоток, еще глоток... Все больше тумана. Он окутал весь склон, заползает в лапти, в онучи, в портки, в кисет, в картуз, застит глаза, залепляет уши, забирается в мозги, отключает сознание... Но что же, что же, что же там наверху?!?!
Наму дубина буцу.

Доползем — увидим.

* * *

Передо мной стояла полная кружка. В ней плавали квасные пузырьки.

– С годовщиной! – Кирико подняла свою.

Мы чокнулись. Отпили по глотку. Из колонок лилось что-то бразильское.

– Ты пей, – сказала Кирико, – а я тебе расскажу, как со мной произошла сэкухара.

– Валяй, – кивнул я и отхлебнул еще.

Кирико побарабанила ногтями по стойке, собираясь с мыслями.

– Было собрание, – начала она. – Как это... «Общество друзей острова Бабалогу». Я первый раз пришла.

– Стоп, – сказал я. – Объясни мне сразу, как ты туда попала.

– Меня Кёко привела. Помнишь Кёко-сан?

– Не помню. А ее кто привел? Зачем вообще туда ходить? Там интересно?

– Нет, совсем не интересно. Набаба-сэнсэй рассказывает, какие они бедные, и потом деньги собирает. И больше ничего.

– Ну, и какой смысл туда ходить?

– Не знаю... Надо ведь чем-то заниматься... Общественная нагрузка должна быть... И еще там по-английски уметь надо.

– А если по-английски, то это важно и нужно, да?

– Ты сам все понимаешь... Нет у нас самобытности, вот мы и клюем на всякую чепуху.

Я чуть не поперхнулся.

– Опомнись, Киритян! – я даже стукнул кружкой по стойке. – Что ты такое несешь? На острове Бабалогу есть самобытность, а в Японии нет?

– А где она? Всё из Америки тащим, разве не видишь?

– Кто ж вас заставляет? Вы не тащите...

– Самобытности нет – вот и тащим. Посуди сам. Бейсбол – чья игра? Американская. А демократия?

– А сумо?

– Ну, разве что сумо...

– Дзюдо, икебана, чайная церемония, синтоизм...

– Ты бы еще сказал: «Его величество император».

– А что такого? Император тоже...

– Ой! – скривилась Кирико. – Ой, не могу! Вадитян подался в ультраправые!

– Никуда я не подался...

– Ты подался в сторону от разговора. Я рассказывала про сэкухару, а ты меня перебил. А я еще не сказала главного. Набаба-сэнсэй всех отпустил, кроме меня. И попросил отвезти его в ботанический сад. Он хотел посмотреть, как цветет леспедца.

– Леспедца цветет осенью, – сказал я. – Такие вещи надо знать.

– Правда? Значит, он меня обманул. Слушай дальше. Набаба-сэнсэй не водит автомобиль. Знаешь, почему?

– Наверное, у него на острове нет автомобилей. Или дорог нет.

– Все там есть. Он просто не умеет. Он же султан! Или принц, не помню. За него слуги всегда все делали, вот он такой и вырос, ничего не умеет.

– Что дальше-то?

– Я его привезла в ботанический сад. Пошли искать леспедуцу. Он меня хочет за руку взять. Я ему говорю: «сэнсэй, плиз!». И не даю.

– Это уже сэкухара?

– Еще нет. Я главного не рассказала. Леспедуцы нигде не видно, он меня завел в глухой угол, посадил на скамейку. Отдохнем, говорит. Я сижу, вся дрожу...

– Почему дрожишь?

– Страшно стало! Может, он людоед, я ведь не знаю, как там у них принято. А он увидел, что я дрожу, и намотал на меня шарф.

– Решил тебя погреть. Джентльмен.

– Какое «погреть»? Жара была. А он в шарфе – специально. Все подготовил. И пахнет шарф чем-то таким... Намочил его чем-то.

– Это у него духи такие. От него на работе тоже пахнет.

– Ничего себе духи! Слезоточивый газ, а не духи. Сразу слезы потекли. Он увидел, хватать меня руками – «Кирико-сан! донт край! плиз!»... Что-то лопочет, я уже не слушаю, мне дышать нечем... Кошмар!

– Уже сэкухара?

– Еще нет. Я еще не рассказала самого главного. Он этим вонючим шарфом стал мне слезы вытирать... А потом... Потом он меня...

– Ну?...

– Набаба-сэнсэй меня...

– Да что?!

– ...поцеловал...

Выдавив из себя это слово, Кирико впала в скорбное молчание. Бразильцы в динамиках уважительно притихли, лишь перкуссия тихо выстукивала какой-то сочувственный ритм. Я сделал три хороших глотка.

– Значит, леспедуцу так и не нашли?

– Что?! – она подняла голову. – Ты о чем?!

– Киритян, мне все понятно, – сказал я. – Мне только непонятно, почему ты употребляешь слово *сэкухара*. По-моему, “sexual harassment” – это немножко не то.

– Почему?

– Потому что этот термин подразумевает служебную зависимость. Вот если бы ты была его студентка, или он твой босс...

– Так он и есть босс. Председатель Общества. А я рядовой член.

– Денег-то не платят в этом обществе. Даже наоборот – ты платишь!

– Это неважно. Это даже хуже. Я деньги плачу – а он пристаёт.

– В этом обществе тебя никто не держит. И никто не тянул. Вот скажи, зачем ты туда пошла? Всекие там Кёко-сан – это понятно, у них занятий других нет. Но ты-то зачем?

– Я тебе скажу, ты смеяться будешь...

– Не буду, обещаю.

– Я хотела проверить его ферменты. Он же из Меланезии, другая раса... Вдруг они там еще выносливее, чем белые? Вдруг они могут ведрами пить? Вот был бы ассистент!

Мне пришлось срочно задуматься о печальном, чтобы исполнить обещание.

– А что? – продолжала Кирико. – Ты меня бросил, никто не помогает, идеи гибнут... Я за любого иностранца готова уцепиться, лишь бы он пить умел.

– Думаешь, этот умеет?

– Не знаю. Теперь уже неинтересно. Мне теперь интересно, как использовать улику.

– Улику?

Кирико присела, загремела дверью сейфа, где хранилась выручка, достала и положила передо мной туго скатанный полиэтиленовый пакет.

– Я тогда убежала прямо в шарфе. Только в машине заметила. И решила не отдавать. Из него еще *это* не выветрилось. Понюхай.

Я раскатал пакет на стойке и осторожно приподнял одну ручку. Через секунду полчища знакомых феромонов отплясывали босанову у меня под носом.

– Говорю тебе, это такие духи, – сказал я, снова скручивая пакет и разгоняя феромоны ладонью. – Меланезийская парфюмерия.

– Хорошенькие духи! Такими духами тараканов морить. И вообще: тридцать градусов жары, а человек ходит в шарфе – это нормально?

– Наверное, у них на острове так принято. Все принцы ходят в шарфах.

– На острове, может, и ходят. А здесь это улика. Я вот думаю: сразу в суд подать или сначала по месту работы?

– Киритя-а-а-ан! – застонал я. – Какой еще суд? Что ты хочешь отсудить?

– Моральную компенсацию. Если докажу факт сэкухары, то имею право.

– За что компенсацию? За поцелуй?!

– Ну да... Это ведь сэкухара...

– Выходит, ты и меня можешь к суду привлечь?

– Конечно. Могу и тебя. Хотя нет, не могу. Не помню всех деталей.

– Еще б ты помнила... Я тоже ничего не помню...

– А что тут особенного? – Кирико вернула улику в сейф и щелкнула замком.
– Моника отсудила кучу денег. Почему мне нельзя?

– Так сильно нужны деньги?

– А то нет! Я на грани банкротства. В этом году кредит выбила, в следующем могут не дать. Кризис, не видишь? Все разоряются.

– А ты отсудишь кучу денег и не разоришься, да?

– Ну, может, не кучу... Пусть его хотя бы с работы выгонят.

– Зачем тебе это?

– Как это «зачем»? Я плачу налоги. Для чего? Для того, чтобы в университете велась научная работа. Я не для того их плачу, чтобы меня обматывали шарфами и целоваться лезли. Он мне, гад, еще слезы вытирал!

– Это я уже слышал. Не глухой.

– Как ты сказал?

– НЕ ГЛУХОЙ.

– Ты что! Так говорить нельзя. Это дискриминационное слово, «глухой». Надо говорить: «с несвободными ушами».

– А «слепой» – «с несвободными глазами»?

– Точно.

– А «хромой» – «с несвободными ногами»?

– Совершенно верно.

Я отставил кружку и схватился обеими руками за голову.

– Вадитян, что с тобой? – встревожилась Кирико.

– Ничего, – сказал я. – Мне просто жаль японский язык. Он был такой красивый... Что вы с ним делаете, поганцы...

– Так нужно! Если ты глухой, а тебе говорят, что ты глухой, тебе приятно?

– Если человек глухой, то он и не услышит.

– Или она.

– Что?

– **Он или она** не услышит. Женщины тоже бывают глухие.

– Господи! – сказал я. – Где ты этого понабралась, Киритян? Ты была умная женщина, говорила на нормальном языке. Откуда у тебя эти заскоки?

– Это не заскоки! Я, чтоб ты знал, феминистка!

– Да какая ты феминистка. Ты просто *бака*.

– Что-о-о?!?!

– То самое. «С несвободной головой».

– Сам ты *бака*! Ты шовинист, вот ты кто. Ты знаешь вообще, что такое быть женщиной в Японии? Что такое каждую ночь торчать за этой стойкой и ублажать пьяных идиотов?

– Постой, – сказал я. – Ты ведь говорила, что твоя работа тебе нравится. Калейдоскоп людских судеб, и все такое...

– Ага, калейдоскоп... Пузатые дядьки зовут тебя мамой, делятся семейными проблемами, а ты их слушай и утешай. У нормальных людей психоаналитик, у японцев – *мама-сан*.

– А нормальные люди все живут в Америке, да?

– Я не говорю, что там все нормальные. Но там есть люди, к которым стоит прислушаться. Ты знаешь, кто такая Маргарет Накамура?

– Не знаю.

– Это знаменитая феминистка. Она сейчас ездит по Японии с лекциями. К нам недавно приезжала, я ходила слушать.

– А-а-а... Теперь понятно.

– Что тебе понятно?

– Понятно, что лучше ездить с лекциями, чем ублажать пьяных идиотов. Под лекции, наверное, и кредит легче выбить.

– Да уж конечно...

– Ну вот. Отчего бы тебе не стать главной феминисткой префектуры?

– А что? Думаешь, не смогла бы?

– Смогла бы. Только сначала нужно прославиться. Сначала нужно совершить феминистический подвиг. Разоблачить зарвавшегося сексиста.

– Ты к чему клонишь?

– К чему, к чему... К цветам леспедецы. По этому шарфу можно высоко забраться. Гляди только, не сорвись.

Я осушил кружку и встал с табурета.

– Благодарю. Спокойной ночи.

– Вадитян! Постой! – Кирико выбежала из-за стойки, догнала меня в дверях, схватила за руку. – погоди! Тебе что, нравится профессор Набаба?

– Профессор Набаба, – сказал я, – это кусок протоплазмы. Биологическая масса, которая хочет жрать. Мое к ней отношение никак на космические процессы не повлияет. Протоплазма была, есть и будет. Без расы, пола и национальности.

– Значит, не нравится?

– Мне не нравится другое. Мне не нравится, когда на массовых психозах делают деньги. А еще не нравится, что вы готовы отдаться любой химере, на которой написано “Made in USA”. Глотаете все, что ни подсунут. «Феминизм», «политическая корректность», «христианские ценности», «миллениум баг»...

– Что плохого в христианских ценностях?

– Плохого ничего. Но ты смотри. Я тут живу восемь лет – и в дверь ко мне вечно стучатся баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, кто только не стучится. Большею частью японцы, что интересно. Приносят какие-то брошюры, норовят провести со мной беседу, так просто не отвертись. И хоть бы кто-нибудь пришел обратить меня в буддизм. Пусть бы что ли из «Аум-синрикё» пришли, я бы их прогнал пинками, все какое-то разнообразие – так нет же, одни адвентисты... Вам было заповедовано поклоняться Трем Сокровищам, а вы черт знает чему поклоняетесь.

– Ты говоришь, как твой друг...

– Потапов?

– Да, Потапов-сан. Он говорил, что мы вообще должны всегда в кимоно ходить и зубы красить. И рок-н-ролл слушать не должны.

– Он в полемическом запале так сказал. Он просто Японию очень любит, и ему досадно видеть крайности. На самом деле, все хорошо в меру.

– Правильно. А кто ее определяет, эту меру?

– Ну, я не знаю... Здравый смысл... Вкус...

– Вкус... – повторила Кирико. Мы стояли под фонарем, держась с разных сторон за руль велосипеда. – Тебе легко рассуждать абстрактно. Ты многого не видишь. Ты не представляешь, какие заскорузлые мозги у японских мужиков. Чтобы их встряхнуть и прочистить, все средства хороши.

– Ладно, – вздохнул я. – Прочищай, встряхивай, что хочешь делай. Твоя страна, в конце концов. Удач тебе на этом пути.

Кирико взяла меня за руку.

– Вадитян, – сказала она, – ну почему ты меня бросил?

– Сто раз уже говорил. Я испугался, что сопьюсь.

– Неправда. У тебя появилась другая женщина. Признайся.

– Так нельзя говорить. Это политически некорректно. Привыкай к уважению чужого *пурайбаси*.

– Да-да, верно. У тебя появилась другая женщина *или* другой мужчина.

– Тьфу на тебя!

– Я пошутила! Не уезжай так быстро, посиди еще. Хочешь, я смешаю тебе «Семиструнный сямисэн»?

– Kiriko-san, hello! – раздалось сбоку. Я повернул голову и увидел двух иностранных юношей. На них были отутюженные белые рубашки с короткими рукавами и узкие черные галстуки. В руках – велосипедные шлемы. Они стояли под вывеской, и швейцарский нож приветливо зависал над их аккуратно расчесанными проборами.

– Привет, ребята! – сказала Кирико по-английски. – Давно не виделись.
– Это что, мормоны? – спросил я.
– О, йес, йес! – обрадовался один из них. – Мормоны! Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней! Позвольте представиться! Меня зовут Джон Браун, а вот его зовут...
– Fuck off, – сказал я им по-русски, сел на велосипед и уехал.

* * *

Университетский двор заносило желтыми и красными листьями. Желтых было больше; один из них залетел ко мне за пазуху, когда под порывом холодного ветра я застегивал куртку. Он распластался у меня на животе и грелся всю дорогу от библиотеки до второго корпуса. Дойдя до входа, я расстегнул молнию – лист выпал, обиженно покрутился в воздухе и спланировал в лужу.

Во второй корпус я заходил редко – попить кваску у профессора Мохова или задать компьютерный вопрос системному администратору. В эту пятницу мне как раз понадобилась консультация сисадмина, и я шел к нему в дальнее крыло. Мягкий линолеум коридора был сплошь застелен полиэтиленом и фанерой; грузчики в синих комбинезонах, перегородив весь проход, волокли куда-то тележки с новым оборудованием. Я встроился в зазор между двумя тележками и медленно побрел в этом зазоре по коридору. Стальные колеса раскатисто громыхали, фанера сухо потрескивала, а шедший за мною грузчик перекрывал грохот и треск героической народной песней:

Храбрый Ёсицунэ ненароком... Хай! Хай!
Уронил свой лук в пучину моря... Хай! Хай!
А кругом бушует непогода... Хай! Хай!
И морской отлив стрелы быстрее... Хай! Хай!

Коридор шел через центр лингвистических исследований. По обеим сторонам размещались кабинеты американцев, преподающих студентам английский язык. «Профессор Кевин Вудс», «профессор Генри Ламберс», «доцент Карл Тимберс», – значилось на табличках сбоку от дверей. Двери были все до одной широко открыты, и под каждую подложен клинышек, удерживающий дверь в открытом положении. Продвигаясь по коридору, я мог наблюдать профессоров в их ученом уединении, которому не мешал ни треск фанеры, ни грохот тележек, ни художественные завывания грузчика:

Лук относит волнами от берега... Хай! Хай!
Прямо к неприятельскому челну... Хай! Хай!
Подгребают вороги поближе... Хай! Хай!
Норовят достать его граблями... Хай! Хай!

Иной профессор на миг отрывался от ученых занятий и бросал взгляд на проходящих мимо. Такой взгляд бывал исполнен прямоты и непосредственности, он подкупал чистотой душевных помыслов. Вот видите, – как бы говорил профессор, – я честный человек, мне нечего скрывать от моих товарищей и

вышестоящих лиц. Я вовсе не затащил к себе беззащитную студентку, не покрываю ее поцелуями и не наматываю на нее вонючих шарфов. Всякому понятно, что я занимаюсь научной работой. Я даже развернул к вам дисплей. Видите: вот тут у меня написано «он». И сразу: «или она». Все четко, не подкопаешься. Перед вами политически грамотный и морально устойчивый сэнсэй.

Он коня пришпоривает смело... Хай! Хай!
И в крутые волны загоняет... Хай! Хай!
На коне плывет, презрев опасность... Хай! Хай!
И к врагам подходит очень близко... Хай! Хай!

Американские фамилии вдруг кончились. Пошли разномастные таблички центра социологических исследований. «Профессор Итиро Фуруги». «Ассистент Чжэнь Гу Му». Тоже распахнутые двери, тоже клинышки, тоже честные взгляды. «Доцент Людвиг Альтенбаум». «Ассистент Йоко Нэмото». «Профессор Квабараман Наба...

– ПОСТОЙТЕ!!! – раздался крик, и в то же мгновение меня накрыло облаком меланезийской парфюмерии. Из глубины кабинета метнулась тень, профессор Набаба выпрыгнул в коридор между тележками и схватил меня за руку. – Зайдите, зайдите ко мне! Я вас умоляю! Мне необходимо с вами поговорить!

Грузчик перестал петь. Он ждал, пока я уступлю ему дорогу. Пришлось зайти.

– Вы так нужны мне, так нужны! – с этими словами профессор закрыл дверь и щелкнул замком. Из коридора послышалось продолжение песни, но уже неразборчиво. Я глубоко вдохнул через рот.

– Вы, наверное, знаете, что происходит, – взволнованно заговорил профессор. – Эта женщина сошла с ума! Она клеветает на меня, она распускает дикие слухи! Она губит мою карьеру, мою семью, мои исследования, мое доброе имя! Это просто маньячка! И они ее слушают! В университете создали комиссию для проверки фактов, она работает уже три месяца – и там не верят ни одному моему слову! Они верят только ей! Меня уволят, и я умру от голода!

– Ну хорошо, – сказал я. – А почему вам нужно обсуждать это со мной?

– Как почему? Вы же с ней знакомы! Вы сами говорили!

– Да, знаком. И что?

– Вы должны помочь мне. Вы просто обязаны мне помочь. Как островитянин островитянину. Вы пойдете со мной на заседание комиссии и скажете, что она сумасшедшая. Они вам поверят.

– У меня нет оснований говорить, что она сумасшедшая.

– Нет оснований? Вы ей верите? Вы слышали, что она говорит?

– Она говорит, что вы повесили ей шарф на шею и поцеловали.

– Это ложь! – взвизгнул профессор и топнул сразу двумя ногами. – Как вы можете этому верить? Я просто рассказал ей о несчастных детях Бабалогу, которым нечего кушать. Она заплакала, задрожала – и я действительно согрел ее своим шарфом. Это я признаю. Но поцелуев никаких не было. А если бы и были, что с того? Это укладывается в рамки меланезийских традиций. У нас на острове дружеские поцелуи в порядке вещей – чужие традиции надо уважать. Слаборазвитые страны тоже вносят свой вклад в мировую культуру.

Я еще раз вдохнул через рот. Профессор еще раз топнул обеими ногами.

– Все, что она говорит, – это ложь, ложь, ложь! Наглая ложь!
– Ну допустим, – сказал я. – А зачем ей эта ложь? Почему она так говорит?
– Это легко объяснить, – сказал профессор. – Она клеветает на меня потому, что я бабаложец. Она ненавидит всех бабаложцев! Я думаю, она связана с ультраправым японским движением, которое хочет нас поработить.

– Вы уверены в этом?

– Еще бы! Вы знаете, у нас на острове есть писатель, его зовут Гулялям Макабака. Он пишет: мерило любой цивилизации – это отношение к бабаложцам. Вы согласны?

– Даже не знаю... Очень сильно сказано...

– Бабаложцы всегда первыми попадают в беду! Нас первыми поработили папуасы. Нас первыми разорил всемирный кокосовый кризис. И сейчас меня первым хотят изгнать из университета. Но за бабаложцами всегда следуют другие! История учит: кто бросил в беде бабаложца, попадет в беду сам!

Он прислушался к звукам из коридора и понизил голос до шепота:

– Вы думаете, это демократическая страна? Ошибаетесь! В душе они все шовинисты. Иностранцы для них – люди второго сорта. Даже в транспорте они никогда не сядут с вами рядом. Вы замечали? Я замечал. Знаете, что я решил? Я решил дать им сражение. Им всем надо прочистить мозги.

– Хорошо, – сказал я и отомкнул дверной замок. – Прочищайте. Удачи вам.

– Я могу рассчитывать на вашу помощь?

– Боюсь, что нет.

– О-о-о-о-о-о-о! – застонал профессор, схватился за седины и забарабанил ногами по полу. – Моя-жизнь-моя-семья-моя-клевета-я-умру-всё-ложь-ложь-ложь! Маньяки-папуасы-поцелуи-шовинисты-зачем-зачем-зачем! О-о-о-о-о-о-о-о!...

Он тряс головой, подпрыгивал, сгибался пополам и хлопал себя по ляжкам. Это напоминало шаманское вхождение в транс.

– Ы-ы-ы-ы-ы-ы! Макабака-леспедца-карьера-клевета! Ы-ы-ы-ы-ы-ы! Я-погиб-пропал-посол-феромон-султан! Я закупал лекарства! Я закупал лекарства! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...

Он бухнулся на колени, заломил руки и затрясся всем телом. Я молча вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь.

* * *

Университетский двор заносило снегом. Встав у окна, я наблюдал, как желтые дорожки кампуса покрываются белой крупой. С каждой минутой они становились все неразличимее.

Раздался стук в дверь. Я оглянулся не сразу, а когда оглянулся, то увидел доктора технических наук Рауля Абрамовича Лишайникова. Заячья шапка на нем была посыпана снегом, который быстро таял, капая на воротник.

– Вадичек, – сказал Рауль Абрамович, роясь во внутреннем кармане. – Я, как всегда, с классическим вопросом. Вот, нашел у себя в ящике, вскрыл, а там одни иероглифы. Может, это не по адресу пришло?

Он протянул конверт. Взглянув на адрес, я вытащил складную открытку с фотографией гигантского моста и надписью золотыми буквами: “San Francisco”.

– Что? Не мне?

– Не вам, – сказал я. – Это мне. Почтальон квартиру перепутал.

– Бывает... Видишь, как хорошо, что я сразу к тебе пришел. Извини, что вскрыл, не разобравшись. Хотя, сам понимаешь, в содержание я не вникал.

– Ничего, ничего...

Рауль Абрамович взялся за дверную ручку и тут же ее отпустил.

– Послушай, Вадичек! – сказал он. – Как тебе нравится весь этот скандал? Ты смотрел вчера телевизор?

– Смотрел...

– Я правильно сделал, что не дал им интервью. Присосались, как клопы. «Вы член комиссии, расскажите, как принималось решение». У ректора потом истерика была: «Откуда журналисты, почему утечка информации?» Сразу столько журналистов я еще не видел. Какая-то девка с микрофоном прибежала. «Как вы относитесь к феминизму?» Она бы еще спросила, как я отношусь к озоновой дыре.

Рауль Абрамович снял шапку, посмотрел на нее, шагнул к мусорному ведру и стряхнул туда остатки снега.

– Прославились на всю Японию. Кто нас раньше знал? А теперь скажут: ну как же, это тот самый университет, из которого папуаса выгнали за разврат. Слыхали-слыхали... Вадичек, скажи честно, тебе его не жалко?

– Думаю, он не пропадет.

– А я вот хожу и мучаюсь. Он ведь был не совсем животное, он даже знал фамилию «Бетховен». С ним можно было беседовать на отвлеченные темы. А мы его взяли и выгнали непонятно за что. Но ты видишь, ситуация-то сложная – как ни поверни, все плохо. Или ты против феминизма, или ты притеснитель папуасов. Выбирай, что больше нравится. Вот мы и выбрали. Папуасов все-таки поменьше...

– А что Ученый Совет?

– Да ничего... Пять воздержавшихся, двое «против», остальные «за». Теперь Федька бегают, кричит... «Заговор! Против иностранцев! Всех прогонят!» К тебе прибегал?

– Прибегал.

– Ну вот. И подумай: что эта тетка выиграла? Как ее... Сулико?

– Кирико.

– Да. Что она с этого поимела? Я, кстати, с ней встречался, разговаривал. С виду нормальная женщина, по-английски говорит. Познакомить тебя с ней?

– Да ладно...

– Теперь она грозит подать на него в суд. И папуас тоже грозит подать в суд на университет. Все будут со всеми судиться. Скажи, Вадичек, разве такое было возможно в эпоху Иогана Штрауса?

Он еще раз посмотрел на свою шапку, вытер ее рукавом пальто и продолжал:

– Раньше говорили «лобзание», теперь говорят «половое домогательство». Раньше говорили «рыцарь», теперь говорят «шовинист». Раньше говорили «мудак», теперь говорят «альтернативно одаренный». Куда мы катимся, Вадичек? Что будет с человечеством?

Он водрузил шапку обратно на голову, расстегнул пальто, достал из кармана пиджака свернутую в рулон газету.

– Или вот, Федька привез из Москвы. Я тебе прочту одни заголовки. Послушай, какую прессу теперь печатают в нашем отечестве.

Развернув газету, он поправил очки на носу, прокашлялся и начал:

– «Бомжи съели фаворита скачек»... «Страшные откровения парикмахера»... «Триппер в Государственной Думе»... «Кукушата Березовского»... «Виагра для слона»... «Мы говорим Путин, подразумеваем Фантомас»... Какой Фантомас, Вадичек? Откуда Фантомас? Что за мерехлюндия?...

Я не слушал его. Что-то настойчиво стучалось в мое сознание, облекалось в слова и требовало письменной фиксации. Я шагнул к столу, выдернул из стопки чистый лист, схватил карандаш и выплеснул на бумагу четыре строчки.

То была Формула Политической Корректности. Ёмкая, как рецепт коктейля, строгая, как диагноз врача, и жесткая, как приговор.

**Заставь дурака или дуру
богу или богине молиться,
он или она лоб или лбину
себе расшибет.**

– Или уже расшибла, – добавил Рауль Абрамович. – Вы вот меня слушать не хотите, а я давно все понял. Мир спятил с ума. Человечество дошло до ручки. Здесь было последнее нормальное место на планете – теперь загадят и его. Радуйтесь, любуйтесь – вот он, двадцать первый век этот ваш. Твой и федькин.

Он сунул газету в карман, многозначительно цыкнул зубом и вышел.

Я немного постоял, глядя в стену. Потом вспомнил про открытку.

«Вадитян, привет из Калифорнии! У вас, наверное, идет снег. А здесь светит солнце. Меня пригласили на конференцию по содействию азиатскому феминизму. Я выступила с докладом, приняла участие в круглом столе. Маргарет Накамура меня хвалила. Теперь поеду в Сиэтл, там будет рабочая встреча. Подумываю, не оставить ли бизнес. В Америке очень красиво. Потом напишу тебе еще из Сиэтла. Ms. Кирико.»

Я бросил открытку на стол и подошел к окну. Желтые дорожки совсем исчезли под снегом. Вдоль стекла летели пушистые белые хлопья. Я смотрел сквозь них, пока не начала кружиться голова. Потом резко зажмурился – и увидел бурлаков на Фудзи.

Они только что достигли вершины и теперь стоят на ней всей ватагой. Холодный ветер хлещет по их спинам колючим снегом, лапти разъезжаются на льду, туман не уходит. Бурлаки в растерянности – они не смогли разгрузить барку, потому что барка оказалась пустой.

– Ларька! – зовет старый коренник. – Ты грамоту знаешь, ты умный. Скажи: что по этому поводу говорит Владимир Иванович Даль?

Ларька чешет в затылке, закатывает глаза, морщится.

– Я не помню точно, – признается он. – Я могу перепутать. Но мне кажется, Владимир Иванович говорит так: «Любишь саночки возить, люби и кататься».

Все удивляются:

– Как это кататься? Куда кататься? Какие такие саночки?

– Так вот же... Вот они, саночки. А вот горочка гладенька. Сели-покатились.

– Да что же это... Да как же это... Небывальщина какая-то!

– А вот! Новые времена. Все можно.

Сказано — сделано. По бечеве топором, лямки в кратер. Обхватили барку: пятеро за левый бок, пятеро за правый, Ларька сзади. Раскачивают. И — раз, и — два, и — три, пошла, родимая!... Запрыгнули один за другим, Ларька сзади несется, толкает в корму из последних сил, и тоже — прыг вовнутрь! Оба-на! Какой там бобслей, бобслей отдыхает.

Склон как полированный, скорость набирается, туман свистит в ушах, ветер в харю, а чего нам, мы привычные, мы скока натерпелись, мы щас всем покажем, тока малехо разгонимся, давай-давай родимая, а тумана-то уже и нету, выехали из тумана, кругом видать, и нас видать, и вон уже девки запрыгивают, и ладно, места хватит, и негры гляди-кось, и педики вон чего, давай-давай-сигай, веселее будет, кто там еще бедный-чудной-убогий, все к нам давай, все влезут, уж мы прокатимся, уж по кому надо проедемся, а лавушка под нами гладкая, скользкая, разогнались так разогнались, первая космическая, теперь один хрен горка не горка, уже и в океан плюхнулись, а все летим, во как, гуляй бурлак, оттягивайся, нарежай круги по планете, твоя она теперь.

А с острова, с атолла, с кокосовой пальмы на эту красоту, на наглость эту, на оттяг вселенский смотрит туземец, океанец, бабаложец ноне дикой. Не выдержало у парня ретивое, забилося часто, побежал он к берегу, схватил весло, сел в пирогу, погреб через волны, через рифы, через моря, через течения, хотел тоже запрыгнуть, присел, спружинился, нацелился, сиганул — и не получилось, не рассчитал, ошибся, промахнулся; только пронеслась по нему барка, оглушила, выбила мозги, разметала пирогу, кормой притопила напоследок и дальше понеслась, а парень только и успел, что булькнуть разок — и на дно, к скатам, камбалам, палтусам, к акулам на закуску.

Что тут скажешь? Одно слово — «трагедь»...

...Храбрый воин Ёсицунэ Минамото сидел на спине своего боевого коня, покачиваясь на волнах. Конь из последних сил болтал ногами и отфыркивался от соленой воды — а его хозяин недоуменно глядел на бурлящий пенистый след, который тянулся от берега до горизонта. Где-то там, в этом клокочущем водовороте исчезли обломки благородного оружия, спасти которое от вражеских издевательств так хотел сиятельный князь. Все получилось не так, как в песне, все обернулось непонятным и страшным боком. Неприятеля из дома Тайра, в панике попрыгавшие за борт, теперь выныривали, отплевывались, хватались за перевернутые челны и тревожно смотрели на восток, где из-за кромки горизонта поднималось бледно-розовое солнце нового тысячелетия.

Почтовый ящик (3)

From polivan@hotmail.com
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject glas wopijushchego

Кладезь вы мой премудрый! Сосуд скудельный!

Уж прямо вы и жнец и швец и коровка божия, умиление одно! Уж нагородили так нагородили. Пегас вас покопытил али красна девица? Так-то вот медведя не убив все глаза и промозолишь. Я уж и слева, и справа, и доброжелательно, чисто Ариадна, а все тетеря тетерей. Оно, конечно, и жук мясо, да только семя-то ваше не крапивное, это вам не икру метать, могиканин вы наш. Бирюльки бирюлькам розь. Так-то вот вся искорка под копыль и убежит, поди разбери потом, кто кого на помочах держал. А ежели по-другому? Ежели не блеска самоварного, а тех же щей, да пожиже? Чай мы тут не голь-шмоль, с клюквы не зардеемся, уж коли вымещать на ком, то не голову сломя. На одном фимиаме далеко не выгребешь, вы уж лучше в чернила макайте. Глядишь, из кулька в рогожку и пересыплется, будете павой ходить, медные горы ворочать, сам себе Егоров, сам себе Кантария. А пока – смежьте очеюшки.

Полина Ивановна.

From sota_kazuho@kagami.co.jp
To vsmol@aw-daigaku.ac.jp
Subject genki kai

Дорогой сумотян!

Впервые e-mail напишу поруски.

Компюта трудно. Молодой не делаи. Теперь плохо потому что старо.

Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Скоро
холодно зима опасно берегись

Этот год лето военнопленный много в чита город
поехалить. Я тоже принимаю участие. Деревня очень
далёко. Русский челобек трудно. прохои хулиган
много

Сумотян давно не встречалить. Давай гости
приехали. Надо сумотян встречаи. Потому что
люблю сумотян

Всего вам наилучшего

Сота Кадзухо

Киевское динамо

На улицу Накабьяку опустилась полночь. Часы на фасаде кофейни «Хаппи Хаус» возвещали, что через десять минут пятница закончится, а суббота начнется. Тротуары, по будням пустынные, были изрядно оживлены. Туда-сюда по ним перемещались расслабляющиеся трудовые коллективы, шумные компании студентов, отдельные сладкие парочки и вовсе одинокие гуляки. Радуюсь наступлению выходных, они устраивали себе длинные праздники живота и печени с торжественными переходами из заведения в заведение.

На дне моего желудка устало шевелил пережеванными щупальцами свежесъеденный жареный кальмар. Сверху его придавливали тунцовые сасими, куриные шашлычки, морские водоросли и маринованные трепанги. Вся эта кухня плавала в двух кувшинчиках горячего сакэ – оно активно воспаряло в головной мозг и приятно колебало уличную перспективу. Мой праздник был ничем не хуже любого другого.

Кофейня по левую руку сменилась рестораном «Тэнгу» – аляповатая вывеска на нем звала отведать черепашью крови и жареной рыбы фугу. Круглые мумии трех таких рыб висели у входа на ниточках, покачивались на ветерке и стукались друг о дружку лбами. Чуть в стороне, покачиваясь в одном ритме с мумиями, справлял малую нужду изнуренный клиент, перебравший черепашью крови. Проходящие мимо достаивали его молчаливым пониманием.

Далее высилось трехэтажное здание «Апоро-биру». По тротуару слонялись развязные зазывалы и совали в руки прохожим рекламные листки. Двое из них гайдзином не побрезговали, двое гайдзина проигнорировали, а один повел себя странно: развернулся к стене и обхватил голову, как приговоренный к расстрелу. Но это ему не помогло – долговязую сутулую фигуру трудно было не узнать.

– Эй! – позвал я. – Дзюнтаро!

Он уронил руки, нехотя повернулся.

– Привет, Бадыму. Давно не виделись.

– Новая работа?

– Третий день сегодня. Не могу привыкнуть. Стесняюсь...

– Чего стесняться? Работа как работа.

– Тогда держи. – В руке у меня оказался календарик с полуголой девицей. –

Топпурэсу дансу.

– Хм... Где-то я это уже видел.

– Возможно. Они тут уже полгода. Большое заведение, на втором этаже. Раньше это был гей-бар, единственный в городе, маму-сан все знали. А потом он умер, и бар закрылся.

– Кто умер?

– Мама-сан. От рака. Теперь новые хозяева, бизнес новый, перспективный. Меня вот взяли... Раньше я еще успел санитаром поработать, а потом на фабрике. Но это хуже гораздо – до того тупеешь, что вечером пальцы не слушаются. Уж лучше здесь.

– Тебя в «Кукле» давно не видно. С Кеном больше не играешь?

– Да, на фьюжн потянуло, к мейнстриму остыл. Кстати, ты слышал последнего Рона Джейсона? «Форева блаинд» – слышал?

– Не слышал.

– Это что-то. Ты просто обязан его послушать. Пойдем наверх, у меня диск в сумке.

Мы поднялись по широкой открытой лестнице. Из ниши в стене на нас глядел Аполлон, воздвигнутый в эпоху гей-бара.

– Скоро уберут, – сказал Дзюнтаро. – Венеру поставят.

Он взмахнул рукой, показывая на широченную, в полстены, вывеску:

Биинасу

topless show

Venus

topless show

– Подожди здесь. – Не успела дверь за ним закрыться, как на площадку выскочила рослая блондинка и понеслась к лестнице, выбивая шпильками дробь из бетонного пола. Схватила за перила, коротко глянула вниз и побежала обратно. Из дверей выглянула еще одна – тоже блондинка, но пониже.

– Где тэнчик? – закричала первая. – Тэнчик где? У меня три кекса, блин, все без заказов, два уже на морозе. Пусть отсодит нахер! Пусть нормальных даст!

– Та шо ты, блин, Оксана! Я тебя умоляю, – сказала вторая. – На шоу-тайме сдерешь.

Заметив меня, они недоуменно переглянулись и скрылись за дверью. Вышел Дзюнтаро.

– Слушай, – сказал он. – Я забыл, что этот диск мне завтра будет нужен. Ты сейчас куда шел?

– Домой.

– А чего бы тебе не зайти? Посидишь, выпьешь, на девушек посмотришь. Один час – четыре тысячи. Пей, сколько влезет. А я пока на кассету перепишу.

– Откуда девушки-то?

– Из этой, как ее... Из Украины. Зайдешь?

– Ну хорошо, зайду.

– Только скажи начальству, что это я тебя привел, ладно?

За дверью оказалась стойка с холеным молодым человеком. Его лицо источало профессиональную смесь достоинства и угодливости.

– Хороший у вас зазывала, – сказал я ему. – Невозможно мимо пройти.

– Добро пожаловать, – отвечал он с легким поклоном. – Будете делать именной заказ?

– В смысле?

– Заказ на девушку будете делать?

– Это обязательно?

– Можно и без заказа. Но тогда мы не гарантируем вам общество.

– А выпить гарантируете?

– Выпить гарантируем. С вас четыре тысячи иен.

Я заплатил. Заведение раздвинуло стеклянные двери, обдало меня табачным дымом, пахучей парфюмерией и долбливой попсой. Вдоль стен тянулись зеркала, вдоль зеркал сидели клиенты и старательно наслаждались гарантированным обществом. Словив пару любопытствующих взглядов, я присел за пустующий столик и стал изучать стоящие в его середине бутылки. Коньяк Suntory, виски Suntory, еще виски Suntory, опять виски Suntory...

– Hello! – раздалось над ухом. Я увидел чернявого цыганистого парня. – Меня зовут Карлос. Что будете пить?

– Привет, Карлос, – сказал я. – Дай мне стакан, я сам разберусь.

Не успел Карлос исчезнуть, как на его месте оказалось прелестное создание в кожаной мини-юбке и короткой маечке. Распущенные белые волосы напоминали исполинский одуванчик. Грациозно оттопырив задик, создание уселось напротив и протянуло мне кончики пальцев.

– *Комбанва!* Анжелика дэс.

– Вадик дэс, – сказал я, осторожно за них подержавшись.

– *Сумимасэн?*

– Можно по-русски, я свой.

Косметика на ее лице изобразила крайнюю степень удивления.

– Чё, правда?

– Правда, правда... *Хонто*.

– Ничего себе... – Она встала и захлопала в ладоши. – Девчонки!!! Сюда!!! Карлос!!! *Бринг водка!!!* – Снова села, внимательно взгляделась в меня и спросила:

– А ты в курсе, что Карлос голубой?

– Теперь буду в курсе.

– У нас все бразильцы голубые. Чтобы мы от кексов не отвлекались.

– От чего?

– Ну, от клиентов. «О-кяку-сан». Сокращенно «кекс». Знакомься, вот это Барби, а это Моника.

Я кивнул двум подошедшим красавицам. Внешность первой довольно точно повторяла американский кукольный прототип. Вторая больше походила на бабу с одесского привоза.

– Ох ты ё! – сказала она, усаживаясь ко мне поближе. – В кои-то веки.

На столе появилась бутылка водки Suntory, четыре стакана и контейнер со льдом. Барби взяла щипцы и навалила полный стакан ледяных кубиков.

– Ты шо, дура? – сказала Моника.

– Привычка, – смутилась Барби. – Всё виски да виски...

Она ссыпала кубики обратно в контейнер, Анжелика наполнила стаканы, и я провозгласил тост:

– За встречу!

Пятьдесят грамм водки Suntory оросили маринованных трепангов. Градус повысился. Жареный кальмар блаженно раскинул щупальца в стороны.

– Кайф! – сказала Анжелика. – С кексом по-русски... Непривычно даже.

– Та шо это, кекс? – возразила Моника. – Кексы вон сидят. Козлы, блин... А это наш русский мужик! Мы его сейчас попросим, и он нам всем заказ сделает.

– Чего сделаю?

– Ну, заказ! Платишь две сэнки, и я с тобой целый час сажу. Давай, а то меня опять к этим козлам отсодают.

– Вот придут отсаживать, тогда и будет тебе заказ.

– О-о-о! – Она запустила пятерню мне в волосы. – У тебя такие кудри!

– Где у меня кудри?

– О-о-о! Русские кудри! Я не могу... Ты такой, блин, *плэйбой!*.. Ты такой, блин, *альфонс!*.. Ох, бляха, я щас кончу...

– Моника! – раздалось откуда-то сзади. – Шоу-тайм!

– Та шоб их всех, – сказала Моника, отрываясь от русских кудрей.

Снова появился Карлос, поставил на стол закуску – порезанные вдоль огурцы и морковки, плюс майонез на отдельном блюде. Анжелика повторила разлитие, уже в три стакана – и вдруг послышался надтреснутый, еле живой голос:

– Приве..е..ет...

Голос принадлежал очень худой и очень бледной девице с потухшими глазами. Она держалась обеими руками за спинку стула и слегка покачивалась.

– Добрый вечер, – сказал я. – Присаживайтесь.

– Не..е..е... У меня зака..а..аз...

Она сделала плаксивое лицо и медленно уползла.

– Что это с ней? – спросил я. – Болеет?

– Это понарошку, – объяснила Анжелика. – Роза всегда типа болеет, у нее имидж такой. Ее тогда кексы жалеют и денег дают больше. А так она нормальная, только в роль сильно вошла, мы даже беспокоимся теперь. Давай выпьем, чтоб она была здорова.

На трепангов обрушилось еще полста.

– *Бааби!*.. *Андзерика!*.. *Симэй дэс!*..

– Нас заказали, – деловито сказала Барби, ставя на стол пустой стакан. – Отдыхай, увидимся.

В одиночестве я сидел недолго и через минуту перешел под опеку следующей красавицы. Она была похожа на воздушный шарик, в нужных местах перетянутый тугими резинками, – а походку имела такую, словно ее с отскоком от пола вел невидимый баскетболист. Плюхнувшись напротив, выбросила в мою сторону жеманно изогнутую руку:

– Говорят, наши в городе?

– Не врут.

– Каролина.

– Очень рад.

– А чего ты девчонкам не башляешь?

– Жадный.

– Да ладно тебе. Ты давай башляй.

– Ага.

Попса в динамиках вдруг обрубилась, и свет в заведении стал медленно гаснуть.

– *Рэдиз андо дзенторимен!* – раздалось под потолком. – *Сёу-тайм!!!*

Публика затихла и напряженно подалась вперед. Сценическое возвышение осветилось, заиграл какой-то несуразный гопак – и кулисы исторгли тощенькую приму в цветастой пачке и в таком же цветастом бюстгальтере. Выбежав на середину, прима исполнила несколько не вполне уверенных па, а затем нажатием потайной кнопки отправила обе половины бюстгальтера дуплетом в потолок, явив взорам изголодавшейся публики давно обещанное.

– *Рэдиз андо дзенторимен!* – торжественно возгласил ведущий. – *Дзыс из Синди!!!*

Под одобрительные крики и рукоплескания Синди разыграла минутную пантомиму, изображая сразу и корову, и доярку. Затем спустилась в зал и подиумным шагом направилась к ближайшему зрителю. Пантомима повторилась в сокращенном варианте у него перед носом. Зритель вытащил кошелек.

– Понял, как надо? – наставительно сказала Каролина.

Когда Синди взошла обратно на сцену, балетной пачки на ней уже не было, а из трусов во множестве торчали тысячные банкноты – как подрывные брошюры за кушаком революционного студента. Она раскланялась, послала залу воздушный поцелуй и исчезла за кулисами.

– Ну, чего не дал? – строго спросила Каролина. – Жаба давит?

– Так она не подошла... Кабы подошла, я б дал...

– Рассказывай! – Каролина махнула рукой, поднялась и отпасовалась на другую половину поля.

Музыка сменилась на что-то сладкозвучно-персидское. Я взял два морковных ломтика и попробовал загрести ими побольше майонеза. Ломтики были длинные, хлипкие, немилосердно гнулись и на роль палочек совсем не годились.

– *Рэдиз андо дзенторимен! Дзыс из Моника!!!*

Я поднял глаза и увидел на сцене свою недавнюю собеседницу. Она блестела и переливалась, вся увитая разноцветной мишурой и перьями. Из области копчика произрастал павлиний хвост. Спереди, потеснив перья и мишуру, выпукло торчало все то же. Новую пантомиму следовало бы назвать «Птичье молоко».

Выполнив план по надю, Моника спустилась со сцены и направилась напрямик ко мне. Дойдя, развернулась задом и несколько раз подвигала вверх-вниз хвостом. Амплитуда была впечатляющей.

– Классно, – сказал я.

Уперев руки в боки, она стояла передо мной. Ей не хватало лишь прилавка с толстолобиками.

– И что теперь? – спросил я. – Денег дать?

Она уверенно кивнула. Я вытащил из кармана тысячную купюру и сунул ей куда-то в мишуру. Она довольно хлопнула себя по оперению, потрепала меня по щеке и проследовала к следующему столику – а там уселась на зрителя верхом и скакала на нем амазонкой, покуда тот не раскошелился.

– *Рэдиз андо дзенторимен! Дзыс из Памэра!!!*

Третий номер программы был, видимо, задуман гвоздем. Таких размеров и таких надоев не видывала никакая ВДНХ. Клиенты заведения благоговейно примолкли и таращились на рекордсменку, чтобы во всех деталях донести увиденное до друзей и сослуживцев. Памела властно и величественно прошла по залу — как татарский хан, собирающий дань с покоренного племени. Я был единственным, кто удостоился от нее каких-то слов. Принимая от меня очередную *сэнку*, она наклонилась и жарко прошептала:

— Милый, как меня достали эти обезьяны!..

Я проводил ее взглядом до следующего столика, где уже взволнованно трепыхались протянутые банкноты. Вдруг справа вытянулась чья-то рука и утерла мне нижнюю губу влажной салфеткой. Рука принадлежала конопатой девчонке с озорными глазами — я и не заметил, как она под села ко мне со своими шуточками.

— Привет, меня зовут Миранда.

— Привет, Миранда.

— За знакомство?

— Давай.

— *Рэдиз андо дзенторимен! Дзыс из Антонио!!!*

На сцене нарисовался мускулистый бронзовый красавец в плавках. Он поворачивался туда-сюда и напрягал различные группы мышц, как на турнире по бодибилдингу.

— *Антонио из МАЧО !!!*

— *МАЧО !!! МАЧО !!!* — в восторге заголосили пьяные гости.

— Тьфу ты! — сказала Миранда. — Руки-то красные. «Мачо»...

— А почему красные?

— Он у нас посудомойка. Сейчас покривляется, штаны наденет, и опять на трудовую вахту.

Мачо обошел зал, собирая в плавки чаевые.

— *Рэдиз андо дзенторимен! Сёу-тайм из ова! Санкю вери мач!!!*

На сцену выкатили установку для караоке. Из зала вышла тетенька лет семидесяти, овладела микрофоном и затянула грустную песню.

— Надеюсь, она не будет раздеваться? — спросил я.

— Эта не будет. А вообще бывает — иной кекс переберет и давай стриптизить.

Помню, один монах из рясы выпрыгнул и за Каролиной погнался. Еле убежала.

— Весело тут у вас.

— Ну. Потом, говорят, надоедает. Но я недавно, мне еще не надоело.

— А с языком как?

— Пока не очень. Но я учу. Вот, смотри...

Миранда протянула крохотный блокнотик. Я открыл наугад и прочитал:

боинчан — грудь

скебе — козел

печапай — грудь

сэнэн — сэнка

оцили — жопа

ичиман — манка

атока — мужик

оманка — спросить у девч.

— Хороший глоссарий, — сказал я. — Репрезентативный. Но есть некоторые неточности в переводе. Вот, скажем, «скебе» — это не то, чтобы «козел».

— А как?

- Ну, что ли... «сексуально озабоченный».
- Значит, козел и есть. Все правильно. Что они, не козлы разве?
- Козлы, блин, все как один! – вернувшаяся Моника, уже без хвоста и перьев, устраивалась рядом. – Тупые, грязные, *скебешные* козлы!
- Точно, – подтвердила Синди, вливаясь в компанию. – Козлы. И обезьяны. Все до одного. Ненавижу.
- Кто это «все до одного»?
- Кто, кто... Японцы! Нация дегенератов. Или я неправа?
- По-моему, нет.
- погоди, – сказала Моника. – А ты шо вообще тут делаешь? Работаешь?
- Да, в университете...
- И хочешь сказать, они тут не козлы?
- Бывают, конечно, но ведь не все...
- Та ну! Шо ты видел в своем, блин, университете? Я тебя умоляю! Козел на козле и козлом погоняет. Вон, гляди:
- **ДЗЯН !!! КЕН !!! ПОН !!!** – грохнуло за столиком в углу. Клиенты играли с девушками в «камень-ножницы-бумагу» – выбрасывали кто кулак, кто два пальца, кто ладонь. Проигравший выпивал рюмку водки.
- Ну шо, не козлы? Ты можешь представить, щоб русские мужики маялись вот такой же, я извиняюсь, херней? А эти ничего другого не умеют и не хотят. В натуре козлы. У нас, блин, Кучма – и тот умнее.
- Ладно, – сказал я, – вас не переспоришь. Козлы, так козлы.
- Правильно! Давайте выпьем за русских мужиков!
- Ура-а-а!!!!... За русских!!!!... За мужиков!!!!...
- А где Сабина? – осведомилась Моника, опорожнив свой стакан. – Мы тут за москалей пьем, так она шо – спряталась?
- Кто такая Сабина?
- Да то заподэнка. Тернопольская. Пропала куда-то.
- А остальные откуда?
- Остальные с Киева.
- Слушай, почему у вас с закуской так хило? Бразильцы на кухне съедают?
- Щас будет. Значит так. Я тебе закуску, ты мне заказ. Две сэнки. Нормально?
- Нормально.
- Давай сюда, я в кассу отнесу.
- Она сгребла деньги и ушла к дверям. Пользуясь ее отсутствием, Миранда наклонилась ко мне и сказала:
- Я тоже так думаю!
- Как?
- Что они не все козлы. Я знаешь, как думаю? Я думаю, что есть плохие, а есть хорошие. Как и у нас. Я над этим очень долго думала.
- Сабина, дывись, якый гарный хлопец! – Моника вела за руку высокую шатенку. – Мы тут общаемся, а ты спряталась.
- Мэнэ кексы замовылы, – сказала Сабина, усаживаясь. – Я хлопця ще з самого початку побачила. Очам не повирыла: звидкыля такой узявся? Зачудувалася. Хто тилькы до нас не прыходыть...
- Сабина, он говорит: наши кексы не козлы!

– Та ну! Та вже ж вони не дурни? Приходять, сидять и мэнэ запытують: ты звидкыля? Я им говорю: з Тернопиля. Що?! З Чорнобыля?! Лякаються и видразу тикають. Хто ж вони ще, як не дурни?

– Ну и хорошо, что дурни. Были бы умные, разве б мы столько зарабатывали? Давайте выпьем за наших кексов!

– Ура-а-а!!!... За кексов!!!...

Пришел Карлос, поставил на стол новую бутылку водки Suntory и блюдечко. Сфокусировав взгляд, я разглядел на блюдечке горсть фисташек.

– Это «закуска»?!

– А шо? Где я тебе еще найду? У нас тут, блин, не Макдональдс.

– Я найду! – сказала Синди. – Сделаешь мне заказ?

– Сначала найди, потом заказ.

Синди побежала за сцену, Миранда за ней. Моника деловито наполняла стаканы. Сабина, подперев щеку, глядела на меня.

– Обережно з горилкою, хлопче! До хаты не потрапыш, пид забором будеш ночуваты. Мы з усима кексами пидряд пємо, натренувалыся, куды тобі до нас.

– Ничего, – сказал я. – Ты нашего брата москаля еще не знаешь.

– Та господы! – вздохнула Сабина. – Хиба ж я вас не бачила...

На столе появилась картонная коробка с половинкой холодной пиццы. Синди стояла над ней с видом Геракла, добывшего золотые яблоки. Миранда подбежала и пристроилась рядом. Я медленно поднялся, оглядел зал, поманил пальцем человека в жилетке. Он мигом подскочил.

– Этой заказ. И этой заказ.

– *Хай!* Четыре тысячи иен.

Я ткнул пальцем в Сабину.

– И этой тоже заказ.

– *Хай!* Шесть тысяч иен.

Освободясь от лишних бумажек, я опустился в кресло и взял стакан.

– За щедрость! – сказала Моника. – За широкую, блин, русскую душу!

– Ура-а-а!!!... За щедрость!!!... За душу!!!...

Я вернул пустой стакан на стол и засунул в рот кусок пиццы. В следующую секунду, как танк над окопом, надо мной навис бюст Памелы.

– Караоке простаивает. Споешь?

– Спою.

– Что споешь?

– Оперу спою.

– Оперы нет.

– Тогда не спою. Хочешь заказ?

– Хочу.

– Этой тоже заказ!!!

– *Хай!* Простите, у вас время вышло. Будете продлевать?

– Буду.

– Еще полчаса – две тысячи иен. С заказом – четыре тысячи иен.

– Держи.

– Ну чего? Раскошегарился? Башляешь?

– И этой тоже заказ!!!

- *Хай!* Еще две тысячи иен.
- Вообще всем заказ! Кто тут у вас есть? Всем заказ!!!
- Будет исполнено! Одну минуту... Двенадцать тысяч иен.
- На.
- Это десять тысяч. Нужно еще две.
- погоди... Больше нету. Всем заказ минус одна.
- Кто «одна»?
- Не знаю. Минус кто-нибудь. Кто у вас остался?
- Роза, Анжелика, Барби, Виолетта... Но они заняты...
- Да, да, вот им всем заказ. Ничего, что заняты. Кто еще?
- Все, больше нельзя. У вас полчаса. Отдыхайте, пожалуйста.

В полчаса уместилось многое. Трогательные брудершафты, разбитые стаканы, бородатые анекдоты, дурацкий смех, очередная бутылка, удивленный Дзюнтаро с кассетой, камни, ножницы, бумага, много чего другого, обреченного на ретроградную амнезию, а в довершение всего – прямо перед глазами – белая табличка с красными иероглифами: *«Не бросайте в писсуар окурки, мусор и др.»*

Иероглиф *«и др.»* располагался по центру и был сильно засижен мухами.

Кто-то потерял меня за правый локоть.

- Хорошие девочки, да?
- Ага...
- Примите мою визитную карточку.
- Угу...
- Я здесь часто бываю. Мы с вами еще встретимся.
- Ммм...

Зашумел слив. На выходе меня поджидал человек в жилетке.

- Простите, у вас опять время вышло. Будете продлевать?
- Буду...
- Две тысячи иен.
- В смысле не буду... Выход где?

Заказанные мною вышли меня проводить. Схватившись за перила на краю площадки, я посмотрел в черное небо, глотнул трезвящего ночного воздуха и оглянулся. Они стояли у дверей, выстроившись в шеренгу. У меня зарябило в глазах и засвербило в глотке.

- Сейчас спою, – сказал я.

Они молчали.

– Сейчас точно спою! – повторил я и развернулся к перилам. Внизу тянулась улица Накабэку, вдали мигали желтым светофоры, город спал.

- Пой! – слышалось сзади. – Спивай, хлопче!

И я запел.

* * *

Персидские, сиамские, ангорские, абиссинские, бенгальские, бомбейские, египетские, сомалийские и еще бог знает какие кошки всю ночь тусовались у меня во рту. Под утро к ним присоединились росوماхи, сунсы, бурундуки, еноты, опоссумы, мускусные крысы, хорьки и прочая сволочь, наакававшаяся сивушных масел из химического состава водки Suntory. Когда я открыл глаза, сволочь исчезла,

оставив после себя нечто неопишное. Во рту это «нечто» даже не поместилось, расплзлось по всей голове и остальному организму, забило извилины и сосуды, натолкалось в суставы и позвонки, обволокло потроха и сдавило душу.

С матраца я сполз на татами, уронил голову на пахучие соломенные рубчики и лежал так минут двадцать. Потом медленно поднялся на четвереньки и еще медленнее – на ноги. Квартира вокруг была моя.

Час я истязал себя под душем, час отлеживался, час снова истязал, пил слабый чай, проветривал голову на балконе, зарывался головой в подушки, сидел в позе лотоса, опять шел под душ, опять падал на матрац, опять пил слабый чай – и к середине дня почувствовал, что скоро начну оживать.

Зазвонил телефон.

– Привет, – сказал женский голос. – Это Люся.

– Ага... – сказал я. – То есть, нет, не понял... Какая Люся?

– Ты что, не помнишь? Ты вчера всех заказал, а меня не заказал. Дал телефон, сказал «звони». Вот я и звоню. Ты чё делаешь сегодня?

– Гоню похмелье...

– А потом?

– Еще не знаю.

– А когда повезешь меня на ирисы смотреть?

– Куда смотреть?

– На ирисы! Обещал вчера. Забыл?

– Почему забыл... Не забыл...

– Когда повезешь?

– А когда лучше?

– Прямо сейчас. У меня *дэйто* отменилось.

– Чего отменилось?

– Ну, свидание! С кексом. Позвонил, говорит: «не могу». До вечера свободна. Поехали, ты обещал.

– Ну хорошо, поехали...

– Через десять минут у Макдональдса. Жду.

На пятом коротком гудке я вспомнил, что ирисы расцветут через месяц. В парке у святилища Тораэмон цветение ирисов отмечалось ежегодным праздником, и случалось это всегда в начале июня. В мае цвели фиалки, пионы, рододендроны, камелии, левкои, пастушьи сумки, жимолости – а ирисы даже не думали цвести, только собирались. И я должен был их показывать какой-то неведомой Люсе.

К стене Макдональдса прилепился автомат с напитками. Купив банку холодного гречневого чая, я присел на капот своей «Хонды», откупорил, сделал глоток, зажмурился...

– Привет!

Люся стояла передо мной, кокетливо склонив голову набок. Я напряг память, пытаюсь соотнести эту картинку с ночными впечатлениями. Ничего не получалось. Джинсы, серая куртка, волосы убраны в хвостик, никакой косметики. Если я и видел ее накануне, то в другом обличи.

– Как здоровье?

– Спасибо, лучше.

– Учудил ты вчера, конечно.

- Чего я учудил?
- Не помнишь?
- Нет...
- Оперу ты вчера пел! У нас у всех уши заложило.
- Подумаешь, оперу... А какую оперу? «Евгения Онегина» или «Хованщину»?
- «Супружество нам будет мукой» – это что?
- «Евгений Онегин».
- Ну так мы едем?
- Залезай.

Я сел, поставил чай в специальную держалку, пристегнулся, вырулил на шоссе и взял курс на святилище.

- Это далеко? – спросила Люся. – К шести вернемся?
- Вернемся.

– Мне опаздывать нельзя. В полседьмого уже на работу везут. А до того душ, макияж, одеться...

- Тяжело вам.
- Что делать... Зато деньги.
- Большие?

– Ну как... В самом клубе не очень большие. Если танцуешь или заказов много, еще ничего. Заказ пополам делится – сэнка тебе, сэнка заведению. Но основные деньги идут с *дэйтов*.

- Со свиданий?
- Ага. Если правильного кекса подобрать, то заработать можно очень хорошо.
- Как это «правильного»?
- Ну, с деньгами! Это ведь не так просто – распознать денежного кекса.

Многие не умеют. Скажем, думают: вот, с мобилкой пришел, значит богатый. А на самом деле все наоборот – с мобилами в кабаки только шестерки ходят. Которым могут позвонить и на работу вызвать. Богатые ходят без мобил. А самые богатые – даже без часов. Я всегда на руки смотрю: если часов нет – значит, очень хороший кекс, состоятельный. Но это редко.

- Ну ладно, а дальше?

– Дальше техника. Ты должна перед ним мелькать, но ненавязчиво. Как будто тебя все типа заказывают, рвут на части и тебе не до него. И он потихоньку начинает думать: а чё это, собственно?

- И делает заказ.

– Сначала может и не сделать. Может сам подсесть, если там у него знакомые. Или нас к нему могут без заказа посадить, если он большая шишка. Ты ему тонко намекаешь. И если он заказа не делает, сажаешь его на мороз.

- Это как?

– А вот так! – Люся сложила на груди руки, вздернула подбородок и уставилась куда-то в сторону. – Типа знать тебя не желаю и общаться не буду. Если он десять минут на морозе сидит и в ус не дует, значит это жмот, нечего с ним и возиться. А если не выдерживает и делает заказ, то можно раскручивать дальше.

Вдоль дороги тянулись свежесеянные поля. Тут и там виднелись согбенные крестьяне с ящиками рисовой рассады на поясе. Разгребая воду резиновыми сапогами, они втыкали рассаду в те редкие места, где оплошала сеялка.

– Когда он тебе первый раз назначает *дэйто*, – продолжала Люся, – нужно отказать. Резко и жестко. Он должен испытать шок. Когда назначает второй раз – тоже отказать. Только чуть помягче, чтобы всю надежду не угробить. Третий раз – нехотя согласиться. Типа, ладно, уговорил. Ни в коем случае не проявлять никаких эмоций. Далее: на первое *дэйто* приходиться нельзя. Пусть ждет и обломится. Причину потом придумать. На второе можно прийти, но с приличным опозданием. И не задерживаться. Подарок взять, и домой. А вот на третье назначенное *дэйто* можно приходиться вовремя и надолго, потому что к этому времени кекс уже с гарантией дозревает до нужной кондиции.

Люся вдруг спохватилась:

– Слушай, я все треплюсь, треплюсь... А тебе это интересно?

– Конечно, – кивнул я. – Совершенно новый срез бытия. Ни разу не сталкивался.

– Ха! – оживилась Люся. – Это же психология! Тут понимать надо.

– И что происходит дальше?

– Дальше самое интересное. Кекс ведет тебя в ресторан, показывает, какой он крутой. Здесь, в принципе, можно еще немного покукситься. Даже нужно. Потом шопинг. Он тебя одевает с головы до ног, увещивает драгоценностями, дарит кучу разных мелочей. Можно вспомнить про родственников, им чего-нибудь купить, друзьям там всяким... Денег, конечно, тоже должен дать. Наличных. Если не дает, намекнуть: вот, мол, в Токио видела кофточку за пару *манок*, в воскресенье okazia, хорошо бы привезти. Хотя, как правило, дают и без намеков. И наконец, кекс грузит все в машину, сажает тебя – и везет.

– Куда везет?

– Вот именно. Куда везет? Этот вопрос ты ему и задаешь: а куда это, милый друг, ты меня повез? Он смущается, краснеет, бледнеет, набирается духу и выдавливают: мол, сейчас мы поедем в лав-отель.

– Бедняга...

– И тут ты закатываешь ему сцену. Как ты мог подумать! Как ты мог, японская твоя морда, хоть на секунду такое допустить! За кого ты, паразит косоглазый, меня принимаешь? Чтобы честная девушка продавалась за тряпки? Он, понятное дело, мигом скукоживается, делается притихший, отвозит тебя домой, помогает отнести покупки, долго извиняется, еще денег дает и просит не рвать с ним отношений.

– Боже, – вздохнул я. – Как это жестоко!..

– Это еще ерунда! – сказала Люся. – У нас Каролина одному кексу всю рожу ногтями расцарапала, когда он ее поцеловать хотел. Жалела потом, думала, больше не придет. Ничего подобного – пришел, каялся и кучу денег дал.

– Обалдеть можно, – сказал я. – По-моему, вы работаете не под той вывеской. Что значит «Винус»? При чем здесь вообще Венера? Ваше заведение правильнее было бы назвать «Динамо (Киев)». И поставить на входе статую Блохина.

– А чё это? – удивилась Люся. – Ты нас типа осуждаешь?

– Нет, почему... Уж лучше так, чем проституцией.

– Ха! Ну ты сказанул! Разве проституцией можно столько заработать?

– Нельзя?

– Дохлый номер. Которые здесь на это пускаются – просто дуры. Считать не умеют. Или характера нет. У нас были такие девчонки: кекс покажет им четыре

манки, у них глаза загорятся — и на все согласны. А что потом? Подсядет к этому же кексу или к его знакомому, попросит заказ — а он ей: «гоу эвэй, бич»! Там ведь тоже свое сарафанное радио, все про всех становится известно. Вот и сидит потом, как дурочка, без заказов, без дэйтов, на одной зарплате. А если до полиции слух дойдет, сразу уволят, и бай-бай.

— Значит, динамитель выгоднее?

— Никакого сравнения просто.

— Страна чудес, — сказал я. — Сколько здесь живу, не перестаю удивляться. Где еще в мире такое возможно? Нигде, только в Японии.

— В Японии тоже не везде! Токийских девчонок послушаешь, так у них не так. Столичный кекс ушлый, себе на уме, его развести — попотеть надо. Под столичных и ложиться иной раз приходится. А тут у нас тишь, глухомань, кекс дремучий, непуганый, такого только и динамитель.

Поля кончились. Шоссе попетляло меж холмов и нырнуло в длинный тоннель.

— Можно еще волосами торговать, — продолжала Люся. — У нас блондинки крашенные, но это секрет, для кексов мы все натуральные. Бывает, отстрижешь волосину и продашь за сэнку. Типа сувенир. А один раз я целую манку заработала. Сейчас расскажу, ты со смеху помрешь. Кекс спрашивает: вот на голове у тебя белые волосы, а какого цвета *там*? Я говорю: зеленого. Как, удивляется, почему зеленого? Чернобыль, отвечаю, мутация! Ух ты, говорит, хочу посмотреть. Шас, говорю, погоди. Иду в гримерку, там хвост висит, с которым Моника выступает. Отрезаю от него зеленую волосину и приношу. Покупай, говорю, десять тыщ стоит. Купил.

— Что ж он, не видел, чего берет?

— Темно, пьяный... Хотя им и трезвым можно что угодно впаривать. Очень легковверный народ.

Тоннель остался позади. Нас опять обступили лесистые холмы. Некоторое время мы ехали молча.

— Все должно как-то объясняться, — сказал я. — Мне вот что подумалось. На самом деле, такой феномен просто обязан был здесь прижиться. Традиции вполне располагают. Возьмем институт гейш. Такая же покупка женского общества — причем, без иллюзий по поводу близости. Клиент платит немалые деньги, чтобы побеседовать, пофлиртовать, насладиться тонкой игрой двух умов — и заранее знает, что до койки дело не дойдет.

— А наш клиент, — сказала Люся, — платит немалые деньги, чтобы поглазеть на голые титьки. И по возможности их полапать. Вот на что хватает тонкой игры ихних умов.

— Ну так ведь и вы не гейши! Настоящая гейша должна слагать трехстишия, играть на сямисэне, грамотно заваривать чай. Их по многу лет учат. А если уметь только грудь оголять, то чего ждать в ответ?

— Что значит «уметь только оголять»? Ты видел, как я танцую? Я бальными танцами с пяти лет занимаюсь! Я на конкурсах выступала! Но здесь это никто не оценит, здесь титьку показывай, и всё. Это не мы дуры, это публика убогая.

— Видишь ли, — сказал я, — у вас собирается специфический контингент. По нему ни о чем нельзя судить.

– Да прям! Ты знаешь, сколько таких клубов сейчас в Японии? Если открыли даже в этой дыре – сколько их тогда в Токио? Можешь представить, какая прорва наших здесь работает? Скоро не останется ни одной украинской девки, которая не съездила бы в Японию. Гигантский спрос! Нет тут ничего специфического, просто таков японский мужик – закомплексованный и похотливый. Ты говоришь: игра умов. Кабы они хотели наслаждаться игрой умов, так и наслаждались бы на родном языке, со своими тетками. А если я по-японски двух слов связать не могу – какая тут игра, каких умов?

Крыть было нечем.

– Кстати, знаешь, какие деньги наши девчонки привозили семь-восемь лет назад, когда этот бизнес начинался? Только за то, чтобы ты пошла с кексом на какую-нибудь пьянку, отваливали по десять манок! Тыщу баксов по тогдашнему курсу. Это только за то, что сослуживцы увидят его в обществе белой женщины, больше ни за что. Вот и скажи теперь: уважают они сами себя, или как?

– Ну хорошо, а вот ты уважаешь сама себя?

– А я-то при чем?

– Ладно... Приехали.

Перед нами лежала гравийная стоянка, за которой возвышались красные деревянные ворота с двумя перекладинами. Я припарковался. Мы вышли.

– Где твои ирисы? – спросила Люся.

– В парке, – ответил я. – Только они еще не расцвели. Это будет через месяц.

– Зачем же ты меня сюда привез?

– Просто походим. Здесь и без ирисов хорошо.

За воротами находился павильон для омовений рук и ополаскиваний ртов. Бронзовый дракончик, грустно закатив глаза, выпускал из пасти струйку воды. Я жадно выпил четыре ковшика. Люся сделала два глотка.

– Удивительно, – сказал я. – Вы правда такие все устойчивые к алкоголю? Каждую ночь пьете, как лошади, а с похмелья не мучаетесь?

– Да ты что, – усмехнулась Люся. – Достаточно, чтобы кексам так казалось, иначе бы мы все давно спились. Налить воды вместо виски несложно. Конечно, не всегда получается – то кекс норовит сам подлить, то всё слишком на виду. А иной раз так достанут, что и самой захочется. Но все-таки с утра обычно дэйты, надо быть в форме.

– Погоди... А эти вчера меня тоже дурили, что ли?

– Возможно. Ты ж пойми, у нас рефлекс: пришел кекс, его надо напоить, а самой не напиться. На автомате действуешь.

В сумочке у нее запищало. Она вынула мобильный телефон:

– *Моси-моси!* Хелоу! Из ыт ю?.. Йес-йес!.. Ноу-ноу!.. Ай сэд ноу!.. Нау? Элоун. Оунли ван. Оунли ми... *Хонто-хонто...* Ноу-ноу, тудэй дамэ! Ай эм бизи да кара. Си ю лэйта. Бай-бай.

Она выключила телефон и вздохнула:

– Жених...

– Какой еще жених?

– Ну, это так говорится. Есть просто кексы, а есть женихи. В принципе, бывают еще бойфренды, но про них отдельный разговор. А женихи – это которые жениться хотят. С ними нужна особая стратегия. Жениха надо все время

разруливать с кексами, чтоб он с крючка не сошел. Скажем, у Каролины всегда два жениха и что-то около десяти кексов. Прикинь, каково ей крутиться!

– А бойфрендов сколько у Каролины?

– Бойфренд всегда один. Это же бойфренд! Но бойфренды мало у кого. Они невыгодные. А вот жених — это золотое дно, его динамить можно долго-долго. Хотя там тоже свои тонкости. Я со своим вконец замучилась. Звонит и звонит, ни минуты покоя... А куда мы дальше пойдем?

– Туда, к ирисам...

Ирисовая плантация была укрыта полиэтиленом. Строгие ряды остролистных кустиков послушно торчали из круглых дырок. Многие уже выпустили стрелки.

– Вот, — сказал я. — Скоро распустятся. Тогда повалит народ, и здесь будет не протолкнуться. А пока даже в субботу никого нет.

Мимо пронесся пацан лет десяти, держа что-то в руках. Оглянулся, тормознул и подбежал к нам.

– Глядите!

В его протянутой руке шевелилась маленькая черепашка. Она неуклюже сучила всеми четырьмя лапками и разевала рот с единственным зубом. Пацан поднял с земли прутик и сунул ей между челюстей. Прутик хрустнул и распался надвое.

– Где взял? — поинтересовался я.

– В пруду поймал. Вон там. Ну ладно, бай-бай!

– Здесь еще и пруд? — проводив пацана взглядом, спросила Люся.

– Конечно. Что за парк без пруда?

Пруд напоминал своей формой неправильный бублик, извилистый и вытянутый. На остров, игравший роль дырки от бублика, были перекинута два красных горбатых мостика. Мы взошли на один и облокотились на перила.

– Рыбы... — задумчиво сказала Люся, глядя в воду.

– Карпы, — пояснил я. — Символ богатства.

– Разноцветные... Красиво... А что они тут едят?

– Они едят специальный корм. Которым ты их можешь угостить. Если хочешь.

– Хочу!

Расфасованный в пакетики корм продавался у входа на мостик. Продавца заменял деревянный ящичек с прорезью и картонка с надписью «Корм для карпов, 100 иен». Я заплатил, взял пакетик и вручил Люсе. Самый наблюдательный карп уже подплыл к мостику и внимательно отслеживал наши действия. Люся извлекла из пакетика первую горошину зеленовато-бурого цвета и прицельным броском отправила ему в морду.

Карп взметнулся, изогнулся, распахнул рот, ударил по воде хвостом, нырнул, вынырнул, выпучил глаза — и тут же с ближних и дальних концов пруда на запах корма устремились его собратья. За считанные секунды вода под мостом вскипела рыбьими телами. Желтые, серые, белые, красные, блестящие, жирные, жадные, они заклокотали под нами, как на адской сковородке. Обезумевшие рыбы терлись друг о дружку чешуей, вытягивали рты в хоботы, хватали воздух, проваливались вниз, проталкивались вверх, теряли ориентацию, панически трепыхались — воды под этой бурлящей биомассой было уже не разглядеть. Звуков никаких не было, но казалось, стоит дикий шум. Умей рыбы кричать — мы бы точно оглохли.

Жрать, жрать, жрать, жрать, жрать!!! Драться за кусок, кланчить кусок, ловить кусок, глотать кусок, прыгать выше, бить хвостом, тянуть рот, толкать соседа, кусать соседа, топить соседа, мочить соседа, хватать свое, отбирать свое, не упускать свое, приумножать свое, быть на пиру протоплазмы первым – вот задача и вот цель!!!

Я заметил, что Люся перестала бросать корм и неподвижно стоит с гримасой отвращения на лице. Взяв пакетик из ее рук, я зачерпнул горсть горошин и швырнул карпам добавки.

– Противно! – сказала Люся. – Это не рыбы, это свиньи какие-то...

– Отчего же? – Я бросил еще. – Ты только погляди на их грудные плавники! Какие они большие и круглые, как они топорщатся! Где ты еще такое увидишь?

Люся молча повернулась и зашагала прочь. Я высыпал из пакета остатки, сунул смятый пакет в карман и двинулся следом. Метров тридцать она не оборачивалась. Потом села на скамейку у самой воды.

– Ну и зачем? – спросила она. – Зачем держать здесь этих уродов? Да еще в таком количестве. Это что, правда красиво?

– Меня тоже такие мысли мучали, – сказал я, присаживаясь рядом. – Могу предложить две гипотезы.

– Какие?

– Гипотеза первая. Униженный и забитый клерк при помощи этих рыб может ощутить себя маленьким наполеоном, вершителем рыбьих судеб – и частично утолить свои комплексы.

– Правдоподобно...

– И гипотеза номер два. Эти рыбы – наглядная модель суетного мира. Их разводят здесь специально, чтобы посетители упражнялись в *недеянии*. Есть такое понятие в буддизме. Точнее, в даосизме. То есть: не хочешь безобразия – не корми. *Не делай*.

– Нет, это очень сложно, – сказала Люся. – Это ты перемудрил. Буддизм приплел какой-то...

– А что такого? Почему бы иногда не вспомнить о буддизме?

Люся пристально посмотрела на меня и хмыкнула.

– А знаешь, – сказала она, – что я про тебя первый раз подумала? Ну, когда ты ночью оперу запел.

– Что?

– Только без обид, ладно?

– Да какие обиды...

– Я подумала: ну вот, довели русского мужика косоглазые сволочи. Совсем крыша уехала. А теперь гляжу: вроде ничего, нормальный... Даже интересный.

– Стараюсь...

– А вот с кексами скучно. Они похотливые, скебешные, у них одно на уме.

– Ты ведь говорила, что некоторые жениться хотят?

– А жениться-то они, думаешь, зачем хотят? За тем же самым. Белую бабу хотят. Все они скебешные, что ты мне будешь рассказывать...

Запищала трубка.

– Тьфу ты, зараза, – сказала Люся и отключила у трубки питание.

– Правильно, – сказал я. – Пусть твой жених отдохнет. И даст нам спокойно исполнить религиозный обряд.

– Обряд?

– Мы в святилище. Мы должны пообщаться с богами.

– А как с ними общаться?

– Проще всего написать записку. Вон висят, видишь?

Возле главного павильона виднелся длинный стенд, весь увешанный деревянными дощечками. Дощечки были испещрены надписями. Мы подошли поближе, и я зачитал несколько вслух:

– «Поступить в университет»... «Чтобы все были здоровы»... «Поступить в университет»... «Поступить в университет»... «Купить собственный дом»... «Поступить в университет»... «Вылечить плечо»... «Стать знаменитым артистом»... «Стать знаменитым сумоистом»... «Поступить в университет»...

Люся внимательно слушала.

– Видишь, как все элементарно? – сказал я. – Покупаешь в ларьке дощечку и пишешь желание. Скажем: «кинуть тысячу кексов». Или: «надинамить миллион». Или там: «догнать и перегнать Каролину». Просто пишешь и вешаешь. Боги потом соберутся на совет и рассмотрят.

– Они ведь не наши боги, – сказала Люся. – Я даже не знаю, как их зовут. Что это вообще такое? Буддизм?

– Синтоизм. Японское язычество.

– А ты что ли, этот самый?.. Синтоист?

– Видишь ли, – сказал я, – такого слова, как «синтоист», не существует. И в японском языке, и в русском оно лишено всякого смысла. Это не та религия, которую можно исповедовать или не исповедовать. Просто есть боги, которых надо ублажать. А веришь ты в них или не веришь – это им до фонаря.

– Но боги-то японские?

– Конечно.

– Вот видишь. А я сейчас возьму и напишу: мол, хочу всех ваших японцев опустить на бабки. Что они тогда со мной сделают?

– Об этом я не подумал.

– Пойдем-ка лучше отсюда.

– Нет, погоди. Мы должны ударить в гонг. Держи пяточок и делай, как я.

Подведя Люсю к главному павильону и поднявшись с ней по ступенькам, я бросил свои дырявые пять иен в ящик для пожертвований, взялся за висящий канат, размахнулся и с силой ударил. Густой медный гул звонко прорезали два моих хлопка. Секунд пять я стоял со сложенными ладонями.

– Ну-ка, дай! – Люся схватилась за канат и тоже врезала по гонгу.

– Пяточок! – поспешил напомнить я.

– А, да... – Люся кинула пяточок в ящик.

– Два хлопка!

Люся послушно хлопнула раз, хлопнула другой, потом зачем-то третий – и неожиданно застыла в молитвенной позе. Прошло с полминуты. Она все стояла, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Я отошел в сторону, чтобы не мешать.

Время шло. Украинская девушка по имени Люся молилась японским богам. О чем – знали только она и боги.

* * *

Перекусив в маленькой лапшевне, мы поспешили назад. Всю обратную дорогу Люся дремала, откинувшись на спинку сидения. Без четверти шесть я доставил ее к дверям дома — он стоял в ста метрах от Макдональдса. Все одиннадцать девиц жили в пятикомнатной квартире на первом этаже. Войдя туда вслед за Люсей, я попал в обширную кухню. У захламленного стола сидела Моника в драном халате, дымила сигаретой и тасовала колоду карт.

— Привет, Шаляпин! — сказала она. — Будешь в очко играть на щелбаны? Люська, в душ за мной занимай. Я за Памелкой.

— Ладно, — сказал я. — Не буду вас смущать. Мойтесь, трудитесь.

— Спасибо за экскурсию, — сказала Люся. — Я тебе как-нибудь еще позвоню.

— Звони.

— Ха, — ухмыльнулась Моника. — Попал ты, Шаляпин!..

У моего дома меня встретил Федька Репейников. Пока я парковал машину, он топтался рядом с недовольным лицом и яростно тряс какой-то бумажкой. Когда же я наконец вылез, гневно затараторил:

— Нет, ты почитай! Ты вникни! Они готовы все распродать, эти ублюдки. Свое, не свое, исконное, не исконное — им без разницы. Лишь бы побольше загнать, лишь бы нахапать!

Бумажка оказалась распечаткой интернетовских новостей. Я прочитал:

Сегодня в Москву возвратилась российская правительственная делегация, посетившая Токио для встреч с представителями японского кабинета и деловых кругов. Итогом трехдневных консультаций явилось соглашение о предоставлении Японией долгосрочного кредита для реструктуризации российского внешнего долга. Российские политики, со своей стороны, обещали приложить максимум усилий для скорейшего разрешения территориальной проблемы. (ИТАР-ТАСС)

— Пидарасы! — крикнул Федька. — Политические проститутки!

— Господь с тобою, Федор, — сказал я. — Какие ж это проститутки? Это политические динамовцы. Проституцией они и близко столько не заработают. Успокойся, все будет хорошо.

— Точно? — недоверчиво спросил Федька, пряча бумажку в карман.

— Как пить дать.

— Ну, смотри... Кстати, раз уж о проституции зашла речь. По агентурным данным, в городе функционирует притон, где стриптизят русские девки. И не только стриптизят.

— Неужели?

— Абсолютно точно. Ты не слышал?

— О русских девках не слышал. О филиппинских слышал, еще о всяких других слышал — но не о русских.

— У меня Танька только через неделю вернется. Может, походим, поищем? Я не знаю, где это конкретно, а ты говорить умеешь. Язык до Киева доведет.

— Зачем тебе до Киева?

— Ты не подумай чего. Я человек серьезный. Просто интересно взглянуть, как они тут устроились. Посоветовать чего, помочь. А там видно будет.

– Не факт, что найдем. И не факт, что пустят. К тому же, такие заведения часто лежат под якудзой. Потом сам будешь не рад, что связался.

– С тобой всегда так. Никакого энтузиазма. Ладно, пошли кино смотреть.

– «Полицейская академия четыре»?

– Нет, «Эммануэль пять».

– Извини, Федор, не могу. Дела.

– Э-э-э-э... – Федька скривился, махнул рукой и грустно побрел вдоль невысокой бамбуковой ограды, давя ботинками случайных кузнечиков, цепляясь локтем за кусты китайской розы и гоня из ноздрей дразнящие запахи поздней весны.

* * *

Люся позвонила через три дня. Я сидел в своем кабинете за компьютером.

– Привет, – сказала она. – У меня опять *дэйто* отменилось. Можем вместе пообедать.

– Только что обедал.

– Тогда кофе попьем. Ну давай! Я в бассейне, возле гимназии, напротив костёла.

– Стоп-стоп-стоп, – сказал я. – Какой еще гимназии? И какого костёла?

– Там написано: «гимназиум».

– Это значит «спортивный зал».

– Допустим. Но костёл-то ты должен знать, его все знают!

– Какой костёл? Откуда тут костёл?

– Ну, «кастл» – знаешь?

– Замок, что ли?

– Может, и замок... Ну, ты понял, где это?..

Призамковый ров зеленел ряской. На стоянке спортклуба места не нашлось, и я припарковался на краю рва. Запер машину, пересек проезжую часть, подошел к зданию бассейна. Люся с распущенными влажными волосами сидела на скамейке.

– Как поплавалось?

– Замечательно. Ты ж понимаешь, нам все равно пить приходится ежедневно, как ни хитри. Поплаваешь – хоть немножко здоровья вернешь. А тут и сауна есть, вообще хорошо.

– Проголодалась?

– Не очень. Здесь кофейня рядом...

Со второго этажа кофейни открывался дивный вид на многоярусную замковую башню с загнутыми черепичными скатами. Мы сели у окна, заказали по чашке капучино.

– А я думала, это костёл, – задумчиво сказала Люся, глядя сквозь стекло.

– У тебя неправильные кексы. Совсем не показывают тебе Японию.

– Нет, водили как-то... Только я не врубилась, что это замок. А так конечно... Рестораны, магазины... Ну так мы ведь и не туристы, мы работать приехали.

Принесли кофе. Люся вынула из чашки палочку корицы, сняла с нее языком пузырчатую пенку.

– А знаешь, у нас в «Винусе» скоро шест поставят!

– Шест?

- Не видел, как у шеста танцуют?
 - В кино видел.
 - Теперь в натуре увидишь! Я пока из принципа не танцую, а как шест поставят, сразу начну. Я в Киеве только на шесте работала. Знаешь, какой кайф!
 - А в чем кайф?
 - О-о-о-о! Ты не понимаешь! Там столько трюков! Это такая акробатика! Если еще музыку грамотно подобрать, то вообще! Представь: сначала всё так медленно, спокойно, никто ничего не ждет... А потом гитара как взвояет! А ты как закрутишься! Просто конец света. Тэнчик обещает в июне сделать.
 - Кто обещает?
 - Тэнчик. Ну, директор. По-японски «тэнчо», так мы его тэнчиком зовем. Он у нас хороший. Все понимает. Говорит: девчонки, не стройте иллюзий, вы здесь как обезьяны в зоопарке. И смотреть на вас ходят тоже обезьяны. Так свою работу и воспринимайте. Потому что всерьез ее воспринимать – это чокнешься.
 - Мудрый человек.
 - Ну правильно же? Крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, а мы работаем белыми девками. Что такого? Я раньше бухгалтером была в одной конторе – десять начальников, сто проверяющих, денег никаких... Как вспомню, так мутит. Уж лучше здесь. Сейчас доработаю свои полгода, дома немного отдохну – и опять в Японию. Заказов много набираю, должны точно взять.
 - Это от заказов зависит?
 - Ну, естественно. Все записывается, все учитывается. У Синди заказов много, так ей прямо здесь контракт продлевают. И Барби тоже...
 - Откуда такие имена: Синди, Барби?..
 - Это не имена, это клички. Сценические псевдонимы. Чтоб японцам было легче выговаривать. И чтоб нам самим друг друга различать. А то у нас пять Светок, три Оксаны, две Наташки... Одна только я Люся.
 - Игра по схеме «три-пять-два».
 - Ага. И еще чтоб красивее было. «Светлана» на японское ухо – не круто. Вот «Барби» – круто. А «Оксана» по-японски, сам понимаешь, звучит как «окусан», то есть «жена», и это уже вообще никуда не годится.
 - А у тебя псевдоним есть?
 - Есть. Рита.
 - Не понял. Была Люся, стала Рита? Шило на мыло какое-то.
 - Кексы говорят: красиво звучит.
 - Черт знает что. Лучше знаешь, какой псевдоним возьми?
 - Какой?
 - Пенелопа.
 - Почему Пенелопа?
 - Потому что Пенелопа, согласно Гомеру, продинамила целую кучу женихов.
 - Да, я помню. А потом пришел Одиссей и всех замочил.
 - И лишил Пенелопу заработка.
 - Ха!.. Ну ты прикольный!..
- Запищала трубка.

– *Моси-моси!* – сказала Люся. – Хелоу!.. Йес... Йес... Ноу... Ин ван плэйс... Элоун... Оунли ми... *Хонто...* Ай сэд *хонто!*.. Ноу... Ноу... Ай сэд ноу!.. *Хонто...* Йес... Окей... Бай-бай.

Вернув трубку в сумочку, она тяжело вздохнула.

– Господи, что мне с ним делать...

– Жених? Все тот же?

Она покивала и некоторое время сидела молча, гоняя кончиком ложки кофейно-пенистые волны. Я повернул голову к окну и следил, как на черепичных башенных скатах играют солнечные блики, а на самой крыше тянут изогнутые хвосты два мифических дельфина.

– Ты знаешь, – произнесла Люся, кладя ложку на блюдце, – я последнее время замечаю за собой странную вещь.

– Какую?

– Иногда чувствую, что мне его жалко.

– Да уж... – сказал я. – Какая-то совершенно внеэкономическая категория. «Жалко»... Абсолютно непроеизводственный термин. По какой статье будем проводить? Что говорит по этому поводу теория бухгалтерского учета?

– Ты понимаешь, обычный жених так долго не выдерживает. Когда видит, что ничего не светит, переключается на других девок или вообще пропадает. А этот...

– Влюбился?

– Даже не знаю... Как они, такие скебешные, могут влюбляться? Тут другое слово нужно.

– Зациклился? Заклинился? Запал? Подсел? Подвис?

– Да, вот что-то такое... Ну сам посуди: приходит чуть ли не каждый день, с девяти до трех ночи, и на все это время делает мне заказ. Считай: четыре сэнки плюс две, и все это на шесть часов – получается тридцать шесть тыщ за вечер. Умножь на тридцать дней – миллион! Откуда деньги?

– Может, он якудза?

– Кто, этот очкарик? Он инженер какой-то. Что-то там чертит, я не вникала...

– В серьезной компании могут хорошо платить.

– Да, он говорил, что сделал изобретение и его наградили. Ну и потратил бы с умом! Так нет же, будет каждый вечер на голые титьки пялиться и канючить: «Ай вонт ю!»... «Плиз би май вайф!»... Придурок...

– Значит, жалко?

– Ну да! Ты не поверишь: я его один раз даже поцеловала!

– Не может быть.

– Я тебе говорю! Просто подумала: ну совсем же измучился парень, надо хоть чем-нибудь порадовать. Выпила побольше водки, собралась с духом... Блин, чуть не стошнило. Они вообще целоваться не умеют!

– Кто?

– Японцы!

– Ну, может не все? Может, другие-то умеют?

– Да прям! Девчонки про своих кексов то же самое рассказывают. Они все какие-то богом ушибленные. Мне его жалко, а что я могу? Первый раз сказала: мол, я тебя еще плохо знаю, мы мало встречались, вот встретимся сто раз, тогда сможем стать ближе. Я им это всем говорю – я ж не знала, что он считать начнет.

Приходит потом, довольный, рот до ушей – вот, говорит, сегодня ровно сто раз. Что делать? Говорю: это, мол, были слишком короткие встречи, ты должен в общей совокупности пробыть со мной пятьсот часов. Типа в шутку сказала, чтоб отвязался, – а он понял буквально и теперь стаж насиживает.

– Когда насидит пятьсот часов, расскажи ему про пуд соли.

– Нельзя. Отравится. Почки угробит.

– Тогда скажи открытым текстом: «Чувак, извини, ты не в моем вкусе».

– Уже язык не повернется. Он столько денег на меня потратил... Ладно, контракта осталось два месяца, как-нибудь дотяну... Слушай, вот теперь я точно проголодалась. Отвези-ка меня к Макдональдсу.

Мы вышли из кофейни, добрались до машины, остановились у самого рва.

– Видишь листья на воде? – спросил я. – Круглые, большие. Это лотосы. Они тоже скоро зацветут.

– Откуда ты все знаешь? – удивилась Люся. – Ирисы, лотосы...

– Все люди разные, – сказал я. – Кто любит смотреть на голые титьки, а кто на цветы.

– Да уж, – вздохнула Люся и взяла меня за руку. – На нашей работе умом тронешься. Забудешь, что есть на свете нормальные мужики. И когда появляется нормальный, вменяемый, совсем не скебешный – то уже и счастьем своему не веришь.

Тут она с какой-то тревогой взглядела в меня и спросила:

– А тебя правда *это дело* вообще не интересует?

Я думал долго. Секунды четыре. Потом со всей решительностью ответил:

– Правда.

– Ой, какой ты классный! – выдохнула Люся и сильнее прижалась ко мне. – А ты знаешь, мне уже все девчонки завидуют. Даже Каролина...

Когда мимо проплывало длинное здание краеведческого музея, Люся сладко потянулась и мечтательно произнесла:

– Нет, ну как я все-таки хочу на шест! Ой, мамочки мои дорогие, как я хочу на шест!..

* * *

Макдональдс встретил нас бесчисленными плакатами и флажками с художественными изображениями гамбургеров. Мы вышли из машины.

– Слюнки текут, – сказала Люся. – Неужели не хочешь?

– Нет, благодарю. Банку чая возьму и поеду поработаю.

– Ну, ладно. Спасибо за кофе. Как-нибудь еще позвоню.

– Звони.

– Ты такой классный... Я должна тебя поцеловать.

– Целуй.

Она коснулась губами моей скулы. В то же мгновение от угла Макдональдса отделилась рыхлая фигура и сделала робкий шаг в нашу сторону.

– Ч-чёрт! – сказала Люся. – Его тут не хватало.

Жених стоял перед нами во всей своей красе. Белые штаны, красный свитер, толстые черепаховые очки. Волосы ежиком. Отвислые щеки. Пухлые губы.

– На два слова, – сказал он мне.

Мы отошли в сторону, и он заговорил:

– Представляться не буду, формально мы знакомы. Я давал тебе свою визитную карточку – скорее всего, ты ее выкинул, не читая, – но это неважно. Мы знакомы, и между нами женщина. Я пытаюсь ее завоевать уже который месяц. Потратил на нее больше миллиона иен. Облек в пурпур и бархат. Выполняю малейший каприз. Всячески подчеркиваю серьезность намерений. Кое-чего уже добился – она подарила мне поцелуй, для такой женщины это немало. Теперь поставлено условие, пятьсот часов без посяганий, – я принял это условие, сейчас мне остается триста сорок часов, и нет такого условия, которого бы я не принял и не выполнил. Потому что это моя мечта, ты понимаешь – мечта! Жениться на белой красавице – это оправдало бы всё. Это главное и единственное, что я им не отдам, это последний плацдарм моего «я». Тридцать лет я делал то, что мне велели. Я послушно ходил в садик, ходил в школу, ходил к репетитору, ходил в университет, теперь хожу на работу, хожу на собрания, хожу на спортивные праздники, уважаю старших, горжусь фирмой, пью с начальством, повышаю квалификацию, делаю выплаты в пенсионный фонд; мне говорят, что я должен наконец жениться – А Я НЕ ХОЧУ !!! То есть нет, хочу, конечно, – но не так, как хотят они. У меня свои представления об идеале. Моя избранница должна быть большегрудой, длинноногой и белокожей. Не потому, что я хочу всех заткнуть за пояс, вовсе нет. Просто не осталось другого выхода – больше нечем вознаградить себя за столько лет пришибленности. Жертвующий должен быть увенчан, и во имя этого венка я готов пойти на новые жертвы и на новое рабство. Ради моей царицы я проползу на пузе до северных территорий и обратно, останусь гол и нищ, низведу себя до полного идиота, но не отступлю. Возможно, это и не самая эффективная схема, но капля точит камень: сегодня я младший инженер, а завтра старший, это так же неизбежно, как выход на пенсию, такова общественная логика, отчего бы ей и в любви такой не быть? Сто встреч, триста заказов, пятьсот часов; пуд соли, цистерна виски, тысяча голых титек – а там, глядишь, плод и созрел, должна же быть награда за терпение? Да и как жить, если в это не верить? Я и верил бы – но тут появляешься ты. Возникаешь, как землетрясение, чёрт знает откуда. Собираешь вокруг себя кучу девок, надираешься до синих соплей, не можешь попасть в писсуар, будишь оперными ариями полгорода – и после этого моя царица начинает дарить свои поцелуи тебе! С какой стати? За какие заслуги? Ты даже не сделал ей именного заказа! Конечно – я не знаю ее языка, не рассказываю смешных историй, не играю на губной гармошке, не имею вот этого дурацкого иронического прищура, с которым ты сейчас на меня глядишь. У меня только деньги и терпение, больше ничего, – но это большое терпение и большие деньги. Рано или поздно я достиг бы своего, если б ты перед ней не замаячил. Зачем тебе эта женщина, почему именно она? Ты ведь не выбрал Барби – понятное дело, ее кадрит якудза! Не выбрал Анжелику – ее кадрит заместитель мэра! Ты специально выбрал Риту, чтобы вытереть ноги об меня. Что ж, это несложно. Давай, троянский герой, давай, хитроумный странник, доставай стрелы, натягивай лук, мочи меня жалкого, гноби меня ущербного, докажи мне окончательно, что я ничтожество, что я тупая шестеренка, что я не имею права на мечту; давай смелее – заряжай и пли!

Конечно, конечно...

Ничего этого он мне не сказал.

Не надо упрекать меня в завирательстве. Действительно, едва ли он был способен на такую долгую и страстную тираду. Вся эта тирада пронеслась у меня в голове за те секунды, что он ежилась перед нами, как выловленная черепашка, неуклюже поводя плечами и силясь что-то произнести. Люся прошла мимо него в двери Макдональдса с гордо выпрямленной спиной, даже не взглянув. Он неловко потоптался, бросил на меня вопросительный взгляд, тут же отвел его в землю, вздохнул — и обреченно последовал за ней. Но до того, как двери за его спиной закрылись, я успел шепнуть ему в ответ:

— Мой бедный скебешный губошлеп! Печальный рыцарь голых титек! Несчастное дитя экономического чуда! Упасите меня боги: я не собирался ни целиться в тебя, ни тем более стрелять. Я гость на твоём острове, а не царь; наша милая Пенелопа тоже далеко не царица; а десять лет под стенами Трои провел скорее ты, чем я. Там, откуда я, вообще давно непопулярны героические осады — может, кстати, оттого так и расплодилось породе циников с дурацким прищуром. Здесь же вы штурмуете крепость за крепостью уже шестой десяток лет, если не четырнадцатый. Понятное дело, вам нужно достойно утереть нос белому варвару, который раньше вас придумал всё самое лучшее и главное: паровой котел, электричество, спутник, железобетон, додекафонию и либерализм. Не говоря уж о кинематографе, о пресловутой фабрике грез, о расхожем голливудском типаже, длинноногом и белокуром, — таком желанном трофее для солдата в сыром окопе. Понимаю тебя, служивый, но хочу сказать вот что: из окопа видно далеко не всё. Прицельная оптика сужает перспективу. Я не хожу под ружьем и мог бы рассказать тебе много интересного — но ты лучше спроси у своих. Ты видел нового зазывалу в клубе «Винус»? Он оболтус, лузер, перекасти-поле, дезертир — но он знает кое-что такое, чего не знаешь ты. Поговори с ним о последнем альбоме Рона Джейсона, о мэйнстриме и авангарде, о гитарных примочках и о зигзагах судьбы. Он скажет тебе, что из окопа пора вылезать. Да и сам посуди: белые девки, похожие на голливудских звезд, сплошным косяком прут в ваши края на сомнительные заработки — это ли не знак того, что варварский нос утерт? Спасибо тебе за взятые крепости. Спасибо за автомобили и полупроводники, за качество и надежность, за стабильность и безопасность. Спасибо за государственные субсидии, на которые я тут самовыражаюсь и оттягиваюсь. Спасибо — и хватит. Уже можно отложить в сторону микрофон для караоке, задрать голову в звездное небо — и спеть что-нибудь своим голосом и от души. Если это у тебя получится, то все блондинки всех голливудов станут твоими. Твоими до такой степени, что вовсе перестанут тебя интересоваться. Если и не в этой жизни, то в следующей точно. Я буду очень переживать за тебя. Дерзай — и да помогут тебе японские боги.

О священных рубежах

Советский Союз, как известно, имел сухопутную границу с двенадцатью государствами. Эта граница была самой протяженной в мире, она начиналась у Баренцева моря и упиралась в Японское. Современная Российская Федерация соседствует по большей части с другими государствами – но их все равно двенадцать, и граница упирается в те же моря.

Автор этих строк родился у Баренцева моря. Там, где граница начинается. И вырос в пограничной полосе, непосредственно под боком у Норвегии, нашего первого, самого северо-западного соседа. Протяженность российско-норвежской границы невелика, около ста километров. Граница идет по реке, на ней каскад гидроэлектростанций: две норвежских, пять российских. Из приграничных населенных пунктов – лишь два маленьких поселка энергетиков. В одном из них я и вырос.

Это было райское место. Теплый Гольфстрим протекал достаточно близко, и леса преобладали над тундрой. А никельский комбинат дымил достаточно далеко и не портил нашей экологии. Три сотни жителей поселка владели несметными богатствами. Все здесь было только для них – и полные грибов леса, и полные рыбы озера, и черника в августе, и брусника в сентябре, и осенние краски, и весеннее солнце, и разнообразная флора, и разнообразная фауна.

И еще – бесконечные километры колючей проволоки.

Ее уважительно называли «система». Она шла тремя рядами. Сначала от остальной страны отделялась *погранзона*. Затем отделялась *погранполоса*. И наконец, отгораживались последние метры перед собственно границей. Система состояла из столбов с колючкой, вспаханной контрольно-следовой полосы и проводов сигнализации. Вдоль системы располагались многочисленные погранзаставы и контрольно-пропускные пункты. Наряды пограничников с овчарками ежедневно ее патрулировали.

Мы жили «за системой». Точнее, между ее вторым и третьим рядом. В двух километрах от нашего поселка советско-норвежская граница заканчивалась, и начиналась советско-финская, гораздо более протяженная. Мы же соседствовали с самым дальним и самым безлюдным уголком Норвегии – узким, нелепым аппендиксом, для чего-то завернутым ею с севера на юг.

Для детей, с младенчества растущих за системой, граница становилась одним из фундаментальных элементов картины мира – таким же, как небо или земля. Их вселенная была полусферической. По ту сторону реки лежало зазеркалье, черная дыра, антимир. Ступить туда ногой было так же невозможно, как потрогать пальцем Луну. Можно было лишь ловить оттуда немногочисленные сигналы.

Зримых признаков жизни с норвежской стороны практически не поступало. Мы могли видеть очень немного. Например, поделенный пополам речной остров и два столба на нем: один в красную и зеленую полосу, а другой желтый с черным верхом. Еще из поселка была видна норвежская пограничная вышка. Ее темный силуэт с покатыми боками вырастал из-за плотины электростанции, упиравшейся в тот берег. Вышка казалась необитаемой. За все свое детство я ни разу не видел

норвежского пограничника — в то время как окрестные советские вышки пограничниками буквально кишели. По редким норвежским праздникам на вышке появлялся национальный флаг, но даже и тогда ее обитатели умудрялись остаться незамеченными. Обернуться на шум лопастей и увидеть вертолет, несущий невидимым пограничникам смену — это максимум, что мне удавалось.

Некоторая информация об антимире приходила с телевизионным сигналом. Живя на стыке трех границ, мы ловили три телеканала: советский, норвежский и финский. По последним двум показывали массу интересных вещей: фильмы про Джеймса Бонда и Тарзана, диснеевские мультики, выступления ансамбля АББА, рекламу различных товаров и иногда голых женщин. Некоторые жители поселка вовсе не включали советское телевидение, довольствуясь финским и норвежским. Даже отдельно торчащая иностранная голова, вещающая что-то на непонятном языке, была им милее, чем какая-нибудь кинопанорама или мгновения весны.

Подобное поведение отнюдь не было диссидентством, не было скрытым или хотя бы неосознанным протестом против железного занавеса и тоталитаризма. Такое объяснение было бы слишком примитивным. Ведь мы жили не за железным занавесом, мы жили *внутри* этого занавеса, мы были живыми атомами советского народа, диффундированными в окружающее железо. Ощущения такого атома были непохожими ни на какие другие.

При хороших отношениях с начальником заставы можно было пройти за колючую проволоку в такое место, где граница пересекала реку, образуя на нашей стороне сегмент норвежской территории. Стоя на берегу, в каком-то метре от разделительной просеки, можно было закинуть блесну в иностранные воды и выволочь оттуда щуку или даже кумжу. Но зайти за просеку было уже *нельзя*.

«Граница СССР священна и неприкосновенна», — гласили кумачовые плакаты на стенах зданий и на обочинах дорог. Назвать границу «священной» было очень правильно, слово попадало в самую суть. Мучительный запрет пересечь несколько метров обветренной каменистой почвы и вправду содержал в себе много сакрального и метафизического. Тогда я этого еще не понимал. Теперь понимаю.

В падении Берлинской стены было не так уж много метафизики. Она просто рухнула в одночасье, не выдержав мощных ударов с обеих сторон; люди хлынули из двух Германий навстречу друг другу, и Германия стала единой. С моей же персональной стеной все получилось иначе. Все получилось в соответствии с неисследимыми законами топографического сопромата. Я не молотил по этой стене кулаками и не стрелял в нее из калашникова. Но я бессознательно давил на нее в течение всего своего детства. Давил в каком-то ином измерении, давил *мысленно*. Меня слишком активно искушало зазеркалье. Мне слишком хотелось пересечь просеку с разноцветными столбами, потрогать необитаемую вышку и увидеть мой поселок с другого берега. Я слишком сильно желал — хоть на секунду, хоть номинально — стать *иностранцем*. В конце концов, я им стал. Но как!

Граница поступила со мной в точности по третьему закону Ньютона о действии и противодействии. Накопленное в ней напряжение разрядилось в один момент, лишь только освободилась скрытая пружина. Граница сработала как натянутая тетива, как нацеленная рогатка, как взведенная катапульта. Она выстрелила мной, как железной болванкой; я пролетел над всем постсоветским пространством, пересчитал все сухопутные границы от первой до последней и

приземлился за Японским морем. От самого северо-западного соседа – к самому юго-восточному.

Вектор на вектор. Диалектика шучьего веления. Баллистика судьбы.

Я иногда бываю на своей малой родине. Теперь, когда железный занавес ушел в историю, она изменилась разительно. Поездка за реку стала обычным делом. Школьники целыми классами навещают иностранных сверстников. Скандинавские женихи сватаются к русским невестам. Мои родители дружат с норвежским фермером. В марте каждого года поселок принимает «Лыжню дружбы», на которой многочисленные представители четырех стран (плюс Швеция) катят наперегонки по пограничным просекам, ступить на которые раньше казалось немыслимым.

Детская картина мира терпит изменения у любого. Но не у всякого она терпит *такие* изменения. Далеко не у всех из картины мира вдруг выпадает небо, земля или иной фундаментальный элемент. Пережить такое непросто. Счастлив тот, кому удастся обрести хотя бы частичную компенсацию утерянному. Мне это удалось.

Топология моей картины мира по большому счету осталась прежней и за Японским морем. Близкая граница все так же занимает в ней основополагающее место. Но это другая граница. Она проведена не по лесу, не по тундре и не по пустыне. Она проведена даже не по Японскому морю. Эта граница проведена в головах у живущих вокруг меня людей. Она не оборудована контрольно-следовой полосой и колючей проволокой, вдоль нее не бегают злые овчарки. Но за этой границей – все такое же зазеркалье. Ступить туда мне не дано. Эта граница – священна и неприкосновенна.

И пусть она остается таковой.

По всем пунктам, кроме Ёсино

Сезон дождей застиг меня по дороге с работы – когда, намеренно избрав крюкообразный прогулочный маршрут, я брел по заросшей меже уступчатого рисового поля. Берег справа был полог, берег слева – обрывист. Рассада уже хорошо подросла, при каждом моем шаге ее зеленые кустики выстраивались в безукоризненные шеренги, пуская под разными углами от межи длинные водные просветы. Строгую картину оживляли суетливые прыжки, которые делали из-под моих ног кузнечики, полевые кобылки и прочая саранча. Прыжки казались паническими и нерасчетливыми, саранча рисковала утонуть – но с завидной ловкостью приземлялась на рассаду и тяжело покачивалась на ней, зло набывчившись.

Когда напозавшая сзади туча наконец догнала меня и накрыла, когда первые тяжелые капли разбили зеркальную полевую гладь и намочили молодую зелень, я не очень расстроился. Мой жребий все равно был лучше жребия кобылок и кузнечиков. Я доберусь до дома и обсохну – а саранче мокнуть до середины лета. Я имею все шансы дожить до следующего дождливого сезона – а за саранчей в августе придет бабушка-охотница, выловит ее сачком, зажарит на сковороде, закатает в литровую банку и съест зимним вечером под рисовую водку. Вот что толкает саранчу на отчаянные действия – а вовсе не то, что думают биологи.

Зарницы на горизонте перешли от одиночного огня к автоматическому. Очереди капель соединялись в струи. Я припустил рысью, перемахнул через груды мешков с удобрениями, взбежал по крутому косоугору, выбрался на шоссе – и через минуту нырнул под широкий виадук, где шоссе пересекала скоростная магистраль.

Под виадуком было сухо. Сверху гроыхал транспорт. Огромные грузовики везли тонны свежельвленной рыбы. От Японского моря – к Тихому океану. От Тихого океана – к Японскому морю. Бетонные конструкции над моей головой вибрировали под тяжестью морских даров, грозя стряхнуть гнезда ласточек, которые облепили бетон, как ракушки днище корабля. Ласточки не охотились, они забились в гнезда и пережидали непогоду.

Последовать примеру ласточек я не мог. Их гнезда были мне малы, да они меня к себе и не звали. Возникла дилемма: либо целый месяц бомжевать под мостом, либо опять выходить под ливень и добираться до собственного гнезда. Промокшая рубашка и хлюпанье в обуви заставили меня выбрать второе.

Когда между струй замаячили серые блоки университетских квартир, я ощущал себя человеком-амфибией. Земная и водная стихии были мне одинаково любы. Громовые раскаты ласкали слух. Хотелось квакать и ловить ртом насекомых.

Из щели почтового ящика на моей двери торчал угол бандероли. Я пропихнул ее пальцем внутрь, отомкнул замок, вошел, разулся, разделся, растерся, надел юкату, подпоясался, взглянул на буфет и подумал: а не выпить ли рюмку коньяка?

В самом деле. Промокшему и продрогшему ихтиандру будет весьма полезна рюмка коньяка – отчего же таковую не выпить?

А оттого не выпить, что коньяка в доме нет. Был, да весь вышел. Водки в холодильнике полно, это да – но водка невкусная, удовольствия с нее никакого.

Вот ведь парадокс. Безъязыкие соотечественники все несут и несут мне водку. За малейшую переводческую услугу – поллитра, или даже литр. Когда-то я уносил всю водку в «Складной ножик», и там она шла на коктейли, которые сам же я и дегустировал. Позже, завязав с дегустаторством, я продолжал переправлять туда свои магарычи по старой дружбе. Потом Кирико обанкротилась, дегустации окончательно ушли в прошлое, и мой холодильник стал разбухать необратимо.

Мог бы сам делать коктейли. Не делаю. Мог бы объявить: дорогие коллеги, вашему переводчику милее напитки со вкусом и ароматом. Они ученые, поняли бы. Не объявляю. Беру, расшаркиваюсь, кладу в холодильник. Почему так? Вроде не столь уж и застенчив. Не то, чтобы опасался впасть в коньячную зависимость. И уж точно не скупой рыцарь.

Тут сам Фрейд не разобрался бы. Тут нечто метафизическое.

Что-то еще нужно сделать...

Ах, да! Бандероль!

Из бандероли выпала открытка. Я прочитал:

Братишка! Получай обещанный сюрприз. Помню, как ты шпарил целые страницы наизусть, поэтому уверен, что удовольствие тебе гарантировано. Мы тут с Сидоровым взяли пива, чтобы прослушать целиком и вдумчиво. Сам понимаешь, пивом дело не ограничилось. Великая вещь. Только сейчас начинаю понимать твое перед ней преклонение.

Камнай!

Потапов.

За открыткой последовали две аудиокассеты с одинаковой надписью:

Венедикт ЕРОФЕЕВ

Москва – Петушки

читает автор

Лицо автора кротко глядело на меня со вкладыша. Да, о звуковом издании я слышал, просил достать и вот дождался. Потапов мое преклонение уже понимает. В отличие от меня самого. Может, послушаю – и тоже наконец пойму?

Стереосистема безропотно приняла первую кассету. Щелкнула кинематика. Зашипела пленка. И сразу, безо всякого вступления:

– Москва, на пути к Курскому вокзалу. Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел...

Я опустил в кресло.

– ...Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелью, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.

«На кассетах – уведомлял вкладыш, – воспроизведена любительская магнитофонная запись, сделанная в домашних условиях в конце семидесятых годов. Запись является единственным известным полным вариантом авторского чтения “Москвы – Петушков”».

Голос Венедикта Васильевича звучал строго, монотонно и завораживающе. В каждом слове ощущалась трагическая сдержанность.

– ...Так. *Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой...*

Ну вот. Очередной повод задуматься. В самом деле – с какой такой радости моей настольной книгой стала книга, воспевающая алкоголизм? Да – шедевр. Но мало ли других шедевров в мировой литературе? Почему именно этот шедевр так любим именно мной? Ведь я не алкоголик и даже не бытовой пьяница. Выпиваю умеренно, напиваюсь редко и ненарочно. Вовсе не одержим саморазрушением. И не заражен мировой скорбью, которой любит питаться зеленый змий.

В чем же дело?

Загадка терзала бы меня не так сильно, если бы я не чувствовал, что ответ на нее прост и односложен. Что есть некий предикат, некий общий знаменатель, близко роднящий меня с персонажем ерофеевской поэмы. Что дело отнюдь не в этиловом спирте и не в мировой скорби – а в чем-то более фундаментальном, из чего у Ерофеева получаются и спирт, и скорбь, и шедевр, а у меня – восторг и преклонение перед последним. Если удастся этот предикат найти и назвать по имени, то все разом объяснится.

– ...*О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов!..*

Лежащая прямо на поверхности гипотеза была следующей: мы с Ерофеевым земляки. Мы оба выросли и возмужали на Кольском полуострове, с разницей в пару сотен километров и в три десятка лет. Приполярная лесотундра, северное сияние, карликовые березки, цветная металлургия – вот ландшафт, взрастивший и его, и меня. Достаточно ли этого для возникновения тонкого душевного резонанса? Наверное, все-таки нет.

Или все-таки да? Зачем сходу отмечать удобную гипотезу? Вдруг в ней есть рациональное зерно? Вот карликовая березка. У нее кривой ствол и короткие корни, глубоко они не прорастают из-за вечной мерзлоты. А человек? Что может отморозить человеку вечная мерзлота?

Похоже, зерно в гипотезе действительно есть. Хорошо бы его вылущить и разглядеть с пристрастием. Но пока ничего не вылущивается. Нужно заходить с другого бока. Только вот с какого именно?

– ...*О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!...*

Героя поэмы уже вышвырнули из вокзального ресторана, где было вымя, но не было хереса. Что ж, пусть он влечется по тексту, такой родной и несчастный Веничка – я в сотый раз пройду с ним от ресторана до магазина и от магазина до поезда, прижимая к груди заветный чемоданчик.

– ...Повторяю! В восемь часов шестнадцать минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.

Ну хорошо. Пусть он себе едет, а мы вернемся к поискам общего знаменателя. Абстрагируемся от жизненных реалий, ограничимся чистой литературой. Сделать это сложно. У Ерофеева вообще непонятно, где кончается автор и начинается лирический герой. Не разобрать, где Венедикт Васильевич, а где Веничка. И автор пил как лошадь, и герой тоже пьет. Я, как физический объект, пью умеренно. Пойдем на допущение: представим, что я сочинил поэму в прозе. Вопрос: насколько пьющим оказался бы герой моей поэмы?

Трудно рассуждать об этом, не попробовав. Но, скорее всего, я сделал бы его непьющим вовсе. Намеренно и принципиально. Потому что, если бы я сделал его сильно пьющим, все сразу закричали бы: да сколько можно! да это уже сто раз было! это опять Ерофеев! это национальные особенности, которые всех достали! И были бы правы. А я был бы не прав.

Хотя бывает и хуже. Бывает, что лирический герой, вместо того, чтобы пить или осуществлять другие подобные функции, принимается что-нибудь *писать*. Получается книга о том, как герой пишет книгу. Рекурсия, томление духа и постмодернизм. Уж лучше пусть пьет. Я бы даже обязал всех литераторов к соблюдению такого правила: если лирический герой пускается в размышления о литературе, нужно немедленно заставлять его выпить. И своевременно заботиться о том, чтобы выпить ему было чего.

Венедикт Васильевич неожиданно прекратил чтение своего шедевра и сказал совсем не трагическим голосом:

– А может, нам шлепнуть?

На пленке послышалось одобрительное шевеление слушателей, щелчок выключаемого микрофона – и новое шевеление, на заметно повышенном градусе. В ту же секунду неведомая сила выдернула меня из кресла и отбросила к холодильнику. Я распахнул дверцу, схватил первую попавшуюся бутылку, отвинтил колпачок, набулькал полстакана – и немедленно выпил.

Что это я такое выпил? А, ну да...

Это бутылка зубровки. Недавний педиатрический магарыч. К профессору Мохову на лето приехала внучка и тут же подхватила ветрянку. Жена профессора густо обмазала внучку зеленкой и понесла в больницу. При виде зеленого ребенка на уши встало не только детское отделение, но также кожное и инфекционное. Собрался консилиум. По коридорам забежали сестры и клерки с тревогой на лицах. Обезумев от страшных догадок, бабушка вызвонила меня и упросила приехать. Неизвестно, что могли бы постановить врачи, – но мини-лекция о бриллиантовой зелени и ее популярности среди русских бабушек склонила их к консервативной терапии. Внучка пошла на поправку, а я был вознагражден.

Что ж, зубровка не коньяк – но в сезон дождей пойдет и зубровка. Нет, герою моей поэмы в трезвенниках не ходить. Разве что в начальных главах, когда еще не остыло благое авторское намерение, мой герой ерепенился бы, морщился бы при упоминании о самогоне, отказывался бы от халявного коньяка, а пиво если бы и пил, то не от хорошей жизни. А потом? Потом благие намерения притупились бы, и восторжествовала бы художественная правда. Для разгона мой лирический герой

оприходовал бы литр сакэ, в следующем эпизоде опрокинул бы несколько рюмок сорокаградусной, затем помучился бы с бодуна, далее посвятил бы часть сюжета изобретению коктейлей – и, наконец, стал бы надираться по полной схеме, до безобразия и беспамятства. Первый раз, конечно, не совсем намеренно, скорее под влиянием обстоятельств – но уж во второй раз целиком по собственной воле. Только тогда художественная правда была бы соблюдена. В заключительной главе мой герой выпил бы совсем немножко, как бы опохмеляясь.

О чем это я – опять о литературе? Опять рекурсия? Значит, пора снова выпить. Еще зубровки, еще пятьдесят грамм.

Идем дальше. Читаем: «Горілка». Это магарыч футбольный. Отборочный матч чемпионата Европы, сборная России против сборной Украины, трансляция по платному телеканалу «Вау-вау», и ни одного профессора, чей телевизор принимал бы злополучный канал. Общественность обращается к эксперту по местным вопросам; эксперт вспоминает, что «Вау-вау» принимается в лав-отеле «Рубуру» (название означает вовсе не «люблю» и не «рубль», а совсем иное – «Лувр»). Профессора сначала колеблются, они не хотят рисковать репутацией – но в конце концов патриотическое чувство берет верх, и делегация славянских болельщиков отправляется в сомнительное место, ведомая все тем же экспертом. Они минуют безлюдный автоматизированный вестибюль, крадутся по коридору мимо табличек “No parties!”, прячутся от объективов скрытых камер, всем кагалом набиваются в номер – и королевских размеров ложе превращается в трибуну. Лувр сотрясается от невиданных доселе страстей; эксперт, готовый дать отпор администрации, дежурит у запертой двери; матч завершается вничью, сборная России в финальную часть не попадает, сборная Украины потом тоже не пробивается – но заслуги эксперта всеми признаны, и он снова вознагражден.

А где там наш Веничка? Веничка в тамбуре, разговаривает с ангелами. Ладно, нальем себе горилки. Сала в холодильнике нет, закусим соевым творогом. Привет от Акутагавы Рюноске Николаю Гоголю.

Да, а вот бутылка перцовки – это уже и не магарыч вовсе, а нечто большее. Воздаяние даже не за перевод, а за открытость дверей и сердца. Аттестат духовной восприимчивости, успешно борющейся с разрушительной подземной стихией. Некто Корягин, кандидат наук и доцент, прибывает на Японские острова по годичному контракту для написания ученых статей. Его оформляют на службу, заселяют в квартиру, желают приятно отдохнуть после перелета. Как нарочно, геологические силы в первую же ночь решают пошалить и энергично колеблют земную кору вместе с Корягиным. Доцента с непривычки охватывает паника, он выбегает на балкон совсем не одетый и сигает со второго этажа в сугроб. Толчки тут же прекращаются, переломов и вывихов нет – но обратно на балкон доценту не залезть, входная дверь заперта изнутри, а вторым ключом владеют бюрократы из университета, которые спят. Доцент прыгает по снегу, поджимает пальцы ног, богохульствует, опять паникует – и стучится в единственное горящее окно. За которым – о чудо! – обнаруживается соотечественник. Холостой, гостеприимный и с холодильником, полным водки. Доцент согревается телом, душой и сосудами, пересказывает хозяину всю свою жизнь, засыпает вполне счастливый, а на следующий день возмещает выпитое с большими процентами.

– ...Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забудыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

– Нет, Веня, – ответил я то ли мысленно, то ли вслух, наполняя стакан перцовкой. – До конца я этого не понял до сих пор. Брожу вокруг да около – и никак не могу отыскать единственного, все объясняющего слова. Хотя точно знаю, что слово есть. Ты призвал читателей больше пить и меньше закусывать – сегодня я следую твоему завету, вдруг он выведет меня к истине?

– ...Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым...

На здоровье. Я тоже не возражаю против уподобления сосне. Это даже лучше, чем карликовая березка. Только вот насчет неба звучит спорно. Я что, смотрю исключительно в небо? Разве я не вижу, что у меня под ногами? Разве я не хочу этого видеть?

– ...Или вот, например, одуванчик...

Я долго изучал эту проблему. Я собрал практически все, написанное о Венедикте Ерофееве и о его книге. Воспоминания друзей и знакомых, критические статьи, комментарии, эссеистику по поводу и без повода, филологический мусор, сочинения досужих олухов... «Ерофеев и Лермонтов», «Ерофеев и матриархат», «Ерофеев и постканонический дискурс», «Ерофеев и бред сивой кобылы» – все, что ни подворачивалось мне под руку, я вдумчиво штудировал в поисках разгадки. Иной аналитик уверенно подсовывал мне готовую формулу, популярно объяснял, кем был в жизни Венедикт Ерофеев и чем является персонаж его поэмы. Один умник заявлял, что Венечка – *скоморох* и *юродивый*. Другой провозглашал его *панком*. У третьего он превращался в *ризоматический симулякр*. Все эти ярлыки я послушно примерял на себя – но без особого успеха.

В самом деле – ну какой я панк? Какой скоморох? Какой, тем более, симулякр? Конечно, при большом старании можно в любом разглядеть бациллы мизантропии, цинические метастазы и готовность к дешевому зубоскальству; можно все это разглядеть и во мне – но только при очень большом старании. Непредвзятый наблюдатель заметит лишь отзывчивость и человеколюбие. Заметит бескорыстное сострадание тем несчастным, которые не в силах отличить иероглиф «зубило» от иероглифа «блоха». Которые не умеют сказать: «позвольте выразить глубочайший трепет по поводу изъявления моей недостойной просьбы». Сирым и растерянным, малограмотным и робким – только сострадание, только отзывчивость. Никакой мизантропии, никакого снобизма. Ибо сказано: «Смотри и чти, смотри и не плюй». Я умею следовать заветам гения.

– ...Но сегодня – сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница – тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!...

Так что, оставим в покое эти глупые ярлыки. Право же, они не стоят серьезного разбора. Ну что это, в самом деле: «водочный диссидент», «алкогольный пророк», «пьяный христосик»... Или вот, например, совсем уж тупое: «внутренний эмигрант».

Смех, да и только. Такое можно было придумать только в семидесятые годы, когда наблюдения за феноменом эмиграции обрывались в международном аэропорту Шереметьево. В ту эпоху еще мало кто знал, что эмиграция влечет за собой *иммиграцию*, – иначе бы никто не посмел назвать автора бессмертной поэмы таким несуразным словом. «Эмигрант»! Высизживающий «зеленую карту», говорящий на «брайтонском наречии», натужно выползающий из одной шкуры, чтобы поскорее влезть в другую, – и это о Венедикте Ерофееве?! Чушь собачья! Внутренний, внешний, какая разница – порочно само слово!

Опять же: что получается, если развернуть это слово на меня? Я – *эмигрант*. Ха-ха! Я эмигрант! Я хочу стать японцем. Я говорю: «Мы, японцы... А вот у нас, у японцев... А вот по-нашему, по-японскому... А вот наш император считает...». Ха-ха! Я положительно умираю со смеху. Я – «эмигрант»! Какое смешное слово придумали эти дураки! Да мне дадут пня под задницу, едва истечет мой контракт! Да здесь ни минуты не станут вникать, наружный я эмигрант или внутренний! Да я и помыслить не вправе о перелицовке своей несчастной шкуры. Я такой же эмигрант, как и симулякр. Я ведь... Я просто... Он просто...

Царица Небесная!..

Белая молния расколола дождевой занавес, блоки университетских квартир завибрировали вместе с громовым раскатом, и откровение снизошло на меня, как отцепившаяся люстра на голову.

Венедикт Ерофеев был *гайдзин*.

Он был гайдзин в своем отечестве. А я – гайдзин в чужом.

Здесь все сходство и все различие. Проще не бывает.

Оглушенный, я нащупал в холодильнике еще одну бутылку, припал к горлышку, сделал полдюжины глотков – и бесчувственно рухнул на татами.

* * *

Вокруг меня был тамбур. Тамбур был везде – спереди, снизу, сверху, сзади, справа и слева. От тамбура не было спасения. Я заколотил по тамбуру кулаками; он зашипел и раздвинул двери. Я вошел.

Веничка сидел у окна. Он не услышал, как я вошел. Он сидел и смотрел в окно.

– Здравствуй, Веня! – сказал я, подойдя.

– Здравствуй, Вадя, – отозвался он, не оборачиваясь. – Что это там такое?

– Это заливные поля, Веня, – ответил я. – Я боялся, что тебе не понравится, но я честно старался. Скажи, Веня, тебе нравятся наши заливные поля?

– Они прекрасны... Они прекрасны, как божьи пажити... Но меня тревожит вот что: все ли у нас хорошо с косовицей и обмолотом? Чего у нас больше: обмолота или косовицы?

– Насчет косовицы, Веня, я ничего не скажу. Я не уверен насчет косовицы. Но вот с клейкостью зерна мы не прогадали, клейкость у нас на высоте.

– Я буду спокоен за клейкость. А почему так льет с неба?

– Сезон дождей. Тут так заведено: в сезон дождей всегда льет с неба.

– Это надолго?

– Вовсе нет. От силы месяц, или чуть больше. Не успеешь оглянуться, как сезон дождей пройдет. И настанет сезон тайфунов.

– Постой, Вадя... Я не хотел тайфунов... Я хотел, чтобы круглый год не отцветал жасмин и не умолкали птицы. Разве так нельзя сделать?

– Сделать можно. В этом будет каприз и пафос. Будет даже известный комфорт. Но в этом не будет печального очарования. Печальное очарование нельзя растянуть на целый год. Оно живет цикличностью. После муссонов – тайфуны. За заходом солнца – восход луны. Отцветает сакура – любуйся мальвой. Смолкают цикады – жди богомолы. Печальное очарование чурается любых констант, оно зиждется на синусоидах.

– Тогда, Вадя, я не понимаю. Моя жизнь тоже зиждется на синусоидах. От открытия магазинов – до закрытия магазинов. От тошноты и дрожи – до вдохновения и триумфа. От паралича и немоты – до судорог и корч. Отчего же в моей жизни так мало печального очарования? Может быть, велика амплитуда моих синусоид? Или коротки их полупериоды?

– Все так, Веня. Где у других красота и гармония, у тебя лязг и дребезг. Твои синусоиды не хотят резонировать, им диссонанс подавай! И я берусь тебе объяснить, почему так произошло.

Ямагата – Фукусима

– Первым делом, Веня, толково и с расстановкой ответь мне на такой вопрос: отчего ты крестился в католичество?

– Это риторический и праздный вопрос, Вадя. Я не стану на него отвечать, это можно прочесть в воспоминаниях Тихонова, Авдеева и Шмельковой.

– Да, я читал, я помню. Нет национального бога, религия должна быть всемирной, и все такое. Пусть так. Но куда ты повыкидывал отчества?

– Какие отчества, Вадя?

– Вообще любые! Все эти петровичи, кузьмичи, федоровичи – где они у тебя? Нету! «Антон Чехов», «Николай Гоголь», «Иван Тургенев», «Алексей Блиндаев» – все как нерусские! Ильича ты только на пленке назвал ильичом, я сегодня слышал, а на бумаге от него одна первая буква.

– У меня еще два Митрича и один Семеныч...

– Вот именно. Всего навсего. Зато у тебя святой Марк, святая Тереза, король Улаф, лорд Чемберлен, сэр Комби Корм, Инесса Арманд – а где корни, Веня?! Где соленые рыжики, где Алеша Попович, где соборность и сермяжность?

– Вадя, ты сам все понимаешь...

– Да, я понимаю. У народа твоей страны чересчур выпуклые глаза. Ты провел детство за Полярным Кругом, и всю соборность тебе отморозили. Ты становишься неукоренен и отвязан, ты переходишь Рубикон, ты бредешь в Эболи и Каноссу, сворачиваешь с Манхэттена на Пятую Авеню, прешь через Верден к Ламаншу – и все это с таким напором, будто и впрямь по ту сторону Пиренеев можно найти что-то этакое. А кто тебе сказал, что оно там есть?

– Выходит, его там нет, Вадя? Ты хочешь сказать, что оно *здесь*? Среди этих заливных полей? Среди этих сощуренных глаз? Ты хочешь сказать, что достаточно развернуться на сто восемьдесят? Тогда расскажи мне, что здесь такого есть. Или нет – лучше расскажи мне, чего здесь *нет*. Здесь что – нет лихорадки и смертной тоски? Нет пустопорожности и непоправимости?

– Если бы, Веня, если бы...

– Или, может, здесь нет попсы и глянца? Нет стирки чудес в окнах за стеклом? Нет Филиппа Вольфовича Петросяна?

– Есть, Веня, есть... И даже еще больше...

– Тогда что толку в этих полях и в этих пажитях?

Фукусима – Корияма

– Это сложно объяснить, Веня. Не обойтись без аллегорий. Помнишь, в самом объемном и нелепом твоём сочинении, в «Записках психопата», есть глава про Птичий остров, помнишь? Там у тебя всякие зяблики, удода, кукушки, петухи – что-то такое басенное, на эзоповом языке, о диктатуре и о внешней политике. Мы сейчас не о диктатуре – но давай останемся в этих координатах. Давай рассуждать орнитологически, это удобно. Вот скажи, например: тебе сложно представить себя *белой вороной*?

– Нет, Вадя, совсем не сложно. Я как раз она и есть. И ты тоже, наверное...

– Вот именно. Ни с того, ни с сего вдруг рождается ворона с белыми перьями. Причем, это никак не соотносится с высотой полета – это вообще ни с чем не соотносится. Просто белая. И ей неуютно. Не то, чтобы ее гнобили собратья, дело не в том. Дело в резонансе. Белой быть хорошо и красиво, но кругом все черные. Спрашивается: как вороне быть?

– Наклеваться мухоморов.

– Эти варианты не принимаются. Есть лучше.

– Понимаю. Вступить в духовную республику альбиносов. Стать *вороной Джонатан Ливингстон*. Не каждой вороне это под силу, Вадя, даже белой.

– Правильно. Что остается? Только улететь горизонтально. Но куда?!

– А куда?

– Чаще всего летят к попугаям. К любым. Мало ли разных попугаев: лори, жако, какаду, ара... Ты проводишь там нужное время, высиживаешь *зеленое яйцо* – и тебя торжественно принимают в попугайские ряды. Ты обретаешь попугайскую самоидентификацию, присягаешь попугайским законам, получаешь попугайский паспорт. Все бы хорошо. Но что делать, если ты и там – белая ворона? Что, если смеяться над попугайскими шутками, исповедовать попугайские ценности и говорить: «А вот у нас, у попугаев...» никак не получается? Было шило, стало мыло. Что тогда?

– Ну?

– Лететь нужно не к попугаям. Лететь нужно к максимально далеким и непохожим на тебя птицам. К пингвинам, к страусам, к грифам...

– Грифы заклюют. Страусы запинают. У пингвинов холодно...

– Тогда к альбатросам, стрижам, пеликанам... К цаплям, наконец!

– К цаплям?

– Ну да, к цаплям! Они приветливы и вежливы, у них тепло и комфортно, у них белые перья! А главное – в свои ряды они тебя никогда не примут, даже если ты захочешь. Но тебе ведь и незачем, правда?

– Мне?... В ряды?..

– Вспомни, Веня: ты хотел найти уголок, где не всегда есть место подвигам. Посмотри в окно: вот он, этот уголок. Здесь никто и никогда не будет ждать от тебя подвигов. Только непохожести, только инаковости – того самого, что ты умеешь

лучше всего. Ты и раньше был белой вороной, а здесь ты не просто белая ворона, здесь ты концептуально необходимый антипод. Ты уважаемое посмешище, ты почетный изгой, ты любимая заноза, ты – *гайдзин*.

Корияма – Уцуномия

– Я – *гайдзин*?!

– Именно, Веня. Человек с отмороженной соборностью называется «гайдзин». Это нельзя изменить, это в крови, с этим можно только приспособливаться. Вот и думай: если талантом резонанса ты обделен, то где тебе будет лучше – там, где нужно резонировать, или там, где не нужно?

– Так-так... Что же получается – мы едем вовсе не в Петушки?

– Мы гайдзины, Веня, мы отморозки. Мы зайцы на этом синкансэнэ. Нам все равно, куда ехать, на юго-запад или на северо-восток. В Кагосиму или в Саппоро. Здесь нам ничего не отморожат сверх того, что у нас и так отморожено. Зачем нам Петушки? Поедем, куда везут. По всем пунктам, кроме Ёсино. Здесь везде хорошо. Здесь сам диссонанс изысканен и гармоничен! Поверишь ли: я иногда выхожу в эти заливные поля, задираю голову в небо и обращаюсь к местным богам. Я говорю: «Спасибо вам, мои дорогие! Спасибо за то, что вы создали землю, в которой я не обязан становиться *своим*!»

– Да-да, я понимаю... Я только не пойму, зачем им концептуальный антипод...

– Я и сам не сразу понял. Понадобились годы, чтобы дошло. Видишь ли, есть пернатые, которые ничего не боятся. Вот, скажем, на острове Маврикий жили дронты. Они никого не боялись. Где они теперь, эти дронты? Ты их видел? И я не видел, только в книжках читал. Их истребили голландские мореплаватели.

– Всех?!

– До единого. А когда голландские мореплаватели подплыли к острову Кюсю, отношение к ним было осторожным. Может, даже чересчур. Их остановили за десять метров до Кюсю и стали ждать, пока разовьется экологическое сознание.

– И оно развилось?

– В общем, да. Теперь не истребляют. Теперь перемешивают и скрещивают. Это нравится многим, но все-таки не всем. Некоторые цепляются за самоидентификацию, а ее поддержание требует присутствия антипода. Когда они видят антипод, то сразу думают: ага, не такой, как мы – значит, мы особенные! Диссонанс с антиподами укрепляет их резонанс друг с другом.

– Это хорошо или плохо?

– Смотря для кого. Для нас хорошо. Ведь гайдзину надо куда-нибудь податься, а куда же мы подадимся, если всех перемешают и скрестят? Если на всей планете будет *свое отечество*, куда мы подадимся? Представь: вместо былой необъятной орнитологии – единственный вид пернатых. Птица обыкновенная. *Avis vulgaris*.

– Вадя, да ты антиглобалист!

– Я никакой не анти. Я сам несу эту глобализацию на своих плечах. Я как герой Фенимора Купера, как Натаниэль Бумпо. Он нес цивилизацию на Дикий Запад, ненавидел ее всеми фибрами – и нес. Вот и я поневоле глобализую эти прекрасные заливные поля всякий раз, когда иду по меже. Глобализую все вокруг одним своим присутствием. Хотел стать дезертиром, а стал пехотинцем Всемирной Энтропии. Разве это не трагично?

Уцунумия – Омия

- Погоди, Вадя. Может, ты сгустил?
- Чего я сгустил?
- Ты уверен, что когда волк возляжет рядом с агнцем и народы обнимутся, то обратно их будет уже не разлепить?
- Абсолютно уверен. Так гласит второе начало термодинамики. В замкнутых системах дело всегда идет к выравниванию. На наш век еще хватит – а потом кранты. Так что, Веня, лови момент. Делай, как я.
- Я бы рад, Вадя... Но мне не верится, что здесь все так хорошо. Что-нибудь обязательно должно быть плохо.
- А как же. Здесь многое плохо. Падение биржевых индексов, экономика мыльных баблов, кризис, тупик, дефляция, безработица, пауперизм...
- ...Вот-вот...
- ...Тоталитарные секты, ультраправые марши, проституирование, кумовство, коррупция, стагнация, манипуляция, болванизация...
- ...Даже так?..
- ...Телемуть, радиочушь, медиабред, библиодурь... Однорукие бандиты, двуногие кретины, манга, энка, пачинко, поломко...
- ...Вот видишь, Вадя...
- Да, вижу. Отлично вижу. Боковым зрением. Сквозь пальцы. А прямым зрением я смотрю в другую сторону и вижу вещи, которые мне приятнее видеть. Кто осудит меня за это? Я гость! В гостях не принято замечать хозяйские минусы. И ты, Веня, ты тоже не замечай. Лучше выйди в заливное поле и задери голову вверх. Боги тебя услышат.
- Так просто?..
- Ну посуди сам. Тутошнюю стагнацию разгрести все равно не нам с тобой. И с дефляцией они сами будут воевать. Про коррупцию я уж и вовсе молчу, нас до нее и близко не допустят. Спрашивается: что зря сотрясать воздух? Какое нам дело до динамики индекса Никкей Двести Двадцать Пять?!
- Вадя, ты так горячишься, что впечатление обратное. Может, тебе и вправду есть дело до этой динамики?..
- Дело в принципе! *Номинально* я в полном праве ничего не знать ни о каких индексах. Я в полном праве оставаться белой вороной по всем параметрам. Если говорить начистоту, то огорчает меня здесь лишь одно.
- Что же?
- Здесь крайне трудно повстречать *черную цаплю*.
- Хм... А кого не трудно?
- О, Веня, кого здесь только не встретишь! Сюда слетаются зеленые фламинго и травоядные беркуты, куцехвостые павлины и крылатые киви, буревестники с морской болезнью и совы с куриной слепотой, желтые синие птицы и адские райские птицы. Здесь их всех по чуть-чуть, но это такой паноптикум! И лишь одни черные цапли летят не сюда, а отсюда. Летят к попугаям, летят к дятлам, летят к голубям... И даже – в это трудно поверить – к нам, к воронам! Здесь остаются только белые цапли и серые, а черным приходится туго. Я бы не хотел родиться черной цаплей. Да и белой цаплей, если подумать, я тоже не хотел бы родиться. Я лучше останусь гайдзин. Я буду гайдзин в чужом отечестве.

– ...НЕТ УЖ, ПОЗВОЛЬТЕ !..

Омия – Уэно

Мы оба обернулись. В вагонном проходе стоял не кто иной, как гражданин Кузьма Минин, бородатый, босоногий и бронзовый. Он опустился на лавку и строго нахмурился.

– Вот вы, молодой человек, говорите «гайдзин».

– Ну, допустим...

– А нужно, милостивый государь, не эскапировать, понимаешь, а время собирать камни!

– В каком смысле?

– Да в таком! Вам ведь все одно пня под зад дадут – стало быть, придете обратно. Гайдзин, не гайдзин, родина призовет. Тут-то вы и пригодитесь. Вы ведь по этому экономическому чуду каждый день ногами ходите. Так вы ж подмечайте! А то что же получается – как сингапур, так азиатский дракон, а как змей-горыныч, так рожей не вышел. Надо смотреть на них и учиться.

– Чему учиться?

– Всему! Коллективизму, понимаешь, ответственности, смекалке! Разному там менеджменту. Все подмечать и внедрять у себя. Тогда будет сдвиг, понимаешь. А разбежаться по углам это мы все умеем, колбасу чужую жрать.

– Отчего же колбасу...

– А что, нет? Зачем это еще «гайдзин»? Придумали тоже. Надо в гуще, понимаешь, всем миром чтобы. Тогда будет сдвиг.

– Но я ведь... Я по-другому, но я тоже способствую... Я тоже болею душой...

– Душой это мы все горазды. А как рукава засучить, так врассыпную.

– Да нет же... Я как бы... У меня свой пяточок, на котором я полезен...

– Знаем мы ваш пяточок!

– Это вот раньше, до технического прогресса, конечно... А теперь время и пространство сжимаются, теперь компьютерные сети...

– Слыхали мы про ваши сети!

– Теперь уже неважно, где ты физически... Вот, скажем, Николай Гоголь...

– Вы, государь мой, шибко высокого о себе мнения!

– ...И МЫ ТОЖЕ !!!...

Уэно – Ёсино

– Мы тоже внутренние гайдзины!

В проходе стояли Рабочий и Колхозница.

– Мы тоже гайдзины в своем отечестве! Мы тоже любим все восточное и японское!

Они побросали инструменты на пол, уселись на лавку, и Рабочий заговорил:

– Моя жизнь протекала в темноте и невежестве, пока ее не перевернули Овцев и Цветочников. Вы читали Овцева и Цветочникова? Они открыли мне глаза. Я вдруг осознал, сколько необычайного таится во всем японском. Я продолжил самообразование, я прочел «Склон Фудзиямы», «Загадку самурайской души», «Менеджеров в кимоно», «Вкус харакири», «Голую гейшу и ее четыре шогуна», «От ваби до васаби» – целую библиотеку.

– Ничего себе, – сказала Колхозница.

– Вот взять иероглифы, – продолжал Рабочий. – Их насчитывается уже десять миллионов, и каждый день рождаются новые. Мы с вами сейчас едем в поезде, а в эту секунду рождается иероглиф. Спрашивается: зачем? Куда такое количество? Ответ: чтобы хватило на всех гейш. У гейш, как известно, имен нет, есть только иероглифы, и повторяться они не должны, иначе это грех перед Буддой. А у каждого японца, помимо жены, обязательно еще и гейша, или целых две. Вот и считайте сами, какую прорву надо обеспечить. Существуют особые фирмы по разработке иероглифов, их услуги стоят баснословных денег, но японцы платят и еще сверху приплачивают, потому что у нас любят говно лаптями хлебать, а у них культура!

– Это надо позаимствовать! – сказал Минин. – Это надо внедрить!

– Или вот, скажем, рыба фугу. Вы знаете, как нужно медитировать на рыбу фугу? Рыба фугу очищается от водорослей, накачивается насосом – есть такие специальные бамбуковые насосы – и помещается между инем и янем. Тогда у нее начинают по-особому вибрировать жабры, а ваш спинной мозг это дело улавливает и переправляет в гипофиз. С непривычки можно и помереть, но если не помер, то открывается астральная чакра, и постигается природа мистических тел. Это сыграло большую роль в обеспечении экономического чуда. Все японские служащие в обязательном порядке медитируют на рыбу фугу большую часть рабочего дня. Рыба фугу объявлена национальным сокровищем и воспевается в официальном гимне компании Шарп.

– Это надо внедрить, – сказал Минин. – Это мы с Пожарским обсудим.

– Конечно, там много необъяснимого. Много такого, чего европеец никогда не поймет, даже если посвятит этому жизнь. Вот, например, интересный обычай: когда японец женится, то он берет свою новую тещу, сажает к себе на закорки и тащит на горную вершину. Там они садятся, выпивают на двоих бутылку сакэ и спускаются обратно – только уже не он несет тещу, а она его. Верхом на теще он доезжает до самого загса. Необъяснимо? Пожалуй, для западного ума. Но этот обычай скрепляет родственные узы и рождает такую социальную стабильность, какой восхищался еще Плеханов! У нас про тещу анекдоты травят, а у них она сакральная фигура и цементирующее звено.

Ёсино – Кагосима

– Вот видите, молодой человек! – обратился ко мне Минин. – Товарищ приобрел глубокие познания, читая книги. А вы тут живете, и не в курсе. стыдно!

– Да, я очень люблю читать! – воодушевился Рабочий. – Вокруг столько книг, столько поэзии и прозы, столько блистательных переводов! Я вам сейчас почитаю.

Он извлек из кармана пухлый том, раскрыл его и начал чтение:

– В год второй Какацу месяца третьего близ Фукунума подле Маэбара воин Боньясацу рода Цуда трехсот коку в год в Такадана близ Коэгама вооружась катана стремглав направлялся в направлении к Аомура питая надежду сразиться с Годзаэмон рода Канъёцухан в Сакамото подле Фудзимуре провинции Эцугава достигнув же цели бросился на врага стремглав.

– О-о-о-о-о! – закатила глаза Колхозница. – Какая тонкая работа! Какое знание реалий! Какая бережная передача повествовательной ткани!

– ...Безмолвно находящаяся в промежуточном зазоре меж фусума и токонома юная Ханакко волнующе направляла страдающий взор на мелькающее стремглав катана и капли крови капающие на белое хакама и исполненное суровой мужественности храброватое лицо Бонъясацуру смело теснящего своего врага стремглав.

– О-о-о-о! Какая самоотдача! Какое вживание в текст! Какая беззаветная влюбленность в японскую загадочность!

– ...Воин то и дело вспоминал свое терпеливое дзадзэн в храме Унодзима близ Кацуяма когда великий святой преподобный Гондай Макаку стремглав появился в дзэндо постукивая своими гэта тук-тук и задал всем монахам трудную коан-загадку сколько соку в одном коку если в тысяче сяку ни одного бу.

– Ох, мамочки, я щас кончу...

– ...И вот теперь стремглав размахивающий катана храбрый Бонъясацуру долгожданно разгадав коан-загадку с входом в сатори буддийского просветления сразу же одним взмахом стремглав повалил врага Годзаэмон на татами и рассек тандэн катана давая наружный выход кровавому кишечнику и потокам крови пузырящимся буль-буль и победоносный вопль стремглав исторгнулся из его глубинного чрева опрометью.

– Ы-ы-ы-ы-ы! – застонала Колхозница.

– Тут еще всякие сноски, – сказал Рабочий. – Их лучше потом читать, а то запутаешься.

– Нет, уж лучше сразу, – возразил Минин. – Я уже запутался.

– Тогда ладно, – сказал Рабочий. – Тогда не будем прозу, будем поэзию. Вы любите трехстишия? Любите хайку?

– Я очень люблю хайку! – снова оживилась Колхозница. – Послушайте мою самую заветную хайку. Она звучит следующим образом: вся как есть закрывшись кимоно рукавом – ах! – не отважусь и пискнуть.

– Это правильно, – сказал Минин. – Это хорошие стихи.

Веничка потербил меня за плечо.

– Слышишь, Вадя?..

Кагосима – Саппоро

– Чего, Веня?

– Чего-чего... Говенный ты гайдзин, вот чего.

– Почему говенный?

– Да потому... Это вот что ли и есть «печальное очарование»?

– Да нет же, Веня... Это пена, это пузыри! Людям нужен миф. Отними у них этот, они вмиг соорудят другой. Пусть уж будет этот – жалко нам, что ли?

– Но почему этот миф... почему он на территории, которую ты облюбовал?

– Потому, Веня, что продвинутому человеку нужна продвинутая мифология. В нашу постканоническую эру только подонок довольствуется примитивным мифом. Только подонок может сегодня думать, что за границей живут люди с песьими головами или что за границей каждому выдают автомобиль. Человек мало-мальски развитый, с воображением и претензией, уже не может этим довольствоваться. Ему потребна мифологема изысканная, с интеллектуальным реверансом. А куда еще приземлить такую мифологему, как не на Японские острова?

- Но почему на острова?!
- Да все потому же. Потому что дронтов уже нет, а цапли еще есть. Не о воробьях же слагать мифы, сам подумай. Будем ценить чужую продвинутость.
- Мне сложно такое ценить, Вадя...
- Тогда не будем. Это, в конце концов, ни к чему. Ведь, когда мы идем по заливному полю, то мы имеем дело не с мифом. Мы имеем дело с полевыми кобылками, с молодой зеленью, с каплями дождя...
- Опять дождя... Я не хочу дождя, Вадя. Я не поеду на твоём синкансэне. Я поеду в Петушки.
- Да зачем тебе Петушки, Венья? Поедем лучше в Тоттори!
- У тебя слишком много оговорок, Вадя. Слишком много допусков и посадок. Не смотри туда, смотри сюда. Не замечай того, замечай вот это. Не слушай других, слушай меня. Я так не могу. Мне нужно сразу все или вообще ничего. У меня такие синусоиды. Я не поеду в Тоттори, я поеду в Петушки.
- Петушков не бывает, Венья! Не бывает круглый год жасмина и птичьих голосов. А Японские острова – бывают! И печальное очарование – есть! Я его видел, я его осязал, оно реально!
- А Петушки, Вадя, Петушки сейчас тоже станут реальны! – с этими словами Веничка вытащил бутылку кубанской и сорвал с нее пробку. – Гляди, как это делается!
- Не надо, Венья! – я схватил его за руку. – Лучше убери это в холодильник! Послушай меня. Конечно, я отдаю себе отчет. Я понимаю, что мой эскапизм – это и не эскапизм вовсе, а так, дрянь какая-то, страусиная полумера, пороссячий паллиатив. Но ведь я не предлагаю это всему человечеству. Я даже не предлагаю это народу моей страны. Было бы глупо предлагать такое целому народу целой страны, его сюда столько и не влезет. Я предлагаю это исключительно тебе. Одному тебе, как земляку и отморозку. Это ты понимаешь?
- ...ВАШИ БИЛЕТЫ !!!

Саппоро – Тоттори

- Над нами нависал Енотовидный Сфинкс.
- БИЛЕТЫ !!!
 - Вот! – я протянул Сфинку удостоверение гайдзина. – Рабочая виза.
 - А этот?
 - Этот со мной.
 - Что значит «со мной»? БИЛЕТ !!!
 - Подставляй стопарик, Семеныч, – сказал Веничка. – По километражу.
 - Что он говорит? – переспросил Енотовидный Сфинкс.
 - Он говорит, что мы уплатим полную стоимость билетов, – перевел я. – Скажите, сколько с нас причитается.
 - С вас причитаются разгадки трех коанов! Слушайте первый коан!
 - Хай!
 - Четыре монаха-францисканца за одну неделю миссионерской деятельности подожгли десять буддийских храмов, развалили двадцать синтоистских святилищ, засрали тридцать три сада камней, сорвали пятьдесят пять чайных церемоний, обесчестили сто сорок гейш и прочли одну католическую молитву «Патер Ностер».

Вопрос: сколько взмахов кисти потребуется великому канцлеру Тоётоми Хидэёси, чтобы выпустить исторический эдикт «О запрещении христианства»?

– Не знаю, Сфинкс, – сказал я. – Мы мало медитировали над этим коаном.

– Мало?! Четыреста лет – мало?!?! Слушай мой второй коан!

– *Хай.*

– Из пункта А в пункт Б со скоростью тридцать узлов вышел линкор «Ямато», а навстречу ему из пункта Б в пункт А вышел крейсер «Варяг». После встречи в пункте Г команда «Варяга» открыла кингстоны и начала перемещение в пункт Д, а команда «Ямато» построилась в шеренгу по четыре и вспорола животы. Вопрос: какая из команд быстрее узрит Будду Амиду, если сечение одного кингстона эквивалентно совокупному сечению десяти животов?

– Кто ж его разберет... – пробормотал я. – В песне поется, что это должны знать белые чайки...

– Ха-ха! – вскричал Енотовидный Сфинкс. – Белые чайки! А белые вороны, получается, ничего знать не должны?! Так выходит?! Слушай мой третий коан!

– *Хай...*

– Президент Ельцин, принимая в Красноярске премьера Хасимото, обломал об его спину шесть веников из березы и три веника из дуба. Президент Путин, пять лет спустя принимая в Стрельне премьера Коидзуми, обломал о последнего только два дубовых веника, но зато восемь березовых. Вопрос: когда будет подписан мирный договор между двумя странами, если общая площадь березовых лесов России в сорок раз превышает совокупную площадь ее дубовых рощ?

– Я много раз отвечал на этот вопрос, Сфинкс, – сказал я. – Я устал повторять, что есть лишь один путь спасения сибирской тайги – передача спорных территорий в дар Тринидаду и Барбадосу. Это был бы жест, достойный двух великих держав. Разве не так?

– Хо-хо! – вскричал Енотовидный Сфинкс. – С такими-то мыслями в голове стремиться в Тоттори?! С такими-то мыслями, да еще и без билетов! Вылезайте немедленно оба!

Он осклабился и обнажил кривой самурайский меч.

– Видишь, Вадя, – сказал Веничка, снова берясь за бутылку. – Как ни крути, все не судьба.

– Постой! – я схватил его за руку.

– Вон с поезда! – Сфинкс со свистом махнул мечом у нас над головами.

– Одну минуту! – обратился я к Сфинксу. – А что, если мы не просто пассажиры? Что, если мы – симулякры?

Вжик!..

– Что, если мы не просто едем, а артикулируем имманентный трагизм бытия? Или, например, манифестируем актуализацию энтропийных дискурсов?

Вжик-вжик!..

– Что, если наш эскапизм нацелен туда же, куда нацелена и ваша парадигма?

Вжик-вжик-вжик!..

– Брось, Вадя, – сказал Веничка. – Я все-таки поеду в Петушки.

Он раскрутил бутылку кубанской против часовой стрелки и приставил ко рту.

Тоттори – Петушки

Когда бутылочное горлышко миновали последние остатки алкогольного водоворота, на месте Венички распласталась густая красная буква



Енотовидный Сфинкс проткнул ее мечом; она задрожала и растворилась в воздухе.

– Теперь ты!

– У меня виза! – я протянул Сфинксу удостоверение гайдзина.

Он разрубил удостоверение напополам.

– Вон отсюда!

Я нырнул под лезвие, споткнулся о серп и молот в проходе и растянулся на вагонном полу.

– НАМУ АМИДА БУЦУ !!! – заорал Сфинкс и занес надо мной катану. Двери поезда защелкали, загремели кимвалы, и в вагон стремглав влетел храбрый воин Боньясацуро верхом на теще – а следом, тоже стремглав, влетела команда линкора «Ямато» и принялась гоняться за воином по вагону, размахивая кровавыми кишечниками. Кто-то вышиб у Сфинкса меч; Сфинкс рассвирепел, схватил меня хвостом за горло, начал душить – но вовремя подоспевшие Овцев и Цветочников огрели Сфинкса по башке один дубовым веником, а другой березовым. Я вырвался, сделал три нелепых прыжка, каркнул, расправил белые крылья – и взлетел. Вагонное стекло разбилось лишь с пятой попытки, мой клюв чуть не раскололся, зрение помутилось, но теперь и в левом моем глазу, глядящем налево, и в правом, глядящем направо, были заливные поля.

Мой полет был тяжел и неуклюж. Намокшие перья тянули вниз, по клюву били холодные капли, горизонт заволакивала серая пелена. Подо мной медленно проплывали деревни и хутора, огороды и автострады, сады камней и поля для гольфа, святилища и храмы, вишня и бамбук, мальва и жасмин... Я видел поросшие соснами холмы и голые вулканические склоны, видел биржевые индексы и мыльные пузыри, видел стагнацию и коррупцию – и снова видел нескончаемые каскады зеркальных прямоугольников, с молодой рассадой, притихшими лягушками и уснувшими кобылками. Я сбросил высоту, на бреющем полете прошел над межой, заложил вираж над косогором, прошел над пустынным шоссе, нырнул под виадук, сделал петлю, вынырнул, увидел серые блоки университетских квартир, добавил еще несколько взмахов и через раскрытую форточку влетел внутрь – туда, где мне уже становилось жестко и зябко лежать пластом на соломенной циновке в первое похмельное утро моего девятого сезона дождей.

О полярных взглядах

В свое время буддийские мудрецы посвятили немало сил фундаментальной проблеме соотношения земного сансарического бытия и нирваны. Одни защищали принципиальный антагонизм двух этих сущностей. Другие утверждали, что в конечном счете сансара и нирвана тождественны друг другу. К согласию так и не пришли. Да и не придут никогда.

Я понял это в ясный осенний день, когда всех изъявивших на то желание сотрудников университета организованно вывезли за город на сбор и поедание яблок. Мероприятие щедро проспонсировал местный предпринимательский фонд. Каждый сотрудник имел право сорвать с ветки целых три яблока и тут же употребить их в пищу. Валявшиеся на земле можно было употреблять без ограничений. Так достигалась гармония между бизнесом, сельским хозяйством и высшим образованием.

Сад наполнился учеными профессорами. Они задумчиво бродили меж кряжистых стволов, водили глазами по сочной листве, выбирали плоды порумянее, откручивали их от веток – а потом усаживались на мягкую траву, доставали перочинные ножи, освобождали добычу от кожуры и вонзали в нее зубы. Затем, медленно жуя, поднимали головы вверх и следили за облаками, плывущими в верхушках.

Пахло Эдемом.

И вдруг, ни с того ни с сего, ровно на середине второго яблока, профессор Лишайников, обращаясь к сидевшему рядом математику Потапову, произнес буквально следующее:

– Коллега! Вы даже не представляете себе, какой горькой, пустой и абсурдной была моя жизнь! Сколь глупым, суетным и тщетным было все то, чем я в ней занимался! Как безнадежны и трагичны любые наши попытки обрести в этой жизни смысл!

Потапов поправил очки, молча дожевывая свое яблоко, вытер усы. И сказал:

– А вы, Рауль Абрамович, даже не представляете, какой замечательной, классной и улетной была моя жизнь. Сколько в ней было глубочайшего смысла, высочайшего кайфа, дерзких прорывов и великих свершений. И сколько всего этого еще будет.

– Вы молоды, – вздохнул профессор. – Вы еще измените вашу точку зрения...

– Ничего не знаю, – сказал Потапов. – Жизнь очень хорошая.

Это прозвучало напористо и чеканно. Как стихи Маяковского:

Жизнь

Очень

Хорошая.

Яблочный огрызок прочертил дугу сквозь Эдем и приземлился у ног каменной статуи бодхисаттвы Дзидзо.

Коан для тенора без оркестра

Близился перевал.

Узкий серпантин шоссе еще километра три назад нырнул в лесные заросли, долго карабкался вверх, расталкивал низкорослый бамбук и папоротник, тянулся к верхушкам сосен, лез из асфальтовой кожи вон, бросал отчаянные петли то влево, то вправо, пыхтел, кряхтел, тужился – и вот вырвался на воздух, на простор, на перспективу. На огороженный край отвесной пропасти.

Я медленно подкатил к ограждению смотровой площадки, уперся в него передним колесом и правой ногой. Вытер лицо майкой, оглядел панораму.

Дорога поворачивала влево и изгибом шла вниз по открытому склону, теряясь из вида в дальней расщелине. Ее пересекали опоры заброшенного горнолыжного подъемника – они бесцельно спускались в долину, не замечая вокруг себя ни пылающих кленов, ни желтеющих берез, ни все еще зеленых сакур. Далеко внизу блестело озеро, а за ним угадывался едва видный город.

«631 метр над уровнем моря», – сообщал мне специальный столбик. Не бог весть какая высота, но покорила я ее сам, при помощи мускульной силы и цепной передачи, всего за час с небольшим. Законный повод для гордости.

Набрав полную грудь осенней прохлады, я сжал руль и оттолкнулся ногой от ограждения. Теперь цепь отдыхала, шестеренки набирались новых сил, педали застыли, – только спицы суетливо рассекали воздух, и деловито жужжал храповик. Воскресное шоссе было пустым, и я несея по самой середине. Обогнул склон, пересек линию подъемника, нырнул в тоннель, взбодрил шестеренки, вынырнул из тоннеля, зашел на следующий спуск – и вдруг увидел перед собой дорожный указатель:

Храм Уммодзи 0.4 км →

Будто и не дожидаясь моей команды, сработали оба тормоза. Шины чиркнули по асфальту, меня занесло, накренило, потом выровняло – и неспешно вкатило в узкое боковое ответвление, посыпанное гравием.

Ехать по гравию было неудобно, и метров через пятьдесят я спешил. Дорога шла между деревьями, на гравии лежали первые упавшие листья. Среди дубовых, кленовых и буковых попадались маленькие желтые веерочки с дерева гинкго. Их становилось все больше, вскоре я уже шел по сплошному ковру из пожелтевших утиных лапок – и наконец увидел само дерево. Оно стояло на отдельной поляне, полностью облетевшее, и специально прибитая к нему табличка удостоверяла посредством слоговой азбуки, что данное растение – действительно гинкго, а не

какая-нибудь там дзельква или криптомерия. Симметричные голые ветви были смиренно воздеты к небу, точно просили снега. В десяти шагах от дерева, на краю поляны, застыло каменное изваяние бодхисаттвы Каннон, молитвенно сложившее ладони. Оно сочувствовало дереву.

Подойдя к изваянию поближе, я заметил перила деревянной лестницы, ведущей вниз. Подхватил велосипед за раму, стал спускаться. Внизу, сквозь рыжую листву кленов, виднелась бурая черепица на изогнутых карнизах.

Лестница завершилась воротами из двух столбов с массивной тростниковой крышей. На правом столбе я еще раз прочитал название храма, а на левом – название школы, к которой храм принадлежал: «Риндзай-сю».

Это было не очень типично. Мои праздные разъезды по окрестностям чаще всего приводили меня к амидаистским храмам школы Дзёдо. Обычно я натывался там на аляповатую статую Будды Амида, обложенную мешками с рисом, хурмой и яблоками, – местные крестьяне волокли все это добро в храм, чтобы повелитель Чистой Земли в роковой час про них не забыл. Не менее популярными были храмы школы Сото – тоже дзэн, но другого пошиба – часто маленькие и безликие, зато многочисленные. Другие школы – Сингон, Тэндай, Нитирэн – мой дилетантский взгляд различал только по надписям на столбах. Дзэнские храмы школы Риндзай отчего-то встречались редко, и это было досадно. Именно к этой школе японского буддизма я питал особую слабость.

Передо мной лежал храмовый двор. Земляной, чисто выметенный, уютный. Не очень большой. Скромный колокол под навесом, неизменный дракончик со струйкой воды, крохотное синтоистское святилище для улаживания местных богов. Каменные фонарики. Шесть облупленных статуй бодхисаттвы Дзидзо на длинном постаменте. Посередине – облетевшее дерево непонятной породы. Под деревом – собачья конура и камень с рельефно выбитыми иероглифами:

Злая собака

Камень порос мхом и выглядел заслуженно. Судя по нему, злой собаке шел не первый десяток лет, а то и не первая сотня. Установить это наверняка было трудно: цепь, прикрепленная к конуре одним концом, другим концом лежала на земле и скучала. Конура же со всей очевидностью была пуста.

Я обошел дерево и приблизился к храму. Под его широкой крышей тянулись вырезанные из дерева цветы и птицы, драконы и тигры. Мощные столбы были покрыты благородными трещинами. Над входом висел медный гонг с длинной веревкой. На огороженную перилами галерею, как и полагается, вела широкая лестница. А по обе стороны от лестницы росли два кактуса.

Я не поверил своим глазам. Я видел много разной флоры на храмовых дворах. Видел катальпу и павлонию, фермиану и леспеду, османтус и бересклет. Был знаком со священным деревом *сакаки*. Хорошо представлял, как пуэрария обвивает глицинию. Знал латинские названия багряника и мушмулы. Встречал любые растения – но только не кактусы. Здесь же перед моим взором красовались две внушительных размеров опунции, посаженные в кадки. Колючие зеленые лепехи невозмутимо ветвились под разными углами, как гибрид амебы и кролика. Сбитому с толку интеллекту оставалось лишь списать увиденное на знаменитые дзэнские парадоксы.

Как там сказано у Дайсэцу Судзуки? «Интеллект есть периферийный работник, бросающийся из одной крайности в другую»? Вот-вот...

Отведя смущенный взгляд от кактусов, я прочел деревянную табличку:

«Так как настоящий храм воздвигнут в честь Будды Шакьямуни, при молитве благоволите произносить: *Слава Будде Шакьямуни*».

И в самом деле. Сколько можно восхвалять Амиду? Давно пора воздать честь основателю религии. В конце концов, я *индоевропеец*. Наши языки перекликаются. Пусть Будда меня разбудит.

Я ударил в гонг, ткнулся носом в сложенные ладони и пробормотал:

– *Наму Сякамуни Буцу...*

Послышался шум автомобиля. Сперва еле различимый, он ясенел, нарастал, близился – и затих. Хлопнула дверь. Захрустел гравий. Еще через минуту я ощутил на затылке взгляд и обернулся.

На меня смотрел коренастый мужчина лет пятидесяти. Кроссовки, джинсы, майка, бейсбольная кепка. Изучающий прищур.

– Добрый день, – сказал я.

– Добрый день, – отозвался он. – Нравится?

– Очень...

Мужчина подошел к бронзовому дракончику, неторопливо выпил ковш воды. Потом, сняв кепку, обнажил бритую голову и облил ее из ковша. Растер пятерней мокрый череп, блаженно крикнул:

– Хорошо!

И водрузил кепку обратно. Я спустился по ступенькам храма, подошел к нему поближе.

– Вы настоятель?

– Угу.

– Позвольте вопрос. Тут у вас кактусы растут, первый раз такое вижу...

– Кактусы?.. Так это жена разводит... Вы откуда?

– Из России.

– М-м-м...

(На секунду у меня возникла надежда, что этим «м-м-м» и ограничится его реакция на мои слова. Что за этим «м-м-м» не воспоследует сакраментальное продолжение, зашитое в японские мозги, как безусловный рефлекс. Увы...)

– В России холодно, да? – спросил бонза.

– Да, необычайно холодно.

– В университете работаете?

– Совершенно верно.

В моем заднем кармане каким-то чудом оказалась визитная карточка.

– *Уадыму Суморэнсуки*, – прочитал он. И достал свою:

Макото Танака

храм Уммодзи

– Будем знакомы.

– Очень приятно.

Танака-сан потер ладонью могучую шею.

– В бейсбол играл... Вспотел...

- Выиграли?
- Ага. В школе спортивный праздник был. Отцов на две команды разбили...
- А детей?
- У детей своя программа. Бегали-прыгали...
- Тоже вспотели?
- Наверное. Вон мой, стесняется...

Из-за угла храма высывалась круглая пацанья рожица.

- Иди уроки делай! – крикнул Танака-сан.

Рожица исчезла, и на ее месте возникла стройная женская фигура.

- Погляди, Хироко, какой у нас гость!

На лице Хироко нарисовалось ожидание чуда. Она сделала несколько робких шагов навстречу мне и взволнованно спросила:

- Hablas Español?
- No, – опешил я. – English... Nihongo... И это... Russo!
- Russo... – повторила она разочарованно и перешла на японский. – Из России?
- Из России. А вы?
- Из Аргентины.
- На историческую родину вернулись?
- Вернулась...

Прителепал рыжий спаниель, обнюхал меня и лизнул в руку.

- Это и есть «злая собака»?

- Ха-ха! – Танака-сан покотился со смеху. – Читаешь иероглифы?

- Немножко...

– Это еще мой прадед написал. У него правильная собака была, злая. А у меня неправильная.

- Зато симпатичная!
- Глупая она у меня...
- Я вот еще хотел спросить – что это за дерево в середине?
- Это персик. Он весной цветет красиво. А плодов не дает, такой сорт.

Хироко подалась к мужу и что-то прошептала ему на ухо. Он посмотрел на нее.

Потом на меня. И сказал:

- Ты вино пьешь?
- Пью.
- Нам тут аргентинского прислали. Хочешь попробовать?
- Не откажусь.
- Сейчас принесу.

Через минуту он вернулся с бутылкой вина и стопкой пластиковых стаканов. Под облетевшей веткой персика Хироко расставила походный гарнитур из складных табуреток и миниатюрного столика. Мы расселись вокруг, и Танака-сан взялся мощной дланью за штопор.

– Странно, – произнес я. – Пять минут знакомы, а вы меня уже за стол усадили. Непривычно...

– Да уж, – сказала Хироко. – Это в Японии не принято. Но мы так далеко живем, к нам так редко кто-нибудь заглядывает... Тем более иностранец.

Чпок!..

- Как же вас сюда занесло?

– По программе репатриации. Сначала на заправке работала, а потом у нас бухгалтер умер, и Макото приехал обряд совершить. Вот и совершил.

– Прошу! – Танака-сан протянул мне прозрачный мнущийся стаканчик с рубиново-красной жидкостью. – Давайте сделаем *кампай*!

– Кампа-а-ай!

Напиток оказался плотным и в меру терпким.

– Вкусно! – похвалил я.

– Конечно, – сказала Хироко. – В магазине такого не купишь.

Бонза набулькал мне еще полстакана и спросил:

– А ты в бейсбол играешь?

– Нет, не играю. Я этой игры вообще не понимаю.

– Чего там понимать?

– Ну... Не понимаю ее достоинств. Бывает, включу телевизор и смотрю, как они ходят туда-сюда, готовятся, занимают позицию, чего-то ждут... А потом раз! – мячик кинули, отбили, кто-то куда-то побежал – и всё. И опять они ходят, готовятся... Никакой динамики. То ли дело футбол!

– А я вот как раз футбол не понимаю. Что там происходит вообще? Ворота какие-то...

– Туда мяч забивают!

– Не понимаю я этого... Не привык.

– Им бестолку объяснять! – сказала Хироко. – Я пыталась, да смысла нет. Они тут даже не знают, кто такой Диего Марадона.

– Все я знаю! – возразил бонза. – Марадона наркоман. Его по телевизору показывали.

– Он уже бросил! – обиделась Хироко.

– За здоровье Диего Марадоны! – примирительно сказал я и поднял стакан.

По голым ветвям персика пробежал ветерок. Спаниель с неизвестным мне именем положил морду хозяйке на колени.

– А машину ты где поставил? – спросил Танака-сан.

– Нигде. На велосипеде приехал.

– Как это?

Пришлось подробно описать маршрут.

– Ничего себе, – удивился бонза. – Это ведь часа три!

– Два с половиной.

– Красиво сейчас, правда? Все такое красное, желтое...

– Очень красиво.

– Я бы тоже на велосипеде катался. Но некогда, работы много.

– Понятно. Сутры, медитации...

– Ха! Какие слова знает... Давно в Японии?

– Девятый год. Последний. Весной контракт заканчивается.

– А потом? Обратно в Россию?

– Да, обратно...

Бонза покивал, взялся за бутылку и снова наполнил стаканы.

– Позволительно ли священнику выпивать? – спросил я.

– А почему нет?

– Ну как... Разве буддизм не запрещает?

– Буддизм запрещает себя отравлять. Но ведь я себя не отравляю, я просто пью. Кому от этого плохо?

– Тогда кампай.

– Кампай.

Спаниель задумчиво потянул носом воздух, перебирая букет винных паров.

– Замечательно, наверное, медитируется после такого напитка, – сказал я.

– Что? – переспросил бонза.

– Вы вообще медитируете? Хоть иногда?

– А-а... Ну, это раньше, давно, когда в семинарии учился... Там положено было.

– Проходили по программе?

– Угу.

– А теперь?

– Теперь я по договорам работаю.

– В каком смысле?

– Заключаю договора с предприятиями. На обслуживание. Как умрет у них кто-нибудь, так мне сразу звонят: Танака-сан, пожалуйста приезжайте, совершите ритуал.

– Часто умирают?

– Постоянно. Знаешь, сколько у меня договоров? Я уже и сам не помню.

– Ну это ладно. Это заработать. Я имею в виду: в духовном смысле. У вас что, не возникает потребности?

– Я ж говорю: у меня договора! Вот, скажем, если отсюда к озеру едешь, то слева будет винокурня. Они там «Цветущую весну» делают.

– Знаю.

– Ну вот. Только за последний месяц – три покойника. Они там нюхают эту свою сивуху, травятся, а мне их потом отпевать.

– Допустим... Но я о другом. Вот вы – духовное лицо. Вы буддист. Даже не просто буддист – вы последователь *дзэна*. Так или не так?

– Ну?..

– Вы знаете, что такое *сатори*?

– Спрашиваешь. Еще бы я не знал, что такое сатори.

– Вот мне и интересно. Вам что – никогда не хотелось его достичь?

– Погоди. Откуда ты все знаешь?

– Ну, интересуюсь... Книги читаю...

– Я не понял. У вас в России что – христианство?

– Христианство.

– Значит, ты христианин?

– Да не то чтобы...

– А кто?

– Сам не знаю... Всем понемножку интересуюсь. Вот, особенно *дзэном*...

– Почему именно *дзэном*?

Он смотрел на меня из-под длинного козырька своей бейсболки и ждал ответа.

Нужно было что-то отвечать.

И я ответил.

* * *

– Святой отец! – так начал я. – Бодхидхарма, первый патриарх, сказал императору У, что ничего святого нет – но я все-таки обращусь к тебе именно так: *святой отец*. Не потому, что хочу перечить основателю учения, а потому, что вопрос затронут нешуточный. Наши многочисленные и разношерстные предки за прошедшие века напридумывали столько богов, что разбегаются глаза и смущается ум. Когда меня тычут носом в этот паноптикум и требуют назвать *одного* – я впадаю в ступор. Да, конечно, есть вера отцов, есть традиции – но когда любишь отчизну исключительно странной лермонтовской любовью, то было бы странно креститься непременно через правое плечо. Настоящий гайдзин всегда обречен на широкий взгляд.

Когда-то разные религии по-разному объясняли происхождение и устройство мира. Можно было сравнивать и спорить. Сегодня, когда римский папа признал правоту Галилея, уже глупо вспоминать слонов и черепах – суть религий давно не в космологии. Но в чем тогда их суть? Что сравнивать?

Иные утверждают, что лучший критерий – религиозная мораль. Выше та вера, которая эффективнее заставляет своих адептов соблюдать заповеди. На эту тему тоже ведутся горячие споры. Чьи боги менее кровожадны? Во имя какой доктрины творилось меньше злодейств? В чьей пастве лучше статистика грехов? Какая религия благодатнее для социума?

Пусть спорят на здоровье. Мне это неинтересно. Я не царь, не вождь и не духовный лидер. Я не должен обеспечивать законопослушание подданных. Мое мнение по данному вопросу мнением социума все равно не станет. Позвольте отщепенцу примерять духовные одежды на себя одного.

И вот я их примеряю – конечно, мысленно, вскользь, невсерьез. На большее у меня – ни времени, ни желания, ни достаточно глубокого интереса. Я так устроен. Мой организм не вырабатывает гормонов вины в том количестве, когда человек стонет под тяжестью грехов, содеянных или мнимых. Гормоны страха не пугают меня картинами адского пламени, да и небесные кущи едва ли соблазнят. Когда я слышу разговоры о *спасении* – будь то вознесение в рай или переход в нирвану – во мне мало что отзывается. Более того: мне даже скучно внимать рассуждениям о добре и зле. Почему, не знаю. Скучно – и все тут.

Мне интересно другое. Интересно следующее.

Вот человеческая особь. Две руки, две ноги, туловище, голова, в голове мозг, в мозгу нейроны. Несколько десятков лет, чтобы распорядиться этим хозяйством наилучшим образом и достичь чего-то такого, что не дается даром. Прыгнуть выше головы. Увидеть невидимое. Ответить разом на все вопросы. Не из корыстной цели заработать «спасение», вовсе нет. Скорее, из любознательности. Из спортивной тяги к новому. Из страсти к эксперименту. Из тех стремлений, которые я высоко ценю и иногда замечаю в собственной натуре.

Здесь тоже есть варианты. Можно глотать кактусы, а можно глотать мухоморы. Можно вызывать духов, а можно диагностировать карму. Можно медитировать, а можно левитировать. При большом желании можно все это делать одновременно.

Увы, мне скучно и это. Я не смог прочесть ни одной эзотерической книжки. Со второй страницы мне всякий раз становится ясно: авторы говорят не теми словами и не о том. Если бы меня не забросило в Японию, я по сей день воротил бы нос от всего мистического и восточного. Но когда ты ткнут носом непосредственно в

восточное, это получается хуже. После сотого увиденного храма ты уже не турист, ты почти неопит — самое время для неторопливого и придирчивого вникания в предмет. На тысячелетнем древе японского буддизма много ветвей, но за несколько лет вполне можно уяснить, что тебе ближе: декламировать Сутру Лотоса или бормотать мантры, восхвалять Амиду или ждать Майтрею, предаваться сидячей медитации или разгадывать коаны. Что до меня, то сегодня я знаю точно: лишь последнее из перечисленного смогло бы меня серьезно заинтересовать. Из всех буддийских школ лишь одна-единственная побудила меня проштудировать всю посвященную ей литературу, какую только я смог достать. Лишь дзэн-буддизм толка Риндзай я готов сегодня — нет, не принять и практиковать, какое там! — готов всего лишь отвести ему место в некоторых теоретических допущениях.

У меня — законченного агностика и хронического скептика — есть стойкое ощущение того, что дзэнские учителя *не врут*. Что сатори — отнюдь не выдумка, призванная наловить побольше страждущих душ и выстроить их под знаменами секты. Что это также не жвачка для ленивых скучающих мозгов и не умственная спекуляция для отвлеченных споров. Что сатори — это реальное и вполне достижимое состояние, определенно стоящее значительных усилий и даже жертв.

Конечно же, я опоздал. Мне следовало родиться в Китае двенадцать столетий назад. В эпоху Тан, в золотой век дзэна. Я застал бы великих учителей, достойных наследников Шестого Патриарха. Ма-цзу, Нань-цюань, Чжао-чжоу, Линь-цзы — какие имена! Гениальные импровизаторы Истины, ходячие генераторы нирваны, полоумные волшебники, пробуждающие ученика криком или хватанием за нос, — как много бы я отдал, чтобы один из этих титанов духа лично занялся моим запущенным сознанием! Поздно, поздно...

Но пусть... Пусть не в эпоху Тан. Пусть чуть позже, в эпоху Сун, когда блестящие импровизации великих мастеров стали сходить на нет и оставаться лишь запечатленными в коанах. Да что там — пусть даже еще позже, пусть хотя бы триста лет назад, в Японии, при Хакуине Экаку — это ведь тоже титан, при нем тоже просветлилось много народу. Если бы я родился вовремя и попал к нему в ученики...

Я обрил бы голову. Я забыл бы, кто я и откуда. Забыл бы всё и вся — помнил бы только о коане, который дал мне учитель. Днем и ночью держал бы в памяти один коан и ничего, кроме коана. Если бы, скажем, это был коан о *палке-подтирке*, номер двадцать первый в сборнике «Мумонкан», то я денно и ночью думал бы о палке-подтирке. «Что есть Будда?» — «Будда есть палка-подтирка». Так сказал великий Юнь-мэнь, а он знал, что говорил.

Где-то *там*, в космосе, в нирване, в абсолюте — пребывает Будда. Он победил карму, он прервал цепь перерождений, он величайший и мудрейший, он предикат вечности, мерило всех категорий. И где-то *здесь*, на суетной земле, в глухой деревне, у стены грязного сортира — стоит кривая бамбуковая палка. Выходит справивший нужду крестьянин, задирает подол, седлает палку, елозит по ней задницей — и вновь прислоняет к стене, чтобы этим многоразовым инструментом могли воспользоваться односельчане.

Палка-подтирка и Будда — одно и то же.

Догадайся, почему.

Я молол бы рис, таскал бы воду и камни, подметал бы монастырский двор, иногда медитировал бы — и постоянно размышлял бы над этим коаном. Регулярно докладывал бы учителю о продвижении. Говорил бы, например, так: нет высокого, и нет низкого, а есть только *общее*. Получал бы хорошую затрещину — и снова бы шел молотить рис, таскать воду и неотрывно думать о палке-подтирке.

А года через три — или через пять, или через десять, — когда несчастная палка-подтирка до крови натерла бы мне мозги своим засохшим дерьмом, когда я дополз бы до последней грани отчаяния и конвульсивно скрючился бы в дрожащем вопросительном знаке, — вот тогда бы и произошло главное событие моей жизни. Мой жалкий интеллект, холоп логики и двойственности, взорвался бы и разлетелся на куски. Я увидел бы, как время и пространство стянулись в точку, как вселенная завибрировала во всех шести сферах, как на пыльной травинке вырос жемчужный дворец, как все Будды прошлого встретили всех Будд будущего и дружно превратились в палки-подтирки. Я ухватил бы реальность голыми руками, узнал бы ответ на все вопросы, овладел бы абсолютной истиной — и сам бы стал Буддой. Сам бы стал палкой-подтиркой.

А что потом? Стал бы я после этого летать по небу, превращаться в зверей, бить врагов без промаха, прозревать грядущее, тонко судить о бейсболе? Нет, не стал бы. Сатори не одарило бы меня никакими дополнительными талантами. Испытав его, я просто знал бы *самое главное*. И не более того.

Мне бы хватило.

Хватило бы... Стало бы... Было бы... Сплыло бы...

Да, я не спорю. Мой дзэн целиком сослагателен. Мне никогда не сорвать этот плод. Бессмысленно даже пытаться ступить на ведущую к нему дорогу. Потому что упущено время. Потому что европейскому уму это сложнее вдесятеро. Потому что наконец, что я плотно занят другими вещами, которые мне слишком дороги, чтобы променять их на сознание Будды.

В следующей жизни. Может быть... Если таковая случится.

А в этой — я лежу на диване и листаю биографии дзэнских учителей. Я брожу по окрестным храмам и складываю ладони перед статуями бодхисаттв. Несбыточная мечта о просветлении — мой максимум. Так обездвиженный инвалид следит за состязаниями прыгунов с шестом. Так некрасивая девушка собирает фотографии кинозвезд. Так смотрит на стрижей и ласточек бескрылая птица киви.

Ведь у каждого есть своя шкала гипотетического. И у каждого эта шкала в высшей точке упирается во что-то свое. Для одного это Нобелевская премия, а для другого — президентское кресло. Для третьего — миллиард долларов, а для четвертого — спасение души. Моя же шкала упирается в сатори. В чудесный мозговой катаклизм, дарующий возможность глядеть на мир из Абсолюта.

Потому что для чудака и отщепенца такая возможность драгоценнее небесной благодати и социальной гармонии. Потому что «вера» не есть синоним «религии». Потому что с моего маленького шестка мне видится так: самая глубокая истина — это истина без комментариев, самая точная философия — это философия без слов, и самая высокая религия — это религия без Бога.

* * *

Конечно, конечно...

Ничего этого я ему не сказал.

Если бы я умел вот так — сходу, на чужом языке, по сложнейшей теме... Если бы так умели все... И если бы все умели выслушать и понять...

А тогда я сказал ему примерно следующее:

— Ну... Это как бы... У нас в России мода такая, на дзэн.

— А-а-а... — протянул он. — Мода — это понятно. У нас вот тоже — как жениться, так все христиане. Тоже мода. А как помирать, так снова все буддисты. Вот придет мода по-западному хоронить, тогда все договора мои накроются... Ты вино-то пей, не стесняйся, я подолью.

Еще одна гранатовая капля перекатилась ко мне на язык и медленно растаяла в горле. Широко гладила спаниеля по загривку. Спаниель довольно жмурился.

Что ж... — сказал я себе. — На этом храмовом дворе не эпоха Тан, не эпоха Сун, и даже не эра Гэнроку. Давно не новость, что буддийские храмы на Японских островах превратились в погребальные конторы. Нынешнее время — это эпоха заката Дхармы. Наша повседневная сансара, оседлавшая технический прогресс, все беззастенчивее мимикрирует под нирвану. Между этими двумя полюсами уже нет того напряжения, которое раньше пробивало молнией человеческие мозги. Одно дело возжаждать нирваны, когда за дверью нищета, холера и деспотизм, — и совсем другое, когда там демократия, бейсбол и антибиотики. Если бы во дворце принца Гаутамы было спутниковое телевидение, то новая религия могла бы и вовсе не возникнуть.

Хотя... Вправе ли я делать выводы, не изучив вопрос до конца? Разве я обошел все храмы на этих островах? Разве искал себе учителя и не нашел? Может, есть места, где Дхарма живет и здравствует? Может, в соседней префектуре родился новый дзэнский гений, открывающий глаза любому встречному? Да пусть и не в соседней префектуре, пусть где-нибудь совсем далеко, например, в Тибете...

— А сатори уже измерили, — вдруг сказал бонза, вертя в руках пустой стаканчик. — Сделали энцефалограмму. Сначала альфа-волны, потом тэта-волны. Вот и всё сатори.

— Я читал об этом, — кивнул я. — Только, по-моему, измеряли не сатори, а самадхи. Оказалось, что у дзэнских монахов оно протекает иначе, чем у индийских йогов.

— Да? Ну, может... Скоро вообще все измерят. Сделают аппарат с проводами. Надел на голову, кнопку нажал — и получай хоть сатори, хоть самадхи. Или даже отпущение грехов.

— А вам интересно было бы попробовать с проводами?

— Не... Мне некогда.

— Лучше в бейсбол поиграть?

— Ага...

Клонящееся солнце коснулось черепицы на крыше храма. Кактусы продолжали стоять у лестницы, как часовые. Мне вдруг вспомнилась маленькая лютеранская церковь, на которую я наткнулся в один из своих велосипедных выездов. На ее ступеньках были рассыпаны розовые лепестки, оставшиеся от брачной церемонии, и пастор в черной сутане неторопливо сметал их длинной метлой. Закончив, он повернулся, и я узнал студента, у которого недавно принимал курсовик. Оказалось,

что в свободное от учебы время он подрабатывает святым отцом. Сочетает брачующиеся пары по христианскому обряду.

– А что у вас в России пьют? – спросил Танака-сан. – Водку?

– Водку.

– Она вкусная?

– Кому как.

– Попробовать бы...

Из жилых построек за углом донеслись какие-то мексиканские напевы.

– Ну вот, – проворчал настоятель. – Ему уроки делать, а он музыку гоняет.

– Это Рики Мартин, – сказала Хироко, прислушавшись к звукам. – Вы любите Рики Мартина?

– Не знаю... – пожал я плечами. – Мало слушал. Не составил мнения.

– Я вообще не пойму, с чего это он такая звезда теперь. Начинал-то он в группе «Менудо»!

– И что?

– А то, что там ребята были еще симпатичнее! Почему ж теперь только он звезда?

– Может, у него голос лучше?

– Ну, разве что голос...

– Сходи-ка, усади его за уроки, – строго сказал Танака-сан.

Хироко встала и направилась к дому. Я проводил ее взглядом, удивляясь сочетанию японской фигуры с латиноамериканской походкой. Танака-сан подлил мне и себе.

– А ты какую музыку любишь? – спросил он.

– Разную, – ответил я. – Оперу люблю... Джаз...

– Джаз... – задумчиво повторил он.

Глотнул вина, потер кадык, помолчал...

– Погоди немного...

Поставил стакан, поднялся, зашагал к дому.

Ладно, – подумалось мне. – У хозяев свои дела, я их отвлекаю, да и дело идет к закату. Все же день выдался не самый бездарный. Я видел кактусы на храмовом дворе, видел злого столетнего спаниеля, выпил аргентинского вина с милыми людьми... Других впечатлений не предвидится, но уже хватит и этих. Сейчас Танака-сан облегчится, вернется, мы допьем остаток, я откланяюсь и покачу домой. А сюда загляну еще раз в апреле, перед увольнением. Брошу прощальный взгляд на цветущий персик.

Я встал, подошел к дереву, погладил шершавый ствол. Попытался представить, как этот персик выглядит весной, когда усыпан цветками. Впрочем, к апрелю он может и не зацвести, здесь высокое место. А жаль...

Да, пора ехать. Человек я тут случайный. Точек соприкосновения у нас две: иноземное происхождение хозяйки и любовь к красному вину. Духовные поиски такой точкой не стали. Приступать к ним вплотную я все равно ленюсь, а святой отец даже не собирался. Значит, нечего и трепаться о каких-то там поисках. Есть множество других тем. Вот сейчас он придет, усядется, и потечет беседа о погоде, о еде, о политике и о том, что в России холодно. Таких бесед я уже провел не один десяток. Значит, спасибо за вино, и пора ехать.

Собственно, чего я к нему пристал насчет сатори? Он ведь не бодхисаттва, он представитель трудовой династии слугителей культа. Ему не о мозговых катаклизмах надо радеть, а о том, чтобы передать этот храм сыну. Со всей утварью, всей архитектурой и всеми договорами. Ради этой высокой цели он ежедневно бормочет сутры над покойниками. Да еще двор подмести, статуи подправить, дракончику ряху начистить, – до коанов ли ему с медитациями? Помахать в воскресенье бейсбольной битой и выпить потом красного вина – вот вся его духовная доминанта.

А моя доминанта тогда в чем? В том, чтобы, пролистав пару книжек по истории буддизма, горько вздыхать о закате Дхармы? Чтобы давиться несуразными рефлексиями, запивая их все тем же красным вином? Смешно...

Ну вот, позади опять хрустит гравий. Танака-сан отлил. Сейчас спросит меня, кто лучше, Горбачев или Путин. А потом спросит, сколько я плачу за квартиру, что готовлю себе на завтрак и что бывает внутри пирожков.

Допить вино и ехать. С доминантами потом разберусь.

Я последний раз хлопнул ладонью по стволу и повернулся.

Боги и будды!

Настоятель храма Уммодзи шел по храмовому двору, неся пузатый черный футляр, не оставляющий сомнений по поводу его содержимого. Похожий футляр я видел каждую четвертую пятницу в кафе “Satin Doll”. Правда, на том футляре было написано “Selmer”, а на этом значилось “Yamaha” – но размеры и форма говорили, что внутри этого футляра находится то же самое.

Не альт. Не баритон. И уж заведомо не сопрано.

Тенор.

Настоятель сел на раскладной стульчик, опустил футляр на гравий, щелкнул замками. На синем бархате загорелась тускло-желтая медь. Косой солнечный луч заинтригованно пробежал по клапанам.

– Я тоже люблю джаз! – сказал настоятель.

Обалдевший, не в силах выдать из себя даже стандартной формулы удивления, я продолжал стоять под персиком. И чувствовал, как на лице у меня медленно расплывается улыбка. Счастливая улыбка несостоявшегося мизантропа.

Бонза просунул бритую голову в капроновую петлю с крючком на конце, бережно извлек инструмент из кофра, прицепил к крючку, вставил мундштук и принялся коротко дуть в него, подкручивая лигатуру. Отрывистые хрюкающие звуки, напоминающие морзянку, постепенно сменились более осмысленными руладами. Я сел, плеснул вина ему и себе. Глотнул...

– Кто у тебя любимый саксофонист? – спросил Танака-сан.

– Ну... – задумался я. – Пусть, например, это будет Кэнонбол Эддерли.

– Это альтист. А из тенористов?

– Из тенористов... Ну, допустим, Бен Вебстер.

– О-о-о! – уважительно протянул он. – Бен Вебстер!

И, недолго думая, окатил меня с головы до ног «Звездной пылью»:

*Опять лиловой пылью сумерки
крадутся по лугам моей души...*

В конце каждой фразы он мастерски приглушал звук, продолжая дуть вхолостую, вибрирующим шепотом. Это слегка отдавало пародией, но все равно было здорово. Персик не успевал отряхивать звездную пыль с голых веток.

– Похоже! – одобрил я.

– А еще, – сказал он, – я могу, как Коулмен Хокинс.

И зарядил «Иерихон»: сначала просто тему, без особых трюков, а потом, когда настал черед соло, подключил артикуляцию, задвигал языком и губами, забубнил что-то непонятное с мундштуком во рту – может, то была Алмазная Сутра, а может Сутра Помоста Шестого Патриарха, этого уже и буддолог не разобрал бы.

– Класс! – похвалил я. – А под Майкла Брекера можете?

– Нет, – сокрушенно помотал он головой. – Под него не могу. А ты можешь?

– Я вообще никак не могу.

– Не играешь?

– Не играю... Хотя одно время хотел научиться. Мне как-то дали подудеть, я потом всю ночь уснуть не мог, до того понравилось. Совсем уже собирался купить, вникал в модели, в цены, самоучитель достал – но так и не собрался. Научился дуть в губную гармошку и на том успокоился. А все равно жаль. До сих пор не могу забыть, как трость на языке дрожит.

– Хочешь в мой подудеть?

– Да нет, спасибо. Опять сна лишусь.

– Ну, смотри...

Он опять припал к инструменту и воздал должное «Атласной кукле». В его интерпретации она была знойной креолкой японского происхождения.

– Вы где-нибудь играете, сэнсэй? – спросил я его. – В городе я много джазменов знаю, а вас нигде не встречал.

– Раньше играл, теперь некогда, – ответил он. – А кого ты в городе знаешь?

– Ну вот, например, Кена Судзуки и его ребят.

– А-а, Кен-тян... Я с ним играл на джемах. К нему потом этот молодой парень пришел, как его...

– Масао Кавасаки.

– Да, Кавасаки-кун. Он сразу очень здорово играть начал. Сейчас, говорят, уехал куда-то.

– На Хоккайдо, полгода назад. Фирма перевела.

– И как он там?

– Недавно прислал открытку. Пишет, что сколачивает собственную банду. Хорошего контрабасиста никак не может найти.

– А кто теперь у Кена вместо него?

– Постоянно пока никого. Вакантная позиция, вас ждет.

– Хм...

– Все равно немного странно, – сказал я, помолчав. – Есть еще где-нибудь в Японии священник-саксофонист?

– Саксофонистов не знаю, а трубач есть, – ответил настоятель. – Мы с ним в семинарии вместе учились. Но он теперь далеко, в Аомори. Может, уже и не играет вовсе...

– С другой стороны, ничего странного здесь нет, – продолжал я. – Ведь джаз основан на чем? На импровизации. А импровизация на чем основана? На интуиции.

На отказе от интеллекта. На мгновенном следовании внутреннему импульсу. Это ведь и есть дзэн, правда? Как каллиграфия. Как искусство владения мечом. Вот и выходит, что самые лучшие джазмены должны получаться из дзэнских монахов.

– Не знаю... – сказал Танака-сан. – Я об этом не думал. Я просто играю. Потому что мне нравится.

– Но ведь вы импровизируете?

– Ну... Немножко...

– Вот. Не задумываетесь, потому и импровизируете. А я наоборот – много задумываюсь, поэтому джазмен из меня никакой. И монах тоже никакой. Придется ждать, пока ученые придумают, как с проводами просветляться. И как джаз играть под проводами.

– Джаз нельзя под проводами играть. Проводов не хватит.

– А на сатори хватит проводов?

– Конечно...

Утомленный сухой теорией, он попытался было выдуть «Жимолость» – но та не успела завязать и пары бутонов, как раздалось:

– Макото!!! Самбу давай!

Хироко стояла у угла храмовой лестницы, в тени кактуса. Ее японские бедра призывно покачивались в латинском ритме. Лепешки кактуса вторили бедрам. Через мгновение жимолость выбросила стрелку и распустилась дикой тропической орхидеей.

Это было что-то неслыханное. Это был сплав всех самб и всех босанов, легированный бибопом и вытянутый в острый самурайский клинок. Это был горячий свинг на карнавале всех бодхисаттв и всех архатов. Это был Путь Самбы и Дао Синкопы. Я закрыл глаза и увидел, как Стэн Гетц присел на камень у края горной тропы и играет для Шестого Патриарха. Я увидел, как Девушка Гангуро из Ипанемы покинула солнечный пляж и чешет вверх по склону Фудзи. Я увидел...

– ТАНЦУЙ !!!

Хироко прокричала мне это чуть не в самое ухо. Танака-сан утвердительно наморщил лоб и взмахнул раструбом саксофона. Красное вино еще раз крутанулось по моим жилам и ринулось в ноги, выбив по пути раскладной стул.

“Catch the wave!” – вспыхнули в мозгу слова из старой босановы. Она была здесь, эта волна, она била из медного жерла, растекалась по храмовому двору, накрывала нас белой пеной – и мы кувыркались в ней, как ошалевшие дельфины. Рыжий спаниель, бешено виляя купированным хвостом, подскакивал на метр и выше, шеренга каменных бодхисаттв на гранитном постаменте дружно извивалась в ламбаде, резные тигры под храмовой крышей играли в чехарду, бронзовый питьевой дракончик изрыгал синее пламя и махал крыльями. А посередине, под облетевшей веткой бесплодного персика, профессиональный плакальщик по усопшим винокурам лихо наяривал бразильскую самбу.

– Молодец! – крикнула Хироко, глядя на мои кренделя. Это не было самбой, я не умел танцевать самбу, это было что-то своеобычное. Это была гремучая смесь гопака, трепака и фарандолы. Пасадобль вприсядку. Акробатический краковяк, полька живота и брейк-яблочко.

Первым выбился из сил рыжий столетний спаниель. Он доковылял до хозяина, уселся напротив и требовательно гавкнул. Самба перешла в код, принялась со

скрежетом ездить вверх-вниз по звукоряду, медленно отлепилась от ритмической сетки, потом от гармонической, затем развалилась на отдельные ноты, упала в затухающую трель и долго затухала в этой трели, пока утомленный спаниель не заткнул медный раструб длинным собачьим носом.

Я был еще мокрее, чем когда взобрался на перевал.

– Ну вот, – сказала Хироко. – Потанцевали. Это редко удается. Макото не танцует.

– Духовное лицо. Ему несолидно.

– Не умеет, вот и не танцует.

– А я разве умею?

– Конечно умеешь! Это что было, *косакку-дансу*?

– Наверно.

– Вам вина еще принести?

– Даже не знаю... Скоро темнеть начнет, ехать пора...

– Заглядывай еще, – сказал Танака-сан, трепля спаниеля за уши.

– Загляну, – пообещал я. – Вы тоже в город выбирайтесь. В эту пятницу как раз Кен выступает. Устроите джем... А как мне отсюда лучше выехать?

Выехать оказалось лучше по нижней дороге, которая начиналась от гравийной стоянки по ту сторону храма. В ее углу стояли два хозяйских автомобиля – солидных размеров джип и крохотная «Субару». За автомобилями лежал огород с дайконом, охраняемый элегантным пугалом в малиновом пиджаке.

Были произнесены все благодарственные и прощальные формулы. Совершены все поклоны. Пожата лапа спаниеля. Левая нога поставлена на педаль. И настало время для последнего штриха.

– Задайте мне какой-нибудь коан, сэнсэй, – попросил я. – Будет над чем помедитировать на досуге.

– Хлопок одной ладонью, – не задумываясь, сказал он.

– Это все знают. Это неинтересно. Я имею в виду – *музыкальный коан*. Без слов, одними нотами...

– М-м-м... – протянул он и задумался.

Будды и бодхисаттвы! Чего я от него хотел?

Что ожидал услышать? Сплетенный из звуков парадокс? Акустическую ленту Мёбиуса? Трехсекундный пассаж, взрывающий расхожие представления о добре и зле? Да и зачем мне было это нужно? Разве я собирался просветляться под эти звуки? Разве намеревался ежедневно мурлыкать их с утра до ночи, свивая мозговые извилины в скрипичный ключ?

Нет, конечно нет... Я просто запомнил бы эти несуразные ноты, как смог – криво, неверно, с отсебятиной, с диезами вместо бемолей – чтобы когда-нибудь потом, в туманной перспективе, в случайной, но теплой компании небрежно повторить их корявыми пальцами на расстроенном пианино и объяснить: мол, это *коан*, подаренный мне *дзэнским монахом*. Чтобы какая-нибудь юная дуреха, сходящая с ума по всему восточному и японскому, рассказывала потом лучшей подруге: ах! с каким мужиком познакомилась – в Японии жил, с монахами дружил, на рояле медитирует и по-умному говорит.

Тьфу...

Бонза взял в зубы мундштук, набрал в легкие воздуха, и на его голом черепе блеснул закатный луч.

Ре...

Ми...

Фа...

Си-бемоль...

Точно сам великий Юнь-мэнь схватил меня за нос сухими костяшками своих узловатых пальцев. Будь я крестьянским парнем, рожденным в эпоху Тан, – я просветлился бы в момент. Здесь не над чем было медитировать и даже нечего запоминать. Это было то, что узнал бы всякий. Это были «Осенние листья».

Сентиментальная французская мелодия, когда-то пересекая Атлантику, чтобы стать джазовым стандартом и в качестве такового преодолеть еще и Тихий океан, – лишь она одна в этот прозрачный октябрьский день и могла стать ответом на мою несуразную просьбу. Потому что она была проста и безыскусна. Потому что была красива. Потому что лучше любой другой расставляла все точки над «ё».

Да, да, да. Все правильно. Джазовый стандарт. Кем-то придуманная музыка. Кем-то построенная гармоническая сетка. Если можешь – бери ее и накручивай свое. А если не можешь – слушай тех, кто может. Или тех, кто когда-то мог. Заводи пластинку. Слушай записи ушедших титанов. Вот тебе и весь коан.

Что же делать... Мы не титаны. Мы так себе импровизаторы. Мы не рождены в эпоху Тан, мы рождены в эпоху постмодернизма. В эпоху, когда от дзэна остались лишь коаны, а от джаза – лишь стандарты. В эпоху, когда никого и ничем уже не удивить. Это когда-нибудь потом скажут, что мы жили в серебряном веке джаза, при джазовой династии Сун, когда эта дхарма уже закатывалась, но еще не совсем закатилась. Это потом нам позавидуют – потом, когда бессмысленность и скука скрутят нашу бедную сансару так, как не снилось болезням и войнам. За миг до прихода нового патриарха – который сыграет такой джаз, какого никто и никогда еще не слышал.

А мы такого джаза не сыграем. Мы не бодхисаттвы. Мы не взорвем своих заскорузлых мозгов, не увидим жемчужного дворца на пыльной травинке и не сочиним бессмертной гатхи. Палка-подтирка останется для нас палкой-подтиркой, а семь нот останутся для нас натуральной гаммой.

Ну что ж... Это вовсе не повод отчаиваться. Оставим акустические парадоксы титанам. Оставим их Майлзу Дэвису и Кшиштофу Пендерецкому. А сами сыграем тот джаз, который нам дано сыграть. Сыграем его на семи нотах натуральной гаммы. Той гаммы, в которой творили Ив Монтан и Борис Мокроусов.

Начнем в натуральном мажоре. Сядем в лотос. Вырастим кактус. Увидим белую цаплю. Рванем за ней следом. Воспарим. Превысим скорость. Догоним императорскую дочь. Из натурального мажора прыгнем в натуральный минор. Взмахнем бейсбольной битой. Пропьем сталинскую премию. Исполним что-нибудь из «Хованщины». Оседлаем велосипед, заберемся в гору, похмелимся красным вином и станцуем казачью самбу у входа в храм. Просто так. Ни для чего. Ради всего святого, которого нет.

«Дзэн для бедных»? Да, пожалуй... Но все равно это – дзэн.

Я счастливо засмеялся, оттопырил оба больших пальца и задрал их повыше.

Танака-сан понимающе сощурился. Широко улыбнулась. Я прощально кивнул, крепче сжал руль и оттолкнулся ногой от земли.

Дорогу устилали осенние листья. Они упали с древнего дерева гингко. Их сорвал японский ветер, воспел французский поэт и прославил американский музыкант. За моей спиной остался храмовый двор с автомобильной стоянкой. Добросовестный труженик мандалы и паникадила все стоял на ней и самозабвенно дул в тенор-саксофон фирмы «Ямаха». Горячие, влажные, хриплые, дрожащие звуки один за другим выплескивались в горную прохладу. Они плакали, смеялись, молились, издевались, наперегонки неслись вниз по склону – и разлетались сверкающей звездной пылью в бешено крутящихся спицах моего велосипеда.

январь 1998 — ноябрь 2004

Айдзу-Вакамацу — Санкт-Петербург

Глоссарий

Автор, будучи противником нумерованных сносок к художественному тексту, все же счел необходимым поместить отдельным списком толкования японских слов, имён и выражений, встречающихся в книге. Кроме того, в глоссарий включены объяснения японских, китайских и индийских терминов и имён, относящихся к буддизму. Японские имена даны в оригинальном японском порядке (сначала фамилия, потом имя). Русские написания японских слов приведены в поливановской транскрипции; в случаях отклонения она дается в скобках. Двоеточие обозначает долгий гласный.

Ай рабу ю – японская транслитерация английского признания в любви.

Акутагава Рюноске (1892-1927) – классик японской прозы.

Аматэрасу – богиня солнца в синтоизме.

Амида (Будда Амида, *санскр.* Амитабха, *яп.* Амида-Буцу) – повелитель рая, хозяин «Чистой Земли», основной объект поклонения в буддийской школе Дзёдо и ее ответвлениях.

Аригато: – спасибо.

Архат – буддийский святой, достигший просветления в традиции Хинаяны.

Асукорубин-сан – аскорбиновая кислота (суффикс «-сан», записанный соответствующим иероглифом, имеет значение «кислота»).

Бака – дура[к].

Банзай (бандзай) – ура! (*букв.* «десять тысяч лет»).

Бодхидхарма (*яп.* Бодайдарума, Дарума) – полумифический Первый Патриарх дзэна. Индийский монах, принесший в VI веке дзэнское учение в Китай.

Бодхисаттва (*санскр.*) – просветлённый в традиции Махаяны, отказавшийся от перехода в Нирвану во имя помощи людям.

Боинтян – девушка с большим бюстом (*слэнг*).

Бу – мера длины (3,03 мм); *тж.* старинная монета и единица размера обуви (2,4 мм).

Будда – достигший просветления, пробуждённый.

Ваби – эстетическая категория (бедность и непритязательность как залог прекрасного).

Васаби – японский хрен.

Гайдзин – иностранец.

Гангуро-га:ру – «чернолицая девушка», последовательница моды на круглогодичный загар, распространенной в Японии на момент написания рассказа «Прекрасная маркиза». Слово употреблялось наряду с синонимами («когяру», «сибуя-гару» и т.п.); в языке не укоренилось.

Га:руфурэндо – подруга (*англ.* girlfriend).

Гатха (*санскр.*) – стихотворение.

Гаутама – мирское имя Будды Шакьямуни.

Гиндза – один из центральных районов Токио.

Гейша (гэйся) – профессиональная увеселительница эстетически продвинутых клиентов.

Гэнроку дзидай – эра Гэнроку (1688-1704), период японской истории, знаменитый расцветом культуры и искусства, «японский Ренессанс».

Гэта – деревянная обувь на высоких колодках.

Гэцуё:би – понедельник. *Названия остальных дней недели по порядку:* каё:би, суйё:би, мокуё:би, киньё:би, доё:би, нитиё:би.

Дайкон – сорт редьки с большим корнеплодом.

Да кара – потому что.

Дамэ – нельзя.

Дао – «путь», центральное понятие философии даосизма.

Дзадзэн – сидячая медитация.

Дзёдо (дзё:до-сю:) – буддийская школа «Чистой Земли», культивирующая поклонение Будде Амиде.

Дзидзо (дзидзо:-босацу, *санскр.* Кшитигарбха) – мифологический бодхисаттва, божественный покровитель детей. Небольшие каменные статуи Дзидзо расставлены в Японии повсеместно.

Дзэн (*кит.* чань) – школа буддизма и центральное понятие этой школы. Сформировалась в Китае в VI-VII вв. Отвергая книжную ученость, настаивала на приоритете интуитивного озарения. Распалась на несколько школ, из которых до сегодняшнего дня дожили Сото и Риндзай. Проникнув в XII-XIII вв. в Японию, дзэн сильно повлиял на японскую культуру и национальный характер.

Дзэндо – зал для медитации.

Дзян-кэн-пон – «камень-ножницы-бумага», игра на пальцах.

Доё:би – суббота (*см. т.ж.* гэцуё:би).

Дхарма (*санскр.*) – буддийское учение, закон Будды.

Дэс – «есть, является» (грамматическая связка).

Ёмиури симбун – название общенациональной газеты.

Ий – хороший; хорошо.

Икэбана – икебана, искусство расстановки цветов.

Иносиси – кабан.

Ирассяимасэ! – добро пожаловать!

Кабуки – традиционный японский театр.

Как – 1) хурма 2) устрицы.

Кампай! – «осушим бокалы!», стандартный японский тост.

Кана – японская слоговая азбука (хирагана и катакана). Хираганой записываются суффиксы, служебные слова и т.п.; катаканой – заимствования из европейских языков.

Каннон (каннон-босацу, *санскр.* Авалокитешвара) – бодхисаттва Каннон. Считается божеством милосердия и традиционно изображается женщиной.

Карма – всеобщий закон причинно-следственной связи, обуславливающий круговорот рождений и смертей для всех живых существ.

Катана – кривой самурайский меч.

Кацусика Хокусай (1760-1849) – выдающийся японский художник.

Коан – упражнение в дзэн-буддизме толка Риндзай. Парадоксальное высказывание или вопрос, задаваемый ученику с целью блокирования привычки мыслить логически, мешающей достижению сатори.

Кобаяси Исса (1763-1827) – великий японский поэт, сочинитель хайку.

Коку – мера риса (180 л, 150 кг.). В коку измерялся годовой доход землевладельца.

Комбанва – добрый вечер.

Коннитива – добрый день.

Кото – музыкальный инструмент, «японские гусли».

Кун – послеименной суффикс при обращении к младшему или приятно.

Лав-отель (рабу-хотэру) – дом свиданий, гостиница с почасовой оплатой.

Леспедеца (*яп.* хаги) – декоративный полукустарник.

Линь-цзы (*яп.* Риндзай, 811-867) – дзэнский наставник эпохи Тан, основатель школы, названной его именем.

Майтрейя – Будда будущего.

Мама-сан – хозяйка питейного заведения.

Ман (итиман, итиман-эн) – десять тысяч [иен].

Манга – японские комиксы.

Манда – символическое изображение мироздания в некоторых буддийских школах.

Мантра – магическая формула, эзотерическое заклинание.

Ма-цзу (*яп.* Басо:, 707-786) – дзэнский наставник эпохи Тан. Настаивал на спонтанности просветления. К ученикам, для их же блага, применял крик и грубость.

Мисо – паста из перебродивших соевых бобов и суп из такой пасты.

Минамото – древний аристократический род, представители которого победили в XII в. соперников из дома Тайра и основали в Камакуре первый сёгунат (феодалное правительство).

Минамото Ёсицунэ (1159-1189) – полководец, выигравший несколько ключевых сражений в войне против дома Тайра. Излюбленный персонаж японского фольклора.

Моно-но аварэ – «очарование печалью вещей», «печальное очарование» (древняя эстетическая категория).

Моси-моси! – алло!

Мумонкан – сборник из сорока восьми классических дзэнских коанов, составленный в XIII в. в Китае.

Наму Амида Буцу – «Славься, Будда Амида!», принятая в амидаистских школах молитва (*т.н.* «нэмбуцу»).

Нань-цюань (*яп.* Нансэн, 748-834) – дзэнский наставник эпохи Тан, ученик Ма-цзу. Прославился эксцентричным поступком убийства монастырского кота.

Нагто: – перебродившая и высушенная масса из соевых бобов.

Никкэй 225 – биржевой индекс, характеризующий состояние японской экономики.

Нирвана – буд. обитель вечного блаженства, свободная от круговорота перерождений.

Нитирэн-сю: – школа буддизма, возникшая в Японии в XIII в. и названная по имени своего основателя. В XX в. от нее отпочковалась популярная ныне секта Сока-Гаккай. Культ основан на поклонении Лotosовой Сутре.

Ода Нобунага (1534-1582) – полководец и политик, начавший объединение Японии.

Окусан – жена.

О-кяку-сан – гость; клиент.

Онсэн – горячий источник; баня на горячем источнике.

О-сири – зад, ягодицы.

Отоко – мужчина.

Пачинко (патинко) – игровой автомат.

Пурайбаси – частная жизнь (*англ.* privacy).

Пэтяпай – плоская грудь (*слэнг*).

Ра:мэн – китайская лапша.

Риндзай (Риндзай-сю:) – школа дзэн-буддизма, делающая упор на разгадывание коанов и достижение сатори.

Ротэмбуро – открытый бассейн с водой из горячего источника.

Сакаки – священное дерево в синтоистском культе; обычно клейера.

Сакура – вишневое дерево.

Сакэ – рисовое вино крепостью около 16-19 градусов. В японском языке слово «сакэ» употребляется также для обозначения алкогольных напитков вообще.

Самадхи (*санскр.*) – особое состояние психики, достигаемое в сидячей медитации (*яп.* саммай)

Сансара – буд. мир страдания, кармический круговорот рождений и смертей, антитеза нирваны.

Сансин – окинавская разновидность сямисэна.

Сасими – блюдо из сырой рыбы.

Сатори – просветление, осознание подлинной природы вещей, цель дзэнской практики.

Сёганай (сиё:-га най) – делать нечего, ничего не поделаешь.

Сё:гун – военно-феодальный правитель Японии в XII-XIX вв.

Симэй – название *кого-л.* по имени; именной заказ.

Сингон-сю: – школа эзотерического (тайного, тантрического) буддизма.

Синкансэн – скоростная железнодорожная линия.

Синтоизм (синто:) – национальная религия японцев, японское язычество.

Скебе (сукэбэй) – развратник, сексуально озабоченный мужчина.

Соку – единица измерения (один пучок или связка; десять снопов соломы; двести листов бумаги; одна ладонь при измерении длины стрелы).

Сото (Со:то:-сю:) – школа дзэн-буддизма, делающая упор на сидячую медитацию с пребыванием в самадхи.

Судзуки Дайсэцу (1870-1966) – японский мыслитель, выдающийся популяризатор дзэн-буддизма и японской культуры в странах Запада.

Сумимасэн – извините.

Сун – китайская династия и эпоха в истории Китая (960-1279).

Сутра (*санскр.*) – священный буддийский текст.

Сэкухара – сексуальное домогательство (*сокр. англ.* sexual harassment).

Сэн – тысяча [иен].

Сэнсэй – учитель (*букв.* «ранее родившийся»).

Сяку – мера длины (30,3 см.).

Сямисэн – трёхструнный щипковый инструмент.

Тайра – древний аристократический род, после долгой междоусобной войны XII в. уступивший политическое лидерство дому Минамото.

Тан – китайская династия и эпоха в истории Китая (618-907).

Тандэн – область живота ниже пупка, считающаяся вместилищем жизненной силы.

Татами – циновка из рисовой соломы; *тж.* мера жилой площади.

Тимпира – что-либо ненастоящее; *особ.* ненастоящий якудза, «приблатнённый».

То:дай – Токийский университет (*сокр. от* То:кё: дайгаку).

Тоётоми Хидэёси (1537-1598) – полководец и политик, второй из трех великих объединителей Японии.

Токонома – декоративная ниша в стене японской комнаты, служащая для помещения в нее настенных свитков и икебаны.

Токугава Иэясу (1542-1616) – полководец и государственный деятель, завершивший объединение страны и основавший династию сёгунов Токугава.

Тотэмэ – очень.

То:фу – соевый творог.

Тэндай-сю: – буддийская школа «Небесной опоры», одна из древнейших в Японии.

Тэнтё: – начальник (магазина, ресторана и т.п.).

Тян – уменьшительно-ласкательный послеименной суффикс.

Укиёэ – жанр средневековой гравюры (*букв.* «картины изменчивого мира»).

Фугу – иглобрюх, ядовитая рыба, используемая в японской кулинарии.

Фудзи (Фудзи-сан) – высочайшая вершина Японских островов, священная гора и символ Японии. По ставшей традицией ошибке обозначается на русских картах как Фудзияма (иероглиф «гора» читается «яма», но в сочетаниях чаще имеет чтение «сан»).

Фусума – передвижная перегородка в японском доме.

Хай – «да», «вас понял».

Хайку – силлабическое трехстишие 5-7-5 (иногда неверно называется «хокку»).

Хакама – шаровары, часть традиционного церемониального костюма.

Хакуин Экаку (1685-1768) – выдающийся японский наставник дзэна, возродивший классические методы. Автор знаменитого коана о «хлопке одной ладонью».

Хокусай – *см.* Кацусика Хокусай.

Хонто: – правда, действительно, в самом деле.

Чжао-чжоу (*яп.* Дзёсю, 778-897) – дзэнский наставник эпохи Тан, ученик Нань-цзюаня. Непревзойденный мастер парадокса, автор многих знаменитых коанов.

Шакьямуни – исторический Будда, основатель буддийской религии.

Шестой Патриарх (*кит.* Хуэй-нэн, *яп.* Эно:, 638-713) – китайский монах, фактический основоположник дзэн-буддизма в его классическом виде.

Энка – национальный жанр песенной баллады.

Ю – горячая вода.

Юката – домашний халат.

Юнь-мэнь (*яп.* Уммон, *ум.* 949) – дзэнский наставник эпохи Тан. Основал собственную школу, просуществовавшую двести лет. На вопросы учеников обычно давал односложные и резкие ответы.

Якудза – японская мафия и ее отдельные представители.

Справочник по транслитерации

Неприятие автором кустарных транслитераций японских слов (см. «О вечных вопросах») побудило его поместить в конце книги краткий справочник – с тем, чтобы всякий читатель, проникнувшийся ответственностью за судьбы мировых языков, смог бы для любого написанного на латинице японского слова построить правильную русскую транслитерацию по системе Поливанова. Простота японской фонетики делает эту задачу несложной – разные записи одного слога практически всегда находятся в однозначном соответствии. В расположенной ниже таблице даны написания японских слогов в латинице Хэпберна (приспособленной для английского языка), латинице Кунрэй (отталкивающейся от слоговой азбуки и имеющей статус государственной) и поливановской кириллице. Слоги, которые не вызывают недоразумений, в таблицу не включены.

Хэпберн	Кунрэй	Поливанов
shi	si	си
sha	sya	ся
shu	syu	сю
sho	syo	сё
chi	ti	ти
cha	tya	тя
chu	tyu	тю
cho	tyo	тё
za	za	дза
zu	zu	дзу
zo	zo	дзо
ji	zi	дзи
ja	zya	дзя
ju	zyu	дзю
jo	zyo	дзё
tsu	tu	цу
e, ke, se, te, ne, he, be, pe, me, re		э, кэ, сэ, тэ, нэ, хэ, бэ, пэ, мэ, рэ
ya, kya, nya, hya, bya, mya, rya		я, кя, ня, хя, бя, мя, ря
yu, kyu, nyu, hyu, byu, myu, ryu		ю, кю, ню, хю, бю, мю, рю
yo, kyo, nyo, hyo, byo, myo, ryo		ё, кё, нё, хё, бё, мё, рё
-mm-, -mb-, -mp-	-nm-, -nb-, -np-	-мм-, -мб-, -мп-

Топонимы «Токио», «Киото» и «Иокогама» – укоренившиеся исключения из правил.

Буква “i” после гласного (“ai”, “ei”) обычно записывается как «й». Исключения редки.

Сочетания “ou” (иногда “oh”) и “ui” чаще всего обозначают долгий гласный. В русской транслитерацией долгота не обозначается никак (“OU” => «О», “UU” => «У»). Транскрипция, принятая в учебной и научной литературе, использует специальные символы (двоеточие и верхнюю черту).

Оглавление

«Сатиновая кукла».....	5
«Очки».....	19
«Золотая клетка».....	31
«В одной гондоле».....	45
«Копай-копай!».....	53
«Год Кабана».....	61
«На наш век хватит».....	69
«Спевка».....	76
«Прекрасная маркиза».....	88
«Экспонат».....	107
«Перекресток».....	120
«Ай рабу ю».....	135
«Формула политкорректности».....	151
«Киевское динамо».....	174
«По всем пунктам, кроме Ёсино».....	201
«Коан для тенора без оркестра».....	219
«О несбывшихся мечтах».....	18
«О бинарных разбиениях».....	29
«О геометрических фигурах».....	43
«О нисходящих этнонимах».....	58
«О приветственных ритуалах».....	66
«О столовых приборах».....	74
«О двойных стандартах».....	86
«О смелых параллелях».....	117
«О вечных вопросах».....	131
«О силовых ударениях».....	150
«О священных рубежах».....	198
«О полярных взглядах».....	218
Почтовый ящик.....	51, 105, 172
Глоссарий.....	236
Справочник по транслитерации.....	240